Наши достижения

ежемесячный журнал под редакцией м. горького

3

1935

Гослитиздат

March

наши достижения

ежемесячный иллюстрированный журнал под редакцией м. горького

3

март — 1935

государственное
издательство
„художественная
литература"

За культуру обслуживания

Октябрьская революция была начата и поддержана пролетарскими массами во имя социализма. Людям каторжного подневольного труда и безрадостного скудного существования идеал социализма, как свободной, светлой, радостной, трудовой жизни, без эксплоататоров, без классового угнетения, казался таким прекрасным, что они с воодушевлением отдавали в борьбе за социализм даже свою жизнь.

Никто и не пытался в те грозные дни представить себе поконкретнее, какова же именно будет жизнь при социализме. Было не до того. Да и трудно было бы, стоя по колено в мусоре и навозе былого, проникнуть мыслью в детали будущего.

Но первые месяцы и даже годы после Октября приходилось жить в острой нужде, среди всяческих лишений и невзгод.

Контраст между идеалом, ради которого начата и ведется великая борьба, и между повседневностью был очень резок.

И голод, и холод, и общая неустроенность — все это било в глаза и находилось в ярком несоответствии с социалистическим идеалом, который увлек людей на бой.

Как часто в очередях за скудным пайком рабочие, а особенно женщины-работницы, в горьких словах выражали свое недовольство тяжелым положением.

Но вот, что интересно. Стоило только на эти жалобы отозваться кому-нибудь из «бывших» людей и попытаться сделать свои выводы, что вот-де большевики обещали много, а на деле — хуже прежнего получилось, как его неизменно обрывали и давали ему отпор:

— Если мы ругаем, так свою власть ругаем. А ты не суйся со своим «старым режимом». Мы знаем, чего тебе хочется: чтобы опять по-старому было. Нет, шалишь. Этого не будет. Уж мы потерпим, зато потом поживем, как следует, когда всех ваших побьем.

Если воспользоваться словом из капиталистического обихода, то вексель, выданный Октябрем с обязательством уплатить полностью после победы над буржуазией, вексель этот казался самым надежным, самым полноценным в глазах народных масс. Трудящиеся беззаветно доверяли партии Ленина, и никакие временные невзгоды не могли подорвать это доверие.

Впоследствии, за годы восстановительного периода, рабочие и крестьяне обогатились пониманием многих, неизвестных им до того истин.

Во-первых, они увидели, как велико было опустошительное действие империалистической и навязанной капиталистами-интервентами гражданской войны и какие сроки нужны для того, чтобы восстановить хотя бы довоенный уровень хозяйства.

Во-вторых, закончив восстановительную работу, народ убедился, что только на базе мощного народного хозяйства, мощной индустрии, можно построить социализм.

Предстояло переделать деревянно-соломенную страну — с ее отсталым, мелким, примитивным сельским хозяйством, преобладающим над слабо развитой промышленностью.

Началась великая эпоха индустриализации и коллективизации.

Из нее народ выходит, обогащенный пониманием еще более интересных явлений. Опыт двух пятилеток дает народу представление и о темпах, и о сроках гигантских строительств, и о размахе созидания, доступном стране социализма в годы небывалого кризиса в капиталистическом мире. Стало воочию видно, как создаются предпосылки для дальнейшего убыстренного развития народного хозяйства. Стала очевидна, как никогда раньше, связь между успехами общенародного хозяйства и повышением благополучия каждого трудящегося.

Ощущать себя хозяином всего, что есть на нашей земле, — не сразу и не так просто вырабатывается такое ощущение у каждого рабочего или колхозника, но мы замечаем, как множится число лю-



На Северном вокзале в Москве

Союзфото

дей, проникнутых коллективно-хозяйским отношением к окружающему.

В Ленинграде и Москве накануне последних выборов в Советы многие заводы устраивали для рабочих коллективные поездки по городу и осмотр всего, что построено за последние годы. В этих поездках рабочие чувствовали себя отнюдь не туристами, а именно хозяевами, обозревающими и плоды своих трудов, и свои владения. Чувство хозяина, очищенное от собственнического свинства, поднятое на высоту переживаний члена великого творческого коллектива — вот то новое, что сейчас неуклонно завоевывает умы миллионов.

И чем глубже, чем шире проникает это новое мироощущение в массы, тем производительнее становится труд в нашей стране.

Те же самые станки, те же тракторы, та же самая техника при новом «преображенном» социалистическом отношении к труду дают новую, повышенную производительность труда.

Закончился недавно II Всесоюзный съезд колхозников-ударников. То были не средние представители средних колхозов, а передовые люди из передовых колхозов. В их речах светлым ключом било новое отношение к труду, к собственности, к государству, к коллективу, к детям, к женщине, к культуре, к завтрашнему дню, к стихийным силам природы—ко всему.

Какими путями приходят люди к новому пониманию всех этих вещей?

Во всяком случае — не одинаковыми. Если на одних действует убеждающее слово, то на других—наглядный пример товарищей по труду, на третьих — нежелание отстать от соседей, на четвертых — преимущественно материальные результаты честного труда (повышенный доход на трудодни). Возможны и соединение нескольких стимулов и переход от одних к другим.

Многое зависит от руководства, от его умения не угасить, а поддержать и направить наметившиеся в сознании и поведении колхозников сдвиги.

Материальные блага, сопутствующие честному, сознательному труду,—в форме зарплаты или распределенного на трудодни дохода, или премий, — пока что действуют непосредственной потребительской ценностью своей. Но в какой-то мере эти материальные блага являются также и мерилом ценности данного работника для общества, для коллектива.

«Дорого не пиво, — честь дорога», говорит старинная пословица.

И, наконец, неуклонное возрастание доли материальных благ, приходящихся на каждого работника, красноречиво убеждает всякого, что фактически нет границ возможному повышению материального уровня в нашей стране. Все зависит от нас самих, от нашего сознательного труда.

Но не единым хлебом жив человек.

Сумма человеческих потребностей удовлетворяется не только материальными ценностями в форме товаров и продуктов, но также и тем, что у многих экономистов называется термином «услуги».

Дело не только в том, чтобы эти услуги в нужное время человеку оказывались. Как именно оказываются услуги — вот в чем вопрос.

Сделать жизнь человека удобной, приятной, легкой, радостной—вот к чему должны свестись усилия всех учреждений, предприятий и организаций, которые прямо или косвенно заняты обеспечением всяких услуг трудящемуся. Внимательность, забота, предупредительность, готовность в меру наших возможностей пойти навстречу желаниям и потребностям гражданина социалистической страны — вот что должно стать стилем работы обслуживающих предприятий и учреждений.

От этого мы еще очень далеки, к нашему сожалению.

Наоборот, растущее социалистическое самосознание наших рабочих и колхозников сплошь и рядом наталкивается в окружающем быту на нестерпимое проявление неуважительного, небрежного, хамского (или барского — ибо хамство и барство лишь разные стороны одной медали) отношения к интересам и правам трудящегося.

Многое зависит, конечно, от общего недостатка культуры и культурности. Но совсем нередко за хамством, за небрежностью, за грязью можно прощупать и классового врага.

Разве мало прошло судебных процессов, показавших, как вокруг кухонного котла в столовой орудовали классовые враги, не только расхищавшие продукты, но умышленно портившие, гноившие их, бросавшие в пищу битое стекло, дохлых мышей и всяческую гадость?

Разве мало вскрыто таких же проделок в пекарнях и хлебозаводах, в магазинах и распределителях, на швейных и обувных фабриках?

А сколько еще не вскрыто по сей день!

Классовый враг ставит себе определенную задачу. Он старается создать поводы для недовольства, он вызывает раздражение. Он как бы стремится подрубить растущее социалистическое самосознание хозяев страны и пытается им сказать: «Какие вы хозяева — вон как с вами власть обращается».

Сейчас, как никогда раньше, скверное обслуживание потребителя, грубое с ним обращение и тому подобные поступки приобретают характер контрреволюционных, антисоветских деяний.

Нынешний советский рабочий уже не прежний рабочий, и нынешний колхозник — не прежний крестьянин. Они требуют от обслуживающих их предприятий и учреждений совершенно иного «стиля» работы. И этот стиль рождается, оформляется на наших глазах в борьбе с навыками и традициями «расейского» прошлого.

Многому должны мы поучиться у капитализма и в этой области, как учились производить тракторы, автомобили, станки, шарикоподшипники и многое другое.

Есть чему поучиться и в организации бытового обслуживания.

Но общий стиль обслуживания, выработавшийся в странах капитализма, для нас неприемлем. Там умеют окружать человека тончайшей заботливостью, неслыханным у нас комфортом. Но только— в меру его богатства. Чем паразит богаче, тем изощреннее уход за ним, тем доступнее ему всяческие мыслимые и даже немыслимые удобства. Но людям труда уже достаются жалкие крохи удобств и услуг. А миллионы безработных с их семьями вынуждены опускаться до уровня каких-то пещерных троглодитов. Им недоступны даже самые элементарные удобства. И с ними обращаются без тени общепри-

нятой вежливости. Они находятся как бы вне закона.

Наш стиль обслуживания должен быть проникнут настоящим демократизмом.

У нас больше нет классовой лестницы высших и низших. СССР стал страной социалистической. И отпечаток этого равенства трудящихся, закрепленного в конституции, должен лежать на стиле обслуживания.

Второй отличительный признак капиталистического стиля обслуживания — тоже неприемлем для нас.

Всякий обслуживающий человек проявляет себя в отношении обслуживаемого подобострастными, униженными манерами. Он бесконечно низшее существо в сравнении с тем, кому он оказывает услуги. Он расстилается в низких поклонах, на лице его бессменная, заискивающая улыбка, на устах специфически служительские слова.

Все это неприемлемо для нас.

У нас человек, занятый оказыванием услуг, всегда должен ощущать, что он обслуживает своего товарища по классу, товарища по труду, обслуживает такого же, как и он сам, хозяина страны. Тут не может быть места ни подобострастному, унизительному поведению, ни грубости, высокомерию, небрежности, хамству.

Новый, корректный и теплый, простой товарищеский стиль будет господствовать в этой области отношений.

И не далеко то время, когда продавцов, официантов, кондукторов трамвая, почтовых работников, больничных сиделок, милиционеров и т. п. будут строжайше отбирать и экзаменовать: умеют ли они обращаться с обслуживаемым населением так, как надлежит в социалистической стране. И эти качества будут цениться ничуть не меньше, чем техминимум в нынешнем смысле.

То, что страна так вплотную подходит к «мелочам быта», свидетельствует о достигнутом уже солидном уровне материального благополучия. Он солиден, правда, только по сравнению со вчерашним днем, а не с завтрашним. Но ведь завтрашний у нас в руках. В завтрашнем дне ни у кого в СССР сомнений нет.

Страна начинает обзаводиться своим новым, присущим только ей, бытом и выкорчевывать, выпалывать пережитки старых отношений.

В настоящем номере журнала читатель найдет не мало любопытных рассказов о ростках нового.

Но тем непримиримее должны мы быть к бытовым сорнякам, к старокапиталистическому бурьяну, способному временами глушить советскую новь и затруднять ее рост. К несчастью, этой непримиримости нам не хватает. Не всякий умеет организованно бороться, доводить до конца начатую борьбу.

Многим кажется, что нет смысла затрачивать силы и время на борьбу с проявлениями бюрократизма, грубости, небрежности, неуважительности в нашем обиходе. Не это, мол, главное. Главное — это оборона, это — промышленность, это — тракторы. А бытовое — стоит ли на это тратить время? Ведь это все мелочи.

С этими предрассудками придется вести долгую, умелую борьбу. Требовательность населения растет, нужно ее организовать и оформить, нужно внушить, что пренебрежение к правам и запросам социалистического гражданина в большом и малом есть не мелочь, а преступление против нашего строя.

Да и что такое мелочь?

Вот заседал Всесоюзный съезд колхозников-ударников. Все руководители партии и правительства день за днем с величайшим вниманием и уважением принимали участие в работах съезда. На съезд приходили делегации людей науки, инженерства, Красной армии, заводов. Для делегатов специально организованы были замечательные выставки, собравшие все достижения разных отраслей хозяйства. Делегатам предложили проехать в поезде только что законченного строительством метро. Словом, колхозники-ударники чувствовали, что с ними обращаются как с лучшими людьми страны. Они на всю жизнь согреты были теплом дружеского общения с вождями страны, с величайшими людьми эпохи. Они разъезжали по стране, наэлектризованные грандиозными впечатлениями, выросшие за эти дни и готовые ринуться в бой за дальнейшие победы колхозного строя.

И вот на какой-то ж.-д. станции одну группу делегатов-колхозников бесцеремонно высадили из вагона под предлогом

необходимости ремонтировать вагон. Ремонтировать его, возможно, и требовалось. Но полнейшее бездушие железнодорожников, нежелание избавить пассажиров от потери времени, от неудобств вынужденного ожидания следующего поезда, нежелание обеспечить интересы и удобства пассажиров — это должно было возмутить делегатов-колхозников. Как должен был их поразить контраст между поведением железнодорожных бюрократов и тем вниманием, которым их окружала вся Москва, начиная с вождей! Разумеется, делегаты-колхозники и после этой неприятности не перестанут быть энтузиастами-ударниками. Но разве не ясно, что хамская выходка железнодорожников в данном случае из привычной неприятной мелочи перерастает в политическое выступление, заслуживающее резкого отпора.

Или другой возмутительный факт.

По окончании того же съезда колхозников-ударников Главное управление кинематографии решило показать делегатам новую картину «Крестьяне» (режиссера Эрмлера). Просмотр был назначен на одиннадцать часов утра следующего дня в кино «Ударник».

К одиннадцати часам дня собралось около ста делегатов. Потому ли, что плохо были осведомлены остальные делегаты, или они были заняты другими делами в связи с подготовкой к разъезду по домам, но пришло только сто человек. Их продержали в ожидании сеанса два с половиной часа и потом бесцеремонно объявили им, что никакого сеанса не будет, так как при неполном зале звуковой фильм будет ненормально звучать. Вот и все.

Характерно, что за два с половиной часа тягостного ожидания никто и не подумал чем-нибудь развлечь, занять колхозников, хотя бы побеседовать с ними. В каждом кинотеатре антракты заполняются концертами, выступлениями артистов в фойе. Это делается для самых обыкновенных посетителей с улицы, когда им ждать приходится всего полчаса до начала сеанса. А здесь самые знатные люди колхозного строя протомились неизвестно для чего два с половиной часа, которые в Москве можно употребить с пользой и удовольствием, и никто даже пальцем не пошевелил, чтобы чем-нибудь заполнить часы ожидания.

Это не только не лучше случая с железнодорожниками, это во много раз хуже, ибо происходило не на глухой станции, а в красной столице, и герои происшествия — отнюдь не захолустные «стрелочники», а видные работники культурного фронта.

Мы привели два, правда, исключительных, из ряда вон выходящих примера.

Но, знакомясь с теми случаями, когда люди создают у нас образцовое обслуживание населения, каждый раз убеждаешься, что дело вовсе не в необходимости для этого каких-то особенно больших затрат, а только в людях, в их живом, внимательном, чутком отношении, в гибкости, подвижности. Только в этом!

Мы слыхали, как некоторые предприятия культурно оборудовали пригородные поезда для перевозки своих рабочих. Железные дороги и слышать не хотели, что можно вместо пустых, грязных, пыльных, неприглядных пригородных вагонов предоставить рабочим чистые, красиво отделанные вагоны, с культурным оборудованием и культурным обслуживанием. Для поездов дальних, для экспрессов находятся и радио, и библиотека, и занавески на окнах, и графины с водой. А для тех, кто вынужден ежедневно целые часы проводить в пригородных поездах, ничего не находится, кроме голых грязных стен и скамеек.

Некоторые заводы и фабрики по инициативе рабочих взяли на себя приспособление и оборудование рабочих поездов. И теперь эти вагоны приятно поражают необычной отделкой, жилым уютом, удобствами для пассажиров. Рабочий может в дороге и почитать, и послушать радио, и участвовать в организованной беседе. Но такие хорошие пригородные поезда все же насчитываются пока единицами.

Припоминается виденная минувшим летом комсомольская бригада в поезде Сочи—Кисловодск. До сих пор железнодорожное сообщение между этими курортами сопряжено было с неприятными пересадками и прочими неудобствами. Теперь оказалось возможным избавить пассажира-курортника от всяких пересадок. Мало того, если пассажир просто хочет проехаться из Кисловодска к морю и вернуться обратно, то в вагоне за ним сохраняют место и постельное белье, пока

он гуляет по Сочи, и затем он в том же вагоне возвращается обратно. Таких удобств на наших дорогах никогда еще мы не видели.

Но главная особенность комсомольского экспресса Кисловодск—Сочи в том, что подобран и подготовлен персонал поезда. Ни в СССР, ни за границей мне не приходилось встречать таких проводников, такого начальника поезда. За границей проводники отличаются внимательностью, любезностью, услужливостью (речь идет, впрочем, о шикарных поездах). И это нужно перенести в наши поезда. Но все эти похвальные качества заграничного персонала на наш советский взгляд омрачаются тем, что на любезность полагается ответить подачкой «на чай». Ни заграничного пассажира, ни заграничного проводника система «чаевых» подачек не смущает. Там это в порядке вещей. Любезность продается и покупается.

Комсомольская бригада сочинского поезда не только не берет никаких «чаевых», но она держит себя так корректно и с таким достоинством, что и мысли о подачке не может быть. Наоборот, хочется крепко пожать руку, как доброму товарищу, за проявленную любезность.

Мы остановились на этом примере, как на одном из немногих и редких пока образцов культурного стиля работы, который надо создать и поддерживать.

А поддержать на должной высоте какое-нибудь хорошее новшество — это тоже не очень просто в наших условиях. Как часто новое предприятие — вроде фабрики-кухни — в первые дни и месяцы восхищает посетителей, но с течением времени утрачивает свои достоинства и, попросту говоря, опускается.

Во множестве наших предприятий общественного пользования совершенно отсутствует тип такого контролера или инспектора, который всегда находился бы среди посетителей, потребителей, покупателей и следил бы, как они обслуживаются. За границей—в магазинах, банках, ресторанах и т. п. предприятиях такого рода агенты всегда на виду. Там недовольному посетителю не придется долго искать заведующего или добиваться пред'явления жалобной книги. Едва у прилавка, или за столиком ресторана, или у окошечка в банке вспыхивает искорка недовольства, «на месте происшествия» появляется человек со вкрадчивыми манерами. Он самым внимательным образом вникает в ваши жалобы и наверняка удовлетворит ваши претензии. Он оберегает престиж («марку») предприятия, иначе говоря, интересы хозяина, которому невыгодно отпускать своего посетителя к конкуренту.

У нас таких контролеров нет. Скажем, трамвайный трест имеет штат контролеров, которые охотятся за безбилетными пассажирами. Но трамвайный трест совсем не имеет контролеров, которые наблюдали бы за тем, как обслуживается пассажир, как исполняют свои обязанности перед пассажирами кондуктора и вожатые.

Дело не только в том, что трамвай перегружен сверх меры. Не только в этом.

Приглядитесь, какими грязными выпускаются по утрам вагоны из парка. В зимние морозные дни вагон разъезжает с летней паутиной на потолке. Приглядитесь к кожаным и брезентовым «ремням», за которые держится пассажир. К некоторым страшно прикоснуться рукой, так они облеплены грязью. Это—источник заразы. И некому за этим следить. Некому следить и бороться с грубостью кондукторов. Некому добиваться, чтобы кондуктора не давали звонка раньше, чем пассажиры войдут и выйдут, и т. д., и т. п.

Для характеристики культурного стиля работы достаточно ознакомиться с «правилами», которые вывешены в вагонах трамвая.

Эти многословные правила, вообще говоря, никому не нужны. Можно проехать по всей Европе и нигде в трамвае никаких правил не найти. Зато там найдете маршрутную схему — карту с указанием всех остановок трамвая.

Во многих вагонах «Правила» приколочены наполовину к потолку, наполовину к стене. Читать их можно только задрав голову, и прочтет их только обладатель хорошего зрения.

Правила бесконечно перечисляют, что пассажиру воспрещается, и с особым смаком напоминают о штрафах. Авторы до того увлеклись «карательным» азартом, что в одном параграфе грозно декретируют:

«Пассажир должен немедленно получить сдачу».

Как будто и получение сдачи является обязанностью, о которой надо вычитывать на потолке.

А вот каковы права пассажира и каковы обязанности обслуживающего персонала в отношении пассажира — об этом и в голову не приходит написать.

Да и вообще у нас не всегда размышляют прежде, чем вывесить плакаты. В рекламном деле за границей создалась целая наука, изучающая какими словами, в каких выражениях, каким шрифтом, какой краской подать рекламу, чтобы она дошла до потребителя. Сколько «психологического» расчета вкладывается торговцами в рекламное дело, можно судить по такому, запомнившемуся мне образцу объявления одной фирмы:

НЕ ПОКУПАЙТЕ У НАС...

Зайдите только выпить

БЕСПЛАТНО

чашку шоколада и посмотреть

НОВЕЙШИЕ МОДНЫЕ ТКАНИ.

В газетах уже высмеивались провинциальные «обязательные постановления» о поддержании порядка на улицах. В этих постановлениях перечислялись все мыслимые и почти немыслимые виды хулиганства и бесчинства, какие воспрещается учинять.

Вы подъезжаете с моря к великолепному советскому курорту — Гаграм. Вашим глазам открывается прекрасный вид. И раньше всего — чудесный парк, каких больше в СССР не найдешь по ценности и диковинности деревьев. Приезжий с севера человек очень хотел бы узнать, как называются эти невиданные им раньше деревья, какого они возраста, откуда пересажены сюда и т. д.

На одной из самых прекрасных пальм издалека виден большущий плакат. Посетитель устремляется к нему в надежде обогатиться новыми знаниями. Увы, это «воспретительный» плакат. В нем изобретательно и нудно перечисляются все преступления, каких нельзя в этом парке совершать. Плакат этот действует как пощечина.

Сюда люди приезжают на отдых. Месячник пребывания здесь под благодатным небом среди райских пальм должен пройти как радостный праздник. И вдруг на райской пальме целый противобандитский кодекс.

У Горького есть прекрасный рассказ «Кладбище», где он устами своего героя рекомендует даже из кладбища сделать место воспитания. Пусть над могилой каждого человека будет написано, чем этот человек отличился, что он сделал хорошего. Мысль замечательная.

А у нас в чудесном парке ухитряются омрачить настроение посетителя надписями о гадостях, которые, может быть, кто-нибудь когда-нибудь замыслит учинить.

По существу же здесь, в парке, должны были дежурить культурные садовники, готовые любому курортнику рассказать о всех насаждениях парка, об истории акклиматизации деревьев и заодно о работе правительства СССР над развитием субтропического хозяйства, о том, как Гагры, Сухум и др. южные районы снабжают север декоративными растениями, плодами и т. п.

Все это входит в понятие советского культурного стиля обслуживания.

Борьба за этот стиль, за настоящую советскую культурность находится еще только в самом начале. Успехи народного хозяйства подводят под нее прочную базу. Но именно на первых порах требуется особенно бережное отношение к росткам нового и особенно яростная борьба с грубым наследием прошлого.

Творец новой, социалистической жизни, гражданин СССР, должен всюду встречать такое отношение, которое в нем укрепляет гордое мироощущение хозяина страны:

— Кто был ничем, тот станет всем.

На новоселье

(Уралмаш на V пленуме ВЦСПС)

В. Сафонов

Мы строим жизнь самую свободную, самую счастливую и радостную.

С каждым днем, с каждым пущенным и освоенным цехом, заложенной шахтой, засаленным домом чистых комфортабельных рабочих квартир, с каждой новой школой, миллионом выпущенных книг, тысячей вновь распаханных гектаров мерзлого Севера на шестой части света исчезают остатки паутинного быта курных изб и тараканьих щей под божницей, растет золотой фонд радости и человечности.

Мы строим счастье будущего и наше собственное, ибо каждый новый день пятилетки означает прирост ценностей, становящихся достоянием всего ста семидесятимиллионного народа. Такова сущность строительства социализма.

Люди, поехавшие в Америку, привезли оттуда 14 000 предметов домашнего обихода. Мы поражаемся технике обслуживания в лучших отелях и универмагах Запада.

Но всегда ли мы, люди социализма, представляем себе в полном объеме тот факт, что ценности, произведенные досоциалистическим обществом, все, что сделало это общество для облегчения, украшения, осмысления человеческой жизни, — все это находилось в обладании численно ничтожной верхушки этого общества?

Для русского крестьянина, для 80 процентов многонационального населения Российской империи не существовало десяти столетий развития культуры. Эти 80 процентов не читали книг. Они не пользовались железной дорогой. Они ковыряли землю деревянной сохой, плели лапти, ткали холсты, кроили сыромятные ремни. Их быт застыл почти на уровне эпохи «Слова о полку Игореве». Техника века пара и электричества врывалась в этот быт удушливой копотью фабричных цехов с тюремными окнами и унылыми гудками чугунки, увозившей сыновей народа в солдатчину.

Монополия верхушки на общественно-культурные блага впервые в истории разрушена у нас. И впервые в истории общественные ценности раскрепощены. Слова тов. Сталина: «Нынешний рабочий, наш советский рабочий, хочет жить с покрытием всех своих материальных и культурных потребностей», формулируют гигантский переворот в этой области.

—

Перед второй пятилеткой поставлена задача освоения. И это не просто задача технического овладения сложным оборудованием новых заводов-гигантов. Это значит также, что нужно полностью поставить технико-экономическую и культурную базу страны на службу ее создателям — трудящимся СССР, научиться использовать все возможности, которые дает эта огромная база для покрытия материальных и культурных потребностей советского рабочего.

Вот почему V пленум ВЦСПС, работавший на рубеже 1935 года, специально обсуждал вопрос о культурно-бытовом обслуживании.

В этом вопросе нет «мелочей» и «частностей». Схематизировать тут нельзя: тут все — насквозь конкретно. И поэтому пленум сделал правильно, подробно проверив на опыте одного предприятия, как мы научились устраивать жизнь советского рабочего — в крупном и в мелочах.

Был взят Уралмаш. Взят «завод заводов», созданный на пустом месте, оснащенный изумительной техникой, вызвавший появление целого социалистического города.

Механизмами, сделанными на Уралмаше, оборудована липецкая домна — первая домна, для которой ничего не потребовалось из-за границы. Только

два завода в мире выпускают агломерационные машины. Третьим стал Уралмаш. Население социалистического города, окружившего завод им. Серго Орджоникидзе, перевалило за 70 000. 52 миллиона рублей затрачено на жилищное, коммунальное и бытовое строительство этого города. Его улицы асфальтированы и обсажены деревьями, выросли школы, больница, поликлиника, ясли, баня, звуковое кино. У города миллионная годовая смета; бюджет выплатного пункта завкома Уралмаша составил в 1934 году 3 691 000 рублей.

Как же живут в этом городе?

В 1934 году тут, как и во всех новых и старых городах Союза, зарабатывали больше, чем в 1933 году. Часовая зарплата кузнецов (массовой профессии на Уралмаше) поднялась с 1 рубля 11 копеек до 1 рубля 55 копеек, фрезеровщиков 4-го разряда — с 1 рубля 4 копеек до 1 рубля 30 копеек, формовщиков с 98 копеек до 1 рубля 52 копеек.

Госплан взял под наблюдение ежедневные расходы семидесяти двух рабочих Уралмаша. В 1934 году стали лучше питаться. На еду тратили на 4 процента больше (это при росте и улучшении заводских столовых). Стали лучше одеваться — расход на обувь и одежду вырос на 10 процентов. И вместе с тем упал расход на квартиру, ибо большее число рабочих, снимавших углы, живших в старых домах, переселяется в новые, благоустроенные и более дешевые заводские квартиры. Электромонтер-кадровик взял ссуду у завкома и купил корову. Семушкин, знатный человек Уралмаша, модельщик-фрезеровщик, зарабатывает 500 рублей, у него отличная квартира, радио, огород в 500 квадратных метров.

Эти факты привел председатель ЦК тяжелого машиностроения т. Стриевский. Он прибавил к ним, что три с половиной тысячи рабочих семей имеют сейчас огороды, и 350 килограммов картофеля и овощей сняла в среднем каждая семья со своего огорода.

Глусов, ответственный инструктор ВЦСПС, приехавший с Уралмаша, дополнил т. Стриевского, сообщив о сотне поросят, сотне телят и двух тысячах кур, выделенных ОРСом для лучших ударников. Тот же ОРС сейчас ежемесячно дополнительно выдает рабочим-ударникам, мастерам и специалистам по три с половиной кило мяса, четыре с половиной кило рыбы и по тридцать пять литров молока.

Есть неожиданная деталь в статистике Госплана: сократились расходы рабочей семьи на культурные нужды. И расшифровка этого факта поучительна для других предприятий: завком с прошлого года предоставляет рабочим бесплатно книги, газеты, билеты в театр, в кино.

Пятая часть всех рабочих в 1934 году получила путевки в дома отдыха, в санатории и на курорты. «Ни одна путевка не осталась неиспользованной», — добавил т. Стриевский, и это также лучше многих слов рисует материальное положение рабочих Уралмаша.

На «завод заводов» приходят люди со всех концов Советского Союза. Рядом с москвичами работают представители национальностей, недавно еще не знавших письменности. Последнее обследование обнаружило триста сорок неграмотных. Триста сорок на семьдесят тысяч населения социалистического города! Их сейчас обучают. Пройдет год-другой, и они сравняются со своими товарищами.

Ибо советский завод — школа культуры. Он переделывает человека, человек растет, он получает много и становится еще требовательнее.

Люди стали требовательными. Это прошло красной нитью через все выступления на пленуме.

Люди этого города, на месте которого восемь лет назад была лесистая пустошь, потребовали создания музыкального университета—сейчас в нем девятьсот студентов-рабочих. Они захотели учиться фотографии. Они желают знать художественную литературу — и в инструментальном цехе в обеденный перерыв идет читка художественной литературы. Рабочие, имеющие дело со сложнейшими машинами, потребовали специальных технических знаний. «Мы должны сделать так,—сказал тов. Богачев,— чтобы рабочим на Уралмаше читали лекции лучшие научные силы».

Уралмаш пригласил к себе писателей. Из Свердловска к уралмашевцам приезжает театр. Скоро будет открыт стадион. «Мы обязаны обслужить отдых рабоче-



Люди приводят город в порядок в соответствии со своими требованиями Союзфото

го,—говорил тов. Богачев.—Завод окружен лесами. Нужно во что бы то ни стало организовать дом отдыха, где бы рабочий мог провести свой выходной день».

Быстро разветвляется сеть детских учреждений. По справке тов. Стриевского—в яслях и детсадах сейчас находится 1300 детей работниц.

Председатель ЦК упомянул в своем докладе, что на Уралмаше выдано за год безвозвратных ссуд на 150 000 рублей. Эта сухая цифра скрывает замечательное человеческое содержание. Кто получил эти ссуды? Заболевшие, многосемейные, у которых дети учатся в школе, рабочие семьи, задумавшие купить корову, приобрести мебель. Советский рабочий, гражданин страны, уничтожившей безработицу, не знает черного дня, угроза которого висела над головой каждого пролетария царской России, висит над головой каждого пролетария капиталистического мира.

Забота о живом человеке — сейчас главное в работе профсоюзов. Но, чтобы действительно помочь живому человеку, пора перестать, как это часто делалось, оперировать «средним»: надо знать к а ж д о г о живого человека. В этом смысл перестройки профсоюзов, — перестройки снизу доверху. Если в низовом звене, профгруппе, сто пятьдесят человек, какой профгрупорг сможет сказать, что он действительно знает, кто из рабочих нуждается в жилье, кому в первую очередь дать путевку, чьего ребенка надо поместить в детский очаг? Если у прежнего ЦК союза (до разукрупнения) были сотни предприятий, можно ли сказать, что ЦК действительно во-время мог откликнуться на их нужды? Разукрупнение, переход от «среднего» к конкретному, есть организационный путь к лучшему культурно-бытовому обслуживанию рабочего.

К сожалению, сколько этих «средних» осталось еще и на Уралмаше, в городе изумительных достижений! Сколько «пустяков», легко устранимых, ненужных, микроскопических по сравнению с тем, что сделано!

Но люди становятся непримиримы к пустякам, и в этом одно из лучших достижений наших дней.

К инструктору ВЦСПС пришли трое ребят—Серебряков, Овчинников и Мальцев. Они окончили ФЗУ и вот уже четы-

ре месяца спят по-двое на одной койке Инструктор Глусов удивился:

— Вы молчали об этом?

— Нет, мы обращались и в цехком, и в завком, и в газету. Куда еще можно обратиться?

Тогда инструктор Глусов вместе с предзавкома Поносовым пошел в общежитие.

— Что это?— спросил Глусов у Поносова.

— Куда ж мне их деть?— махнул рукой Поносов.—Не прикажешь ли ты мне снимать людей с работы, срывать план и освобождать места в общежитиях?

Разумеется, план Уралмаша срывать не пришлось. У гигантского завода должно и без срыва плана найтись несколько лишних коек.

Глусов видел общежития, — неплохие общежития, с просторными, светлыми комнатами (в социалистическом городе нет общежитий-казарм), где рабочие пьют чай из крашеного ведра. Чайник умудрились превратить в проблему, Простой чайник не поместился в смету, включающую возведение домов и корпусов завода-гиганта.

В этом отличном городе, оплетенном сетью канализационных и водопроводных труб, есть дома без водопровода, без канализации. Средств «нехватило» на отводку. Она отнесена «во вторую очередь».

О, эта «вторая очередь»!

Людям негде стирать белье. Строители города, располагавшие десятками миллионов, не считали эту подробность «первоочередной». Прачечная, конечно, «намечена» образцовая, механизированная,— огромный каменный дом. Собираются совещания инженеров и архитекторов, и в синем папиросном дыму возникают проекты, изящные и грандиозные. И никому не приходит в голову, что прачечная нужна вот сейчас, что можно, пока будет готова та, «как в Чикаго», взять простую избушку, поставить котел и корыто или цементировать и отопить подвал.

Многих «пустяков» не предвидели строители города. Строя, они оглядывались на план воображаемого большого Свердловска. Вероятно, они даже подвешивали на ниточке этот план и так определяли его «центр тяжести». Они вырубили лес между заводом и реальным Свердловском: тут лягут широкие проспекты. Ради ослепительного будущего они построили звуковое кино и баню на самом краю города: тут, в сиянии вольтовых дуг и в гудении линкольнов, будут биться главные артерии «Большого Свердловска».

Неумение сочетать общее с частностями, привычка мыслить только «масштабами» и «перспективами»!

Тов. Отриевский много и верно говорил на пленуме о культуре быта. «У вас дрова на кухне колют, это безобразие». Но где же их колоть, если при домах нет ни дровянников, ни сараев, как нет и мусорных ям!

Хозяйки вешают белье на балконах. Они не хотят заражать свои светлые, чистые комнаты испарениями мокрых простынь. Но местные Перегринусы, унаследовавшие от гофманского героя дальнозоркий телескоп вместо простого глаза, иной раз не менее нужного, слышали, что нужно бороться за культуру и эстетику быта. Кальсоны на балконах, фи! Это — провинция, это — мещанство. И, чорт возьми, надо же развивать у людей хороший вкус!..

— Снять!— командует обходящий дома милиционер.

— Да мне же некуда вешать их, товарищ,— пробует взмолиться хозяйка.

— А мне что за дело? Хоть на кровати развесь...

Это те самые Перегринусы, которые рады, что им удалось «развернуть» на Уралмаше семьдесят четыре «торговых точки». Они мыслят именно «точками», канцелярскими знаками. Им нет нужды, что многие из этих «точек» в темных, сырых подвалах.

Из месяца в месяц в столовой № 39 рабочие простаивали почти весь перерыв в очереди, ожидая, пока освободится место у стола, и потом наскоро глотали холодный обед, торопясь освободить стул для товарища. Люди, из месяца в месяц не догадывавшиеся, что можно довести число столов и стульев до числа обедающих, были, вероятно, искренне поражены, когда эту их «пустяшную» забывчивость объявили п р е с т у п л е н и е м и сообщили о ней прокурору.

Да, люди стали требовательными. И они умеют не только требовать, они умеют также работать, засучив рукава, что-

бы привести свой быт в соответствие со своими требованиями. Рабочие Уралмаша не захотели жить на голом пустыре по указке ревнителей большого Свердловска. Когда был выпущен зеленый заем, рабочие пошли на социалистические субботники. Они отработали 12 000 трудодней на разбивке газонов, на посадке деревьев. Борьбу за здоровую, зеленую улицу они сочли делом чести. Они вызвали на соревнование Свердловск. И первыми пришли к финишу этого зеленого соревнования, хотя областной столице нужно было засадить площадь, вдвое меньшую, чем Уралмашу.

С этого началось. Дальше возник конкурс на лучшую культурную квартиру. «От соревнования на побелку жилья, — рассказывал секретарь парткома Авербах,— люди стали переходить к соревнованию на выписку книг, газет. Дома и квартиры начали соревноваться в том, сколько раз люди ходят в баню, в кино». Так шла переделка человека. «На этом,—докладывал пленуму предзавкома тов. Поносов,—у нас вырос новый актив. Мы видели и слышали на совещаниях по подготовке к зиме новых людей, которые раньше на производственных совещаниях не выступали».

Этот новый актив сам «вытянул» общежития, запущенные, неостекленные («зима в Свердловске посуровее московской, а рамы, в жестокие морозы, так и стояли на кухне», — недосуг было вставить!). Если они могут все, эти новые люди, многого хотящие, со многим не мирящиеся, то, быть может, сами они и обставят свои жилища? Вот, например: сидеть не на чем в общежитии, некуда вешать одежду,— так почему товарищу Шаповалову не обязаться сделать шкаф, два дивана и, для ровного счета, две рамы для портретов? Или тов. Любину смастерить пепельницы?

Тов. Поносов гордился на пленуме этим «самообслуживанием». Он назвал это: «пошли по линии борьбы с иждивенчеством». «Не нужно никаких затрат — была бы инициатива, и в бараке можно иметь и диван, и пепельницу, и портреты в рамках». Предзавкома Уралмаша осуждает «такое направление», когда рабочий хочет иметь «готовое все — от газеты (!) до мебели»!

Человек договорился до «натурального хозяйства» во второй пятилетке, на самом передовом заводе! Он не понимает, что рабочая творческая инициатива великое дело; ее нельзя опошлять.

Никак не укладывается в иных головах, что рабочий как раз **имеет право** требовать «все готовое — от газеты до мебели», что недопустимо и возмутительно, когда за стулом надо ехать из Уралмаша в Свердловск, потому что мебельные организации (на складах которых затоваривается продукция лучших мебельных фабрик) не «развернули» ни одной «точки» в социалистическом семидесятитысячном городе, что рабочий Уралмаша имеет право требовать не только «готовый» диван, но и клуб, Дворец культуры, которого там до сих пор нет, очевидно потому, что строители города отнесли его постройку на те времена, когда полностью будет реализован план большого Свердловска.

Положение на Уралмаше типично этой своей пестротой.

Огромные, капитальные достижения; поразительный рост людей и наряду с этим — бессмысленные недочеты в пустяках, «идиотизмы» организации быта. Неумение устроить дело там, где оно стоит грош.

Когда один из низовых работников, тов. Громилин, страстно, горячо говорил об этом, ему бросили реплику:

— Да ты не горячись.

Следом за ним выступил тов. Гулый. Он сказал:

— Правильно сделал Громилин, что горячился. Мы все горячимся, и не может быть иначе.

Не может быть иначе.

И эта страстность, с какой обсуждали «мелочи» на пленуме высшего профсоюзного органа, есть сама по себе факт огромного значения. Она показывает, что перестали мириться с тем, что испокон веков считалось само собой очевидным.

Люди стали придирчивы. Заводская газета описала, как готовится к XVII годовщине революции семья тов. Левандовского, лучшего кузнеца. В слащавом стиле были перечислены все пироги, закуски и жаркое, изготовленные Левандовской, женой знатного человека. Так поняла газета внимание к быту рабочего-ударника. Левандовские пришли в

парткомом, оба — муж и жена. Они показали запись расходов. «Писать—так правду. Почему сказано о пирогах, но ничего о купленных нами книгах?» Мещанская заметка в газете оскорбила их. И вместе с ними оскорбила сотни рабочих Уралмаша.

Быть может, лучше всего сказал о сегодняшнем рабочем Уралмаша (о его обязанностях и правах) тов. Поносов, предзавкома:

— Умные станки-уникумы требуют от рабочих завода, от ИТР высокой и передовой культуры на производстве и высокой, передовой культуры в быту. Без производственной культуры, без культуры в быту немыслимо освоение такого завода, как Уралмаш. Кто не ходит в баню, кто ложится спать в валенках, кто не читает газет, книг, не бывает в театре, тот не может дать высокой производительности труда.

Беда в том, что сознание перестраивается медленнее реальной основы жизненных отношений. Когда на том же Уралмаше остаются неистраченными средства на охрану труда, это не экономия, это — производственная некультурность. Когда ударника Гайдамака увольняют за пьянку отца («под корень рубят» — подали ироническую реплику на пленуме), это недостаток внимания уважения к человеку.

Страстный, горячий разговор на пленуме скоро вышел из рамок Уралмаша—Уралмаш послужил отправной точкой. Делегаты не могли молчать о том, что они видели в других местах. Они сопоставляли, приводили аналогии. В этом обобщении «пустяков», в поднятии их на принципиальную высоту — главное значение прений на V пленуме ВЦСПС.

— У нас уже есть рабочие, — говорил тов. Громилин,—которые едут в цех и отвозят в школу детей на собственном автомобиле. И вот таких-то рабочих, сегодняшних советских рабочих, подозревают на ленинградском заводе им. Кирова, что они крадут ножи в столовой! В этой столовой ни ножа, ни вилки к обеду без залога, без «номерка» не получить. Смешной и бессмысленный контраст!

Есть циркуляр, что бесплатный зубной протез может получить только человек, у которого не хватает шести зубов в одной челюсти. Мрачный продукт бюрократической фантазии, стремящейся оградить государство от разорения людьми, потерявшими «только» пять зубов. «Горячий» Громилин не удержался от пожелания автору этого циркуляра:

— Самому бы ему выломать шесть зубов!

Ленинградский рабочий пьет дома душистый чай на столе, покрытом чистой скатертью. Он привык к этой опрятности чайного стола и заработал право на нее. Но в столовой «Русского дизеля» с него берут шесть копеек за стакан непристойного цвета бурды, ему суют этот мутный стакан без блюдечка, он несет его, обжигаясь, перекладывая из руки в руку, взяв в зубы кепку. Почему в столовой должно быть хуже, чем дома?

В Лысьве, по колдоговору, полагается рабочим жестяных цехов теплая обувь. Цех получил шестьсот пар валенок, оставалось раздать их. Но это слишком просто для бюрократического мышления. Валенки, новые, целые валенки, разрезали. «Корешки» отдали ударникам. «Вершки» — тем, кто плохо работает. Цехком провел «дифиренцированное снабжение» и «перехитрил» колдоговор по рецепту сказки о чорте и мужике!

Пора понять, что этот случай прямого вредительства по существу то же самое, что и циркуляр о шести зубах, чай без блюдечек, канализационные трубы, брошенные у порога дома, баня, выстроенная на проспекте воображаемого города, пара брошюр, засиженных мухами с прошлого лета в пустом шкафу Красного уголка национального барака № 17 на Уралмаше, и увольнение ударника за то, что пьет отец.

Бюрократическое мышление создает сложности там, где все просто. Оно усложняет жизнь без нужды и без пользы, придумывает несуществующие трудности. Происходит это потому, что форма, бумажка ставится впереди человека. Человеку не верят, его не уважают, об его нуждах не думают. Бюрократическое мышление слепо. Оно видит «номерки», «единицы», «точки» и «человекочасы». Скаредное, оно нерасчетливо дороже всего обходящейся нерасчетливостью: нерасчетливостью по отношению к зав-



В Москве, в районе завода „Шарикоподшипник“, продукты доставляются на квартиру
Союзфото.

трашнему дню, нерасчетливостью по отношению к силам и способностям человека.

—

Можно долго вести еще этот досадный список «комариных укусов» нашего быта.

Можно вспомнить лысьвенский Дворец культуры, выстроенный за городом, на снежной равнине, претворенной канцелярским воображением в идеальную центральную площадь «Большой Лысьвы».

Выбитое стекло в столовой партактива той же Лысьвы, где всю суровую уральскую зиму обедают, дрожа от холода (раздеваться—обязательно!), хозяевам города не приходит в голову, что стекло можно вставить.

Очереди за хлебом, которые умудрились создать в Березниках, ибо, по чьему-то расчету, двух или трех «точек» достаточно для нового замечательного города, еще возникающего, с «пустыми» кварталами — и потому раскинутого на несколько километров.

Во многих столовых этого города кормят до сих пор крайне скверно и недешево. Нет продуктов? Неопреодолимые трудности? Но тут же рядом в коммерческом ресторане в любой «постный» день битки в кипящем сливочном масле стоят полтора рубля. Где искать корни того мнения, что заводская столовая должна быть хуже коммерческой? Потому, что здесь, хочешь—не хочешь, пообедаешь, а коммерческая контролируется рублем?

Пора перестать прощать «пустяки». Вы спрашиваете в магазине повидло-мармелад. Вам бесстрастно отрезают: «В вашу посуду».

Вы идете со службы, разве вы обязаны оттопыривать карманы стаканами? Вы просите завернуть в бумагу — ведь

вы живете рядом, и в конце концов отвечаете сами за все последствия. «В бумагу нельзя. Надо быть культурным».

О, это словечко «культура» в устах героев циркуляра!

«Чего же вы хотите?»

Чтобы была посуда в магазине.

Места в бесплацкартных вагонах дальних поездов берутся с бою. Люди с билетами в руках кулаками прокладывают себе дорогу. Бригада и стрелки грубо выпихивают проскочивших вперед. Так, например, был отправлен 2 февраля этого года поезд № 43 с Курского вокзала в Москве. Кто дал право кассе издеваться над десятками людей и организовать позорную, оскорбительную и ненужную сцену свалки, продав билетов больше, чем мест в поезде?

Пассажирский поезд Москва — Нижний-Тагил 4 января пришел на станцию Калино с опозданием. Дежурный по станции дал отправление местному лысьвенскому поезду, когда московский подходил к перрону. Вагон прямого сообщения Москвы—Лысьва, погруженный во мрак, остался стоять на запасных путях шесть часов — до следующего местного поезда. Дежурный секунду в секунду выдержал расписание местного поезда. В вагоне ехали инженеры, возвращавшиеся из командировки, пермский врач, не поспевший сделать доклад на врачебной конференции в Лысьве, и московский научный работник, лекции которого в этот вечер ожидали десятки рабочих в лысьвенском Дворце культуры. В Америке пассажиры вагона предъявили бы иск железной дороге за растраченное время, оценив его в долларах. Мы должны быть строже Америки: растраченное время не покрывается у нас рыночной стоимостью его в долларах или рублях.

Трамвай не дошел до остановки — впереди вагоны. «Выходи — на пять копеек не доехали», — люди начинают выходить. Но вагон дергается—он продвигается на двадцать сантиметров и застывает на секунду снова. Затем опять рывок, третий, четвертый — «по чайной ложке», с «морской качкой» в переполненном вагоне. Почему нельзя дать спокойно сойти всем желающим (ведь дело не в столбе остановки!) и пустить вагон только тогда, когда будет свободен путь до самой остановки? Тут неуважение к простым удобствам людей, к их нервам.

Пора замечать и такие мелочи и стать требовательными в них.

Громилин на пленуме ВЦСПС сказал, что, какой вопрос ни возьму, он всегда какой-то стороной относится к культуре обслуживания. Тут — основное, ибо это вопрос об устройстве жизни людей нашей страны, творцов и строителей социализма.

В этой статье речь шла о правах людей — трудящихся Советского Союза.

Мы говорим о них с такой требовательностью потому, что наша великая страна, ежегодный прирост населения которой равен населению Норвегии, дала каждому из своих граждан права на жизнь, каких не давала ни одна страна за все тысячелетия человеческой истории.

В «Правде» был напечатан недавно рассказ К. Паустовского «Доблесть» — о том, как завтра, ради спасения *одного* больного ребенка, город погрузится в тишину, замолкнут сирены гудков, люди пойдут на цыпочках по улицам.

Плановое хозяйство социализма учитывает не только материальные ресурсы страны, но и способность к радостному творчеству каждого человека. Каждый человек *нужен* обществу — и так возникает небывалое нигде *право* (самое большое человеческое право) на жизнь, максимально свободную от всякого мелочного бытового дергания, на жизнь, где бережно охраняется каждая минута — все равно «служебного» или «неслужебного» времени человека, каждая крупица его бодрости.

Пусть рассчитают любители «человеко-часов», сколько могла бы построить новых Днепрогэсов человеческая энергия, затрачиваемая на «толчки» быта, на лишние ожидания, на двукратные хождения туда, куда можно пойти один раз, на двукратные делания того, что можно сделать за один раз.

Надо учиться вглядываться в завтра, в то социалистическое завтра, которое сумеет претворять в новые Днепрогэсы эту творческую энергию, когда наш быт сбережет ее.

Лето в стангороде

Н. Сорокин

Вместо вступления—две коротких выписки из дорожных тетрадей разъездного корреспондента.

Лето. 1932 год.

По дороге в образцовом, почти военном, порядке идет обоз.

Красное знамя полощется над головной тачанкой, в которой за ездового — сам бригадир. Вслед тачанке одна за другой — телеги: девчата с известковыми от противозагарных мазей лицами, смуглые (одни белки и зубы блестят) ребята в выцветших майках... Дребезжа, проходят жатки с поднятыми к небу желтыми граблями, лобогрейки с замерзшими мотовилами. Снова белолицые девчата и смуглокожие парни. Широкобедрые арбы, доверху груженные жердями, дрекольем, плетеными матами, ползут вслед. Скрипят пузатые бочки водовозов. Идут подводы с лопатами, граблями, упряжью, мешками, колодами. Идет платформа с походной кузницей. Проходит санитарный фургон, алея крестами на парусиновых боках. За ним пылит культкомбайн с красной и черной досками, со стенгазетным щитом, с книжными полками. Заключая поход, постукивают крышками и просыпают на дороге угольки дымящие походные кухни. Пока доедут — обед поспеет!

Это бригада прохладненской артели «Заветы Ильича», закончив уборку ячменя, выезжает на дальнюю пшеничную клетку.

Часа через два, на пригорке, выкошенном посланной вперед лобогрейкой (на пригорке — потому что низина сыра), обоз встает в пшеничной стогектарке. Белым остистым колосом шуршит вокруг длинноусая «кооператорка». Тачанка со знаменем выезжает на середку, и бригадир, подвязывая возжи к спинке, окликает звеньевых, напоминая:

— К вечеру чтобы все в аккурате!

А к вечеру—кузнец уже раздул горн и стучит по наковальне, строгим рядом стоят машины, кони мирно фыркают у колод, хрустя овсом; в шалашах, наспех сколоченных из жердей и камышевых матов, уже расставляют козлы кроватей и свежей соломой набивают мешковые сенники, и конюхи уже получают мазь у санитара, и на свеже сколоченных столах у кухни пар уже встает над мисками смачного ужина, и первые лужицы уже натекают под рукомойниками...

Табор начинает свою короткую жизнь.

Осень. 1932 год.

В Дрожжановском колхозе «Ирек», что значит по-татарски «Свобода», идет заседание. Правление подводит первые итоги хозяйственного года. Докладчик сообщает: хлебопоставки выполнены, семена и фураж засыпаны, на трудодень придется пятнадцать килограммов, в том числе один килограмм пшеницы. По этому поводу слово просит Нургали Бичуров. Он подсчитал, что получит с семьей не меньше семисот пудов. Правда, у него семь едоков. Но семьсот пудов—этого ему хватило бы на несколько лет. Надо учесть, что он не должен теперь платить налога, засыпать семена, откладывать фураж, чинить инвентарь, платить подать с окна и с трубы уличному караульщику, сельскому ямщику, волостной почте... Так что, как ни много семьсот пудов, это еще больше, чем может казаться.

Поэтому он, как бригадир, имеет право сказать: «Мы забыли, что наши шесть полевых станов надо оборудовать покрепче».

Бичуров напоминает, как вторая бригада, закончив к ночи работу на одном участке, ночью же переходила на новый и обозом шла через деревню. Люди уже по десять, по четырнадцать дней не были дома, но ни один не заглянул к себе. Все, как один, пришли на участок.

А когда выпрягли коней и оглянулись, — вокруг голое поле.

— Нет, когда люди так работают, думаешь: они в праве иметь постоянные станы. А когда слышишь, как зарабатывают, думаешь: они могут и должны иметь в таборах и крепкие, тесовые шалаши, и крытые столовые, и ясли.

И все это, по мнению Нургали Бичурова, надо обязательно внести в план колхоза на следующий год.

—

И вот вы въезжаете в табор колхоза «Инициатива». Бывший Нижневолжский край не славился по Союзу таборами. Это не Кабарда, не Днепропетровщина, не Средняя Волга... А на Нижней Волге «Инициатива» тоже не первый колхоз.

У вас в дорожном портфеле куча выписок и вырезок из политотдельских, районных, областных газет. В статьях, в письмах, в заметках — подсчеты экономии трудодней, сбереженных таборами: время больше не тратится на переезды! В статьях, в письмах — подсчеты сбереженной энергии тягла: какая разгрузка коням!

Вырезки рассказывают о том, как Кинель-Черкасский колхоз им. Ильича, организовав таборы, поднял выработку на плуг с 0,84 гектара до 1,24. Вырезки рассказывают о работе Средневолжского института, показавшего, что двухлемешный плуг Эккера с одним рабочим поднимает за день 0,91 гектара при двух километрах расстояния от деревни и 0,54 гектара при десяти километрах. Вырезки и выписки рассказывают о том, как в станице Черек (Урванская МТС) после организации таборов невыходы сократились вдвое, о том, как таборы продлили срок службы инвентаря и оборудования, о том, как т. И. Варейкис, подводя итоги сева в б. ЦЧО, признал, что отсутствие таборов растянуло в области сев на десять-пятнадцать дней. Выписка рассказывает о том, как в селении Нартан, в Кабарде, сельсовет и партячейка, правление колхоза и кооператив выехали за бригадами в поле.

Одним словом, в дорожном портфеле не мало сведений о колхозных станах. Но все же неожиданными кажутся мелькнувшие веселой краской расписанная изгородь «штахет» и широкие ворота с приветственной надписью.

В белом свете калильных фонарей машина проносится по плотно укатанной дороге, мимо цветочных клумб, по реденьким еще, молодым аллеям, к бригадному штабу.

Вы — в стане бригады т. Дубина.

—

Посмотрите у Даля:

«Табор — это обоз на стойке, шатры бродячего народа, привал переселенцев.

— Стан — место, где путники дорожные стали для отдыха», и т. д.

(К слову: Даль спрашивает: «Для чего слово стан заменено чужим, искаженным — станция?»)

Но уже в «Сельскохозяйственном словаре-справочнике» (издание Сельхозгиза, 1934 года), подписанном к печати 25 декабря 1933 года, слову «стан» дано совершенно другое объяснение, никак не вызывающее в представлении ни шумных орд, ни стойбища рваных палаток, ни пестрых привалов у костров.

«Стан—центральный пункт на производственном участке бригады, где устраиваются на время полевых работ навес и другие простейшие сооружения для отдыха (обеденный перерыв, ночь). Здесь же ставятся ясли и корыта для рабочего скота, организуется кухня и т. п. На стане проводится политическая и культмассовая работа (газеты, книги, радио, громкая читка, беседа и пр.), выпускается бригадная газета, вывешиваются красная и черная доски. На стане подводятся итоги дневной выработки, организуются производственные совещания и пр.» (стр. 849).

«Табор — см. стан» (стр. 880).

Через девять месяцев, 15 сентября 1934 года, было подписано к печати второе издание «Словаря-справочника», в нем сделано добавление:

«Стан играет большую роль в производственной жизни постоянной бригады, и поэтому необходимо от временных навесов, палаток и пр. переходить к сооружению постоянных, удобных станов».

В третьем издании словаря статью о стане придется переделать начисто и вслед за «постоянной бригадой» и перед «постромками» и «потерями» поставить «постоянный стан».

За коротких два-три года емкость понятия «стан» выросла несравненно. Смысловая нагрузка слова обновилась полностью.

Опросить сегодня миллионы колхозников: что такое стан? Никто не ответит уже по Далю! Но очень многие на основе личного опыта внесут серьезные и

принципиальные поправки в текст справочников-словарей обоих изданий. «Здесь же организуется кухня,— пишут словари,— и т. п.»...

В стане бригады Дубина скромное «и т. п.» означает не только хозяйственные постройки, не только заранее свезенное на площадку оборудование, но такие «непроизводственные» вещи, как фонари уличного освещения, цветочные клумбы, обложенные беленой крошкой кирпича, посыпанные песком дорожки, по краям которых поставлены скамьи.

—

В десятках старых повестей и романов увековечены страда единоличника и его полевая стоянка. Писатели-дворяне не мало потрудились над тем, чтоб приукрасить горчайшую нужду и беспомощность «свободного» земледельца, в стихах и прозе воспеть звездное небо, пьянящий аромат свежего сена, студеную ключевую воду в глиняном горшке, ласковое тепло огонька под закопченным котелком, в котором ворчит и булькает сытное варево.

В этих буколических идиллиях и намека не было на промозглые, бесприютные ночи, которые коротались на земле под телегой, завешанной рваным мешком. Кляча, тесно (от лихого человека) привязанная к телеге, топчется тут же в смраде мочи и навоза. Затемно, еще при звездах, поднявшись, за версты бежит к роднику баба с щербатым горшком, в котором к вечеру вода станет и теплой и тухлой. А «свободный» земледелец затемно, уже при звездах, окончив работу, не распрямив скрюченной усталостью спины, негнущимися пальцами высекает огниво и из последних сил раздувает сухой трут и солому под треногом. Идет глубокая ночь и покрывает разбросанных в поле усталых, одиноких людей, копошащихся у костров..

Когда Маркс сравнивал деревню с мешком отдельных картофелин, он говорил и о способах производства, и о системе землепользования, и о бытовой культуре. Но колхозный табор ведет родословную не от охапки сена, брошенной под телегу заночевавшего в поле единоличника. Прообраз колхозного стана надо искать в палатках и тракторных вагончиках первых совхозных отрядов.

Несмотря на одинаковое, казалось, целевое назначение, между ними огромная разница: палатки, вагоны, домики вывезены в поле со специальным заданием обслужить работающих. Тракторы, выходя на участок, везли не только прицепной инвентарь, оборудование заправочных пунктов, цистерны с горючим, мешки с семенами, но и походные ремонтные мастерские, но и жилье, постель, умывальники, библиотеку, радиоприемник.

Эти необычайные тракторные поезда страна увидела впервые лет семь-восемь назад. И вот уже сейчас полевой стан колхозной бригады прочной, неотъемлемой деталью врастает в колхозный пейзаж, новой чертой дополняет лицо социалистической страны.

Сейчас в летних перелетах из Херсона в Днепропетровск, из Ростова в Орджоникидзе, из Арзамаса в Казань, под крылом самолета можно увидеть в степях Украины, на просторах Кубани, в равнинах Осетии, на полях Закавказья— очертания новых колхозных таборов, вынесенных на километры от старой деревни.

—

И вот — стан бригады Дубина. Это уже совсем не наспех сколоченные шатры и шалаши и никак не на живую нитку сшитые «балаганы».

Табор, полушутя, полусерьезно, зовут Стангородом.

Три больших, капитальной кладки, общежития. Здание столовой. Ларек Сельпо. Красный уголок. Крытая эстрада. Баня. Души. По другую сторону городка — амбары, конюшни, несколько мелких хозяйственных построек, навесы для машин. Электростанция... По улицам Стангорода тянутся столбы с телефонными проводами. Над домами — антенны радио.

Как назвать такое селение, оживающее с конца марта, живущее до августа-сентября и замирающее к октябрю? С октября по март здесь не остается почти никого, кроме сторожа, стреляющего зайцев и лисиц.

Это—не город, не деревня, не хутор,— тип поселения совершенно новый в истории земли.

Года полтора-два назад кое-где в большой моде были споры о путях, ко-

торыми культура придет в зажиточный колхоз. Пламенные дискуссии на эту тему можно было слышать в политотделах, в райкомах, в комвузах. Крайние точки зрения определились с достаточной четкостью.

Занавески и цветочные горшки на окнах жилой избы или — обязательно с мылом! — мытье рук на конюшне? Книжная полка над чистой кроватью колхозника или выговор за не совсем свежий халат доярки? Воротничок с галстуком для выходного тракториста или чистый комбинезон для тракториста, который садится в седло?

Одним словом, речь шла о том, через быт ли вводить культуру в производство, или через производство поднимать культуру быта. В спорах шли поиски того решающего звена, которое помогает вытащить всю цепь.

Табор бригады Дубина показывает, как жизнь без всякой схоластики разрешает недавние споры. В самом деле: откуда пришла культура в постоянный стан: из быта в производство, или из производства в быт, когда сам табор одновременно содержит в себе и элементы культурного быта, и элементы культуры производства, и когда каждое новое завоевание здесь, в таборе, есть одновременно победа культуры быта, подъем культуры производства?

—

Летом 1934 года колхозы Кабардино-Балкарии объезжал один известный журналист, несколько лет не бывший в СССР и только по газетам следивший за успехами колхозного строительства. Он много знал о бригадах, много слышал о полевых таборах, но это было знакомство заочное понаслышке.

Вернувшись из поездки по Кабардино-Балкарии, он рассказывал, что открыл на станах как бы геологические напластования, следы иных эпох в истории колхоза. Он видел примитивные шалаши полевых стоянок 1929—1930 года, видел балаганы, навесы и врытые в землю кухонные котлы таборов 1932 года, и, наконец, увидел многолюдные, яркие, культурные, организованные стангорода, о которых еще не успел прочитать в газетах.

Но история бригады, прослеженная с точки зрения роста ее станов, отражает только внешние, главным образом масштабные изменения. Она не вскрывает совершающихся здесь глубоких внутренних сдвигов в сознании колхозника.

Присмотритесь к жизни бригады Дубина. Вот вернулись с поля звенья. Ближние — пришли пешком. Дальние приехали. На велосипеде прикатил бригадир. Люди расходятся по чистым общежитиям. Кто-то уже мел и мыл их полы. И даже окна протер!

Через минуту-две вся бригада — на площадке у мужского и женского душей. В баки уже давно налита вода. Умытая и посвежевшая бригада собирается в столовой.

В дальнем углу табора зафыркала, запыхтела электростанция, и нити ламп, медленно накаляясь, заливают светом просторную комнату, отражаются в блестящей клеенке столиков, зажигают блики на аккуратно расставленных приборах, на стекле солонок, в графинах с водой... На почетном месте украшенный цветами стол ударника. Ужин готов. Ужин ждет прихода бригады... Но вот пустеет столовая.

Матери спешат к яслям узнать, как провели день их дети. И потом, сегодня должен быть доктор из района. Осмотрел ли он их? Как нашел?

У ларька Сельпо очередь: утром не всегда успеешь сделать покупки.

Уже совсем темно и на спортплощадке пусто. Вокруг эстрады слушает очередной самодеятельный концерт вся бригада.

Но нет, не вся! Покуда народ отдыхает, слушая баянистов и мандолину, к работе приступила бригадная «портно-починочная мастерская». Мастерская — это, говоря проще, Марья Тихоновна, уполномоченная бригадным производственным совещанием следить за обмундированием и экипировкой. Покуда люди в поле, Марья Тихоновна постирает, выгладит белье и платье. Вечером, если ваша рубашка или брюки пострадали на работе, или если у вас просто оторвалась пуговица, Марья Тихоновна аккуратно все починит. И если вы очень устали—спите спокойно! Утром вы найдете на стуле у своей постели починенное платье, вымытое, поглаженное белье...

...Здесь, на постоянном колхозном стане, возникает и быстро растет небыва-

лая в деревне система коммунального обслуживания.

В колхозах Бесскорбненской МТС она привела к созданию своего бригадного ОРСа — подсобного хозяйства из огорода, бахчи, свинарника, кролятника, птичника. Здесь родилась новая профессия — хозяйка табора, и в станах идет соревнование хозяек за молодую мартовскую редиску и ранний зеленый лук для ударников сверхраннего сева, за качество соления огурцов, помидоров и арбузов, за разнообразное меню в таборной столовой.

В колхозах Баксановской МТС, где бригады очень разбросаны, станы имеют свои пекарни. В колхозах Ульяновского района на станах организованы парикмахерские. И все это — из внутренних ресурсов. Культурный стан 6-й бригады артели «Ударник» в Пашковской МТС с многочисленными капитальными зданиями, столовой, садиком, цветниками, кузницей, огородом, амбаром и т. д. обошелся колхозу в двести трудодней. Строили стан из материалов, собранных самими колхозниками. Власенко, Гришук, Карапетов отдали табору по одной из своих усадебных построек. Сергеенко достал сорок реек. Чухрай раздобыл плитки для пола. А двенадцатилетний Коля Сергеенко организовал с ребятами доставку живых цветов. Строили стан субботниками, с песней.

Патефон получили потом, в премию.

От вороха зерна на брезенте—к крепкому амбару. От соломенного шалаша, к капитальному дому. От котла, наспех вкопанного в землю,— к кухне с кафельной плитой. От сенника на земле — к кроватям с сеткой. Так идет рост станов.

Но это только одна сторона дела.

Наряду с материальным, бытовым обрастанием, наряду с культурностью и зажиточностью, приходящей на стан, совершенствуется, развертывается организация дела, захватывая новые и новые участки жизни на стане, овладевая деталями и «мелочами».

«О бригаде и ее инвентаре» — так озаглавлено постановление Кабардино-Балкарского обкома от 3 января 1934 года. В этом постановлении разработан самый точный распорядок внутренней производственной жизни бригады и стана. Здесь же перечислено восемьсот наименовани предметов оборудования бригады и стана [1]).

Список предусматривает не только цепки и недоуздки для лошадей, не только чистики для плугов, колодки для починки обуви, но и песок и игрушки для песка на таборных детплощадках.

И это постановление обкома партии в сотнях колхозов Кабарды давно перевыполнено.

—

К ночи во втором мужском общежитии бригады Дубина несколько человек склонились над столом, разглядывая карту полей колхоза. Обсуждается разработанный МТС и правлением колхоза генеральный план организации станов.

Гроза свернула полевые работы. Дубин в необсохшем дождевике забегает на минуту в общежитие послушать поправки колхозников. Он слушает объяснения агронома и улыбается.

— Помните раньше: волость была за центр, а деревня с церковью — местожительство. А теперь центр — станция машиннотракторная, и жить — на станах.

Дубин подходит к окну, смотрит в сумерки и добавляет:

— Интересно, знаете, замечать, как жизнь все на новое и новое поворачивает. Вот, скажите, а как мы будем жить еще лет через десять?

Дубин смотрит в сумерки. За окном— в поле — один за другим всплывают по столбам огни фонарей.

Они освещают в поле молодые, умытые дождем деревца вдоль темных дорог, клумбы цветов, намечающуюся в поле перспективу улицы, ажурную деревянную клетку строящегося клуба, вышку таборной пожарной каланчи...

Они освещают стан в поле.

---

1) См. след. страницу.

О бригаде и ее инвентаре

Из постановления Кабардино-Балкарского обкома ВКП (б) от 3 января 1934 года.

Считалось, что словесный арсенал довоенного русского крестьянина измеряется всего шестьюстами слов. В нищем хозяйстве жалкой земляной блохи, в беспросветном кругозоре, ограниченном тесной межой и глухим забором собственника, этот скудный словесный запас обслуживал все материальные и духовные нужды «мужика». Шестьсот слов... Это были слова того же русского языка, огромные богатства которого общепризнаны. Лев Толстой оперировал тысячами слов и понятий этого языка. Но в косноязычии и языковой нищете русского мужика не было ничего удивительного: сказывался строй эксплоатации, хищнический строй ограбления трудящихся имущими.

Успехи стройки социалистического хозяйства, победы зажиточной и культурной жизни для миллионов честных колхозных тружеников отражаются и в словесном обогащении колхозной деревни.

Мы печатаем ниже выдержки из постановления Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б) «О бригаде и ее инвентаре». Здесь речь идет только о предметах производственного обихода самой бригады. Здесь нет ни слова о машинах, ставших в руках пролетарского государства важнейшими рычагами перестройки деревни. Здесь нет ни слова о тракторе, о комбайне, запасных частях к ним, о заправочном оборудовании, об автомашинах. Здесь речь идет только о самом необходимом, о самом насущном для колхозника, работающего в бригаде. И в этом списке—сотни предметов, о которых доколхозный крестьянин не имел и представления, или которых, во всяком случае, он не мог иметь в поле. Перевыполненное в десятках колхозов Кабардино-Балкарии, это постановление обкома партии—ярчайший документ нашей эпохи, эпохи великих социалистических побед и свершений.

...Бригада должна быть укомплектована, оборудована и снабжена абсолютно всем инвентарем, оборудованием и материалами, необходимыми для выполнения своего производственного задания в размерах и в сроки, установленные годовым производственным заданием ее рабочими нарядами...

Тягло бригады, инвентарь и оборудование конюшни

Рабочие лошади, сильные, сытые и здоровые, спаренные в упряжи по силе, крепости, нраву, резвости и характеру и возможно, по масти.

Отдельные станки для каждой лошади зимой и по упряжкам в полевых условиях, с отдельными кормушками для концентратов и объемистых кормов.

Недоуздки и цепки для каждой лошади.

Скребница и щетка для каждой лошади.

Для каждого ухаживающего за лошадьми:

а. ведро для поения,

б. вилы для корма,

в. грабли,

г. метла,

д. деревянная лопата,

е. вилы навозные,

ж. коробка для раздачи концентрированного корма,

з. шуфельная лопата,

и. копытная расчистка

Крюк для упряжи (для каждой лошади в амуничнике при конюшне).

Попона для каждой лошади.

Ящик для концентратов в кормовом помещении конюшни или в особом.

Резак для отрезки сена в скирде.

Коновязка перед конюшнями.

Дворовые ясли для дневного кормления.

Передвижные полевые ясли.

Переносный полевой навес для упряжи (стойка с крючками и крышей).

Запас песку (во дворе) для подсыпки пола.

Фонари «летучая мышь».

Сельскохозяйственные машины и орудия, транспортный инвентарь

Плуги.

Бороны легкие и тяжелые.

Сеялки хлебные и специальные кукурузные и картофелесажатели.

Культиваторы, полольники (могут быть ручные и конные) и окучники.

Конные грабли.

Сенокосилки.

Уборочные машины, а. жатки, ж. лобогрейки, и в. сноповязалки.

Соломорезки, корнерезки, зернодробилки.

Кукурузные и специальные молотилки.

Катки каменные.

Триер, сортировка, веялка.

Хода пароконные с ящиками (брички).
Водовозки.
Специальные ящики для перевозки зерна;
дробины нижние и вторые для возки развуз, хлеба;
рубели для возки сена;
сапетки для кукурузы.
Бричка для вывозки навоза.
Сани.
Арбы воловые.

Каждая машина, орудие, бричка, сани и пр. должны быть закреплены по номерам за каждым колхозником и за определенными лошадьми.

Упряжь

Хомут дышловой запряжки, подогнанный и закрепленный за каждой лошадью со шлеей и парой постромок, нашильниками и подбрюшником.

Нагрудники для каждого хомута.

Вожжи для пароконной запряжки ременные в передней части и тесмяные — в ручной или ременные.

Уздечка с поводьями отдельно для каждой лошади.

Кнутов два на запряжку — один ездовой и второй ралейный (пахотный).

Седел для объездчиков (не менее трех в бригаде),
с потниками,
подушками,
крыльями,
тремя подпругами,
нагрудниками,
подхвостными ременными и переметными сумами.

Седелки для одиночной запряжки (водовозы, бедарки).
Чересседельник и подбрюшник.
Ремни для оглобель.
Ярмо для волов (по числу пар волов).
Налытачи для волов (по числу пар волов).

Мелкий сельскохозяйственный инвентарь

Чистик для каждого плуга.
Ключ для подтяжки гаек, подъема и опускания колес плуга.
Чистка для каждой сеялки.
Масленки для смазки колес и других частей во время работы.

Необходимое количество ваг (барков) для тройной, пароконной и одноконной запряжки.

Цепи и железные прутья для запряжки четвериком и плуг (вийц для запряжки в плуг волов).

Притыки для крепления ярма к дышлу или вийцу.

Веревки и ремни для увязки возов при перевозках хлеба, сена и пр.

Вилы железные четырехрожковые, трехрожковые, двухрожковые.

Вилы деревянные для половы (баштармаки) 2-рожковые для стогования.
Грабли деревянные ручные.
Мотыги ручные.
Косы травяные ручные в потребном количестве.
Волокуши для соломы и мякины.
Точила станковые.
» наждачные для точки кос.
Бабки для отбойки кос ручных.
Напильники для точки мотыг.
Серпы (в потребном количестве).
Топоры (в потребном количестве).
Ведра.
Лейки для воды при наливе в бочки.
Молотилки для отбойки кос.
Брезенты возовые.
Весы сотенные.

Инструментарий бригады

Инструменты первой необходимости должны быть в каждой бригаде или при полевой кузнице или, при отсутствии ее, у бригадира, в следующем наборе:
Молоток,
Клещи,
Плоскогубцы
Пила
Шерхебель
Рубанок
Фуганок
Струг (прямой и для чистки держаков)
Плотницкий топор
Долота и стамезки разных размеров.
Киянка
Рашпиль по дереву
Коловорот с набором шерок и разных размеров бурав.
Зубило
Пробой

Оправка
Кровельные ножницы
Тиски среднего размера
Напильники разные (драчевый и шлифовальный — обязательно плоский, круглый и треугольный).
Ключи разводные и простые
Дрель и набор сверл.

Мелкое дополнительное оборудование и инструмент бригады

Каждая бригада должна быть также снабжена всем мелким оборудованием и инструментами, необходимыми для обслуживания ремонта упряжи, обуви, платья колхозников и т. д., для чего иметь в бригаде:
Ножи для резки кожи
Тисочки шорные
Дорожник шорный
Доска для резки кожи
Наковальня для разбивки кожи
Швейки
Шилья (прямые и изогнутые)
Молоток сапожный
Плоскогубцы сапожные
Клещи
Брусок для точки ножей
Колодки для починки обуви
Шпильки и сапожные гвозди
Дратва
Ушивальники
Щетина
Ножницы портняжные
Иголки для шитья
Запас ниток суровых и катушечных
Бруски для точки кос
Монтачки для кос
Сапетки ручные

Оборудование кухни и столовой бригады

Котлы для варки пищи с цепями и крючками для подвешивания их.
Крышки для этих котлов
Кастрюли эмалированные или медные, луженые, с крышками
Тазы для мытья продуктов
Таз для мытья посуды
Корыто деревянное для приготовления хатламы
Мешалки деревянные
Кадушки деревянные
Ящики для хранения продуктов
Ножи кухонные
Ложки разливательные
Кухонные вилки
Шумовки
Сковороды чугунные
Умывальник кухонный
Мыло, полотенец посудных 12 шт. и для рук — 12 шт.
Стол кухонный
Посуда (фляги) для хранения масла и молока
Столы обеденные
Скамьи
Посудный шкаф
Кастрюли для разноски пищи
Миски обеденные
Ножи и вилки столовые
Ложки
Кружки эмалированные
Умывальник общий
Полотенца и мыло для рук
Миски, ложки, кружки, ножи и вилки, как в общеколхозной или бригадной столовой, так в детской должны быть отдельные для каждого колхозника и ребенка.

Оборудование детских учреждений

Койки детские (отдельно для каждого ребенка)
Тюфячки
Одеяльца
Простыни
Подушки
Наволочки
Детское белье
Столики
Скамьи и креслица
Судна детские
Игрушки разные для детских игр
Умывальники
Полотенца
Песок для игр с игрушками для песка (тачки, лопатки, совки, пособники и пр.).
Картинки и детские книги
Оборудование для рисования, вырезки и клейки.

Культурно-бытовое оборудование

Столы и скамьи
Радиоустановка
Портреты вождей
Журналы
Газеты
Лозунги
Игры настольные — шахматы и шашки

Футбол, волей-бол, городки
Доски учета соревнования
Стенгазета
Душ
Котлы для подогревания воды
Корыта для стирки белья
Веревка бельевая

Аптечка

а. Ветеринарная:
Термометры
Закрутка деревянная
Ножницы Куппера (для застрижек)
Спринцовка
Порошковдуватель
Кружка Эсмарха
Бром феррон
Марганцево-кислый калий
Иодоформ
Квасцы в порошке
Медный купорос
Креолин
Мазь Вилькинсона
Мазь Вилькинсона
Мыло зеленое
Нафталин
Пиоктонин
Скипидар
Глауберовая соль
Ихтиоловая мазь
Бинты
Вата
б. Медицинская:
Термометры
Вата
Бинты
Бром-феррон
Слабительное
Иноземцева капли
Нашатырный спирт
Аспирин по 0,5
Хинин по 0,3
Зубные капли
Фенацетин по 0,5
Марля

Запасное оборудование и материалы в бригаде

В каждой бригаде в кладовой должен быть запас следующих частей, оборудования и материалов.

По группе запчастей и мелкого инвентаря:

Лемехи — не менее 25 проц. к общему количеству плугов в бригаде
Пятки, полевые доски, подошвы
Чересла запасные /ножи/ — 25 проц. к наличию плугов
Передаточные шестерни сеялки
Семепроводы 50 проц. к работающим сошникам
Сошниковые кольца волокуши
Запасные лапки и отвалы для культиваторов
Запасные цепи для плужной запряжки
Косогоны для всех имеющихся уборочных машин и втулки
Полотна кос уборочных машин
Сегментов по одному набору на 2 — 3 машины
Планки серповые и гладкие
Запасные пальцы
Шестерни передаточные уборочных машин
уборочных машин
Цепи Галля для сноповязалок
Полотна для сноповязалок
Ножи соломорезочные

Запасные камни точилочные
Запасные вилы всех видов
Мотыги
Грабли деревянные
Косы ручные
Ведра

Железо сортовое
Железо листовое
Уголь курной
Лес пиленый разных пород
Лес круглый разных пород, дышла, дробины
Держаки для вил и грабель, ручки для мотыг
Колодки для деревянных грабель
Запас планок для мотовила лобогреек и сноповязалок
Крылья для самоскидок
Зубья для крыльев самоскидок
Кнутовища
Ваги
Болты разные и гайки
Гвозди строительные и ковочные
Проволока разная

Заклепки
Кожи сыромятные
Ушивальники
Веревки
Нитки
Кольца и шайбы

Деготь
Масло машинное
Мазь колесная
Шпагат для завязок

Упряжь и мягкая тара
Хомуты
Шлеи
Постромки
Уздечки
Недоуздки

Нашильники
Наручники
Возжи
Поводья
Кнуты
Ярма
Сноски
Притыки
Цепки поводковые
Налыгачи
Мешки менее 100 шт.

Вагон матери и ребенка на Северной железной дороге Союзфото





В родильном доме (Союзфото)

арсенал

Е. Босняцкий

Летом 1934 года советского инженера командировали в Германию, Францию и Соединенные штаты для ознакомления с производством предметов широкого потребления и для закупки образцов.

Перед отъездом он беседовал с рабочими, работницами и домашними хозяйками. Андрей Владимирович Копылов— строгальщик завода имени Калинина— сказал ему:

— У нас на заводе мы осуществляем лозунг: «Работать все четыреста двадцать минут в день». Ни одной минуты простоя или прогула. С восьми утра, когда я прихожу в цех, за станком каждая секунда моего времени взята на учет. Все обставлено так, чтобы не приходилось делать ни одного лишнего движения. Мы боремся за высокую производительность. Время — это вещи.

Дома же, наоборот. Вещи—это время. После того, как я возвращаюсь домой, очень много времени уходит бессмысленно. Я приучил себя бриться до завтрака, по-американски. Так поверите ли, на бритье у меня иногда уходит больше получаса. Лезвия постоянно тупые, ну и водишь по щекам медленно и осторожно. Охотно бы купил машинку для точки... Или вот, жена меня заставляет каждую шестидневку натирать полы. Просто — мучение! Тряпок шерстяных вокруг ноги намотаешь и елозишь по полу битый час. Купил полотерскую щетку — все равно. Наверное, тут можно придумать что-нибудь...

Андрея Владимировича перебила жена:

— Что ты, Андрей, рассуждаешь о времени! Придешь с работы и знай себе требуешь: «Давай чаю, давай ужин, давай чистый воротничок».

Квартира у нас хорошая. Паровое отопление, газ, ванна — все удобства. А все чего-то не хватает. Хочется, чтобы в комнате было чисто, уютно. Это не дешево дается. Вы, мужчины, не представляете себе, сколько энергии отнимают вещи? Думаешь также, как тринадцать лет назад, когда с фронта вернулся — шинель да балалайка. Я тут как-то на досуге подсчитала: в наших двух комнатах, да на кухне 520 вещей. Все это нужно содержать в порядке. Костюм выгладить, шубы засыпать нафталином, с книг и картин пыль смести. Так целыми вечерами и мотаюсь. Скоро вот месяц — «Гулливера» дочитать не могу.

Такие беседы послужили советскому инженеру прекрасным напутствием. В Берлине, Париже, Нью-Йорке, Чикаго он искал вещи, экономящие время, облегчающие труд женщин в быту, создающие комфорт и уют; аппараты, вылизывающие квартиру до блеска, приборы, сохраняющие продукты от порчи, — сотни и тысячи предметов домашнего обихода.

Он нашел их в универсальных магазинах, закупил и привез несколько тысяч образцов. В скором времени в Москве откроется выставка этих вещей. Цехи ширпотреба наших заводов, артели и кустари найдут на ней модели для своего производства.

Это—нехитрые приборы. Везде, где есть электричество, их можно применять. Производство их тоже не трудно наладить. Для этого не нужно строить гигантские заводы. Штамповочный станок, пресс, матрицы, — вот основное оборудование, нужное для производства бытового ширпотреба. Наша местная и кустарная промышленность в течение двух-трех лет сумеет освоить массовый выпуск таких вещей и сделать их достоянием рабочей семьи. Елена Ивановна Копылова найдет время дочитать Даниэля Дэфо и возьмется за Мигуэля Сервантеса.

Конечно, мы не будем рабски подражать Майси или Булоку, Вульворту или Вертхейму — владельцем крупнейших универсальных магазинов Запада. Они ориентируются на вкусы мелкого буржуа.

В 15 этажах магазина Майси в Нью-Йорке продается все. Во всех крупных столицах буржуазной Европы Майси

держит своих агентов, которые несколько раз в день телеграфируют хозяину о малейших колебаниях моды, о всех новых патентах и вещах, попавших на рынок. Люди Майси ловят каждое движение мелкого буржуа, любая его прихоть находит удовлетворение.

Если он ленив и не хочет шарить рукой под кроватью, он может купить у Майси окруженный лентой фосфора, светящийся ночной горшок. Если он любит острые ощущения, приказчики отдела резиновых изделий шопотом предложат ему новые предметы, повышающие чувственность. Майси продает все.

Из колоссального арсенала вещей, продающихся на Западе, мы не будем хватать все без разбора, но очень многое мы можем и должны оттуда позаимствовать.

Кухня... От этого слова пахнет и не всегда аппетитно. Вспомним, как выглядит эта обязательная в каждой жилой квартире комната.

Плита, дровяная или газовая, большая и черная, засаленная и грязная. Она несоразмерно велика и поставлена так, что загромождает всю комнату. Длинный и неудобный стол, над ним тучами кружатся мухи. Полки с бахромой газетных кружев, на них в беспорядке свалены кастрюли, сковороды, ведра. Никто не думает об уюте этой комнаты. От чада и пара всегда царит полутьма. Хозяйки постоянно спорят о том, чья очередь вымыть здесь пол и водопроводную раковину.

В отделе хозяйственных вещей универмага, ну хотя бы того же Майси, можно купить кухню, электрифицированную, математически рассчитанную. В небольшом кухонном шкафчике каждой кастрюле, сковороде, чашке определено место. В нескольких плотно закрывающихся ящиках с соответствующими надписями недельный запас круп, сахара, кофе, соли. Все продукты сохраняются в безупречной чистоте. Эти ящики открываются, только когда нужно пополнить запас. В них есть краны, которые достаточно повернуть, чтобы они автоматически отмерили нужную порцию. Нельзя ничего просыпать или насорить. В герметически закрывающемся отделении несколько дней, не черствея, хранится хлеб.

В шкафчике находится аппарат, который можно назвать кухонным комбайном. Он напоминает мясорубку. Внутри него помещается мотор в 1/4 л. с., но аппарат можно привести в действие и рукой, поворачивая рычаг. Такие аппараты проделывают от 15 до 20 операций: рубят мясо для котлет, мелют кофе, месят и раскатывают тесто, чистят картошку, протирают овощи, крутят мороженое, нарезают хлеб или колбасу кусочками любой толщины...

Газовая или электрическая плита рассчитана по величине семьи. Есть маленькие газовые плитки, которые после употребления прячут в шкаф. Для кухни придумано огромное количество приспособлений: машинки, вскрывающие консервные банки и одновременно закругляющие их края, сетчатый аппарат, который достаточно поставить под струю воды, чтобы он сам вымыл посуду. Легионы всяких ножичков, волнистых и кривых: для очистки рыбы от шелухи и внутренностей, для груш и яблок, для овощей и капусты. Машинки, разрезающие крутые яйца одновременно на десять кружочков, всевозможные терки и формочки...

Среди этого огромного разнообразия вещей особое и почетное место надлежит двум аппаратам, прочно вошедшим в быт на западе, благодаря большой экономии, которую они приносят. Это рефрижератор и герметически закрывающаяся кастрюля.

Кто-то из статистиков подсчитал, что летом мы выбрасываем в помойное ведро до восьми процентов купленной нами пищи. В наших провинциальных домах еще можно найти ледники. В крупных же городах жара настоящий бич хозяек. Они прибегают к всевозможным ухищрениям, чтобы сберечь продукты. Обматывают их мокрыми тряпками, кладут в воду, по два раза в день кипятят, засаливают, но тщетно. Мясо портится через день, масло становится жидким и невкусным, молоко, купленное утром, скисает к вечеру. Обед можно сварить только на один день. Яйца тухнут. Овощи вянут. В наших городах в течение нескольких часов жары гибнут десятки тысяч тонн ценнейших продуктов.

Одно время у нас выпускали, да и сейчас еще кое-где производят, домаш-

ние ледники. Это громоздкие и невместительные столы с маленькими ящиками для провизии и большим цинковым ящиком для льда. Его нужно заряжать ежедневно свежим льдом, под него нужно ставить ведро и ведро каждый день выносить. Он не может себе найти поэтому широкого применения.

В Америке рефрижератор — электрический ледник, получил такое же распространение, как электрическая лампочка. Нет ни одной городской квартиры без этого аппарата. Конструкция его очень проста. Это обычно небольшой, изящно сделанный шкаф, который может служить украшением любой комнаты. В течение нескольких минут он вырабатывает сухой лед, которого достаточно на весь день. Сорок одна фирма в Соединенных штатах производит рефрижераторы. Они достигли совершенства. В новейших моделях можно даже регулировать температуру поворотом диска с делениями.

Рефрижератор экономит продукты, герметически закрывающиеся кастрюли дают огромную экономию времени и топлива.

В Сан-Франциско в универмаге Булока появилась в продаже кастрюля, в которой на газовой или примусной горелке за 15 — 20 минут можно сварить одновременно три блюда. Это толстостенный котел с двумя переборками. Он завинчивается сверху и не пропускает пар. Пища приготовляется под давлением. В крышку вделаны три свистка, которые одновременно являются и предохранителями. Кастрюля сама сообщает, когда какое-нибудь из блюд готово.

—

Нигде в мире массовое изобретательство не развито так, как у нас. На наших заводах изобретают, конструируют, рационализируют, думают об улучшении производства все — от ученика до директора предприятия. Они экономят десятки миллионов рублей народному хозяйству.

Но из поля зрения наших изобретателей и их организаций выпал крупнейший объект работы.

Спросите в Центральном совете общества изобретателей, какие предложения были сделаны за последний год, ну хотя бы по усовершенствованию обыкновенного чайника. Вопрос вызовет улыбку. В Центральном совете не смогут назвать фамилии ни одного изобретателя мелочей. И у нас их действительно мало. Они не организованы, предложения их случайны, и часто они повторяют уже давно придуманное.

Представьте себе чайник со свистком в крышке. Поставив его на огонь, можно спокойно уйти в соседнюю комнату. Конечно, это пустяк, ерунда. Вода закипит и без этого приспособления. Это изобретение не дает никакого экономического эффекта, но оно приносит некоторые удобства.

На Западе профессия изобретателей пустяков кормит сотни человек. Искусство этих людей—в наблюдательности.

В жаркий летний день такой изобретатель замечает, что пешеходы в городе сняли шляпы и носят их в руках. Это неудобно. Изобретатель пришивает парусиновую петельку к металлическому зажиму, каким обычно привешивают бумаги на гвоздь или игрушки на елку, и патентует этот «новый прибор». Майси покупает патент. Вечером весь город услышит по радио между двумя фокстротами призыв Майси: «Зачем вы носите шляпу в руке, когда с помощью прибора Майси ее можно пристегнуть к пуговице пиджака!» Эти же слова бесчисленное количество раз повторит светящаяся реклама. За ночь десятки штамповочных мастерских выполнят заказ Майси—два или три миллиона зажимов для шляп.

Человек, придумавший прибор для вдевания нитки в иглу, мог обладать прекрасным зрением, но он должен был представить себя в положении близорукой швеи. Изобретатель мелочей попеременно ставит себя в положение спортсмена, врача, инженера, человека, вышедшего на прогулку...

Пустяковые вещички, освобождающие от лишних движений, создающие удобства, прочно вошли в быт на Западе. Они выглядят очень эффектно и стоят гроши. Кустарные мастерские делают их из отходов и выпускают миллионами.

Вот, например, плоский деревянный чемоданчик, величиной в сложенную шахматную доску. Он весит всего один килограмм. На даче, выйдя с приятелем в лес, вы открываете этот ящичек, вынимаете из него два тонких деревянных диска и десять ножек, свинчиваете все, и перед вами стол и две табуретки. Но

если вы не собираетесь играть в шахматы, а хотите только посидеть в тени или поудить рыбу — положите в карман складной стул. Он сделан из стальной проволоки и квадратного кусочка брезента, занимает место немногим больше бумажника и выдерживает пятипудового человека.

Летом по выходным дням в наших городах рабочие семьи устремляются на вокзалы. Они везут с собой на прогулку чемодан с провизией, керосинки и даже самовары. Это утомительно и неудобно.

За границей есть в продаже примус, вмонтированный в жестяной ящичек, величиной с дамское портмоне. Он покрыт краской, имитирующей кожу. Крышка его открывается на две стороны и образует ширму, защищающую пламя от ветра.

Складные колодки, сохраняющие форму обуви в течение всего срока носки. Приспособления для снимания и одевания башмаков. Простейший прибор из фанеры и резины, которым можно вымыть окна втрое быстрее и лучше, чем тряпкой. Увеличивающие и освещающие лицо зеркала для бритья, машинки для точки лезвий и обыкновенных бритв. Эти и сотни подобных вещей найдут себе у нас массового потребителя.

За границей только в последние годы, под давлением кризиса, такие крупные электротехнические и машиностроительные концерны, как «Дженераль-Электрик» и Крупп организовали у себя производство бытовых электроприборов и домашнего инвентаря. Вся основная масса выпуска предметов обихода падает на кустарные и полукустарные мастерские, с количеством рабочих от пяти до ста пятидесяти человек.

Их преимущество перед крупными предприятиями—в легкой маневренности. Они безболезненно переключаются с одного вида продукции на другой. Они применяются к скоропереходящей моде на всевозможные безделушки, они применяются к погоде, они откликаются на политические события. Большинство их находится в зависимости от крупных торговцев, владельцев универсальных магазинов.

На промышленной выставке в Чикаго утром появилась оригинальная игрушка — свирель, издающая пронзительные и протяжные звуки. Она привлекла внимание публики и стала модной. Утром она была уникум. В течение дня штамповочные мастерские Чикаго распространили ее в миллионах экземпляров. Вечером ее можно было купить в любом конце города, а через день о ней забыли. Очевидец рассказывает, что он видел в Сан-Франциско маленькую мастерскую, где четыре негра на блицпрессах в понедельник выпустили несколько десятков тысяч железных подковок для фермерских сапог, а во вторник делали пряжки для поясов.

Но если крупная промышленность непосредственно не участвует в выпуске предметов обихода, то она зато очень активно продвигает в эту отрасль производства новые материалы. То, что за последнее время рынок всех крупнейших буржуазных стран наводнен изделиями из пластических масс и целлулозы, объясняется отнюдь не только модой или их удобством. Кое-какие «мирные заводы» легко, в случае нужды, перестроят свое производство.

Пока же они служат мирным целям—и служат не плохо. После того, как пластмассы завоевали прочное место в машиностроении, они проникли в быт и здесь очень быстро стали вытеснять металл, дерево, стекло, фарфор.

Чайная посуда всевозможных расцветок, легкая и красивая. Ее можно отличить от фарфоровой только уронив, — она не разобьется. Прозрачные как хрусталь небьющиеся бокалы и рюмки, тарелки и блюда, чернильные приборы и пепельницы, рамы для картин и радиоприемники.

Параллельно пластмассам в быт входят изделия из целлюлозы. Искусственные шелка и шерсти давно уже завоевали рынок. Теперь целлулоза стала находить себе еще более широкое применение. В прозрачную беспористую бумагу упаковывают фрукты и кондитерские изделия. Это почти равносильно консервированию.

Из пропарафиненной бумаги делают абажуры для ламп, скатерти, игрушки, даже посуду? Что может быть удобнее и гигиеничнее посуды, которую не нужно мыть. Тарелки, стаканы, чашки из бумаги так дешевы, что после употребления их тут же выбрасывают. В общественных местах у графина или бака с кипяченой водой ставят несколько бу-

мажных стаканов. Каждый из них употребляет только один человек.

Старший ординатор хирургического корпуса одной из московских больниц пользуется у себя на работе репутацией самого ревностного хранителя чистоты. По утрам, раньше чем начать опрос пациентов, он осматривает все уголки, заходит в уборные и ванные комнаты, заглядывает под койки и в тумбочки больных, водит носовым платком по ребрам окон и ламповым абажурам... Он разработал и ввел у себя в корпусе новую конструкцию шкафов с заостренным верхом, на которых не может задерживаться пыль. Он требует безупречной белизны белья больных и халатов медперсонала.

Но вот приходит вечер. Он снимает халат, садится на велосипед и едет домой. И тут с ним происходит странная перемена. Войдя в его комнату, трудно поверить, что тут живет «гроза медицинских сестер и сиделок», как его называют в больнице.

На книжном шкафу, на книгах, на картинах легко обнаружить пыль. Если ударить рукой по одеялу и подушкам, пыль вылетит и оттуда. Пол очень давно не натирался. Между столом и диваном втиснут велосипед. Взглянем на самого хозяина комнаты. Он побрит. На нем чистый воротничок, галстук, костюм из хорошего сукна. Но если лучше приглядеться, можно увидеть на пиджаке несколько жировых пятен, а на брюках блестящие следы утюга. Неопрятность сквозит во всем.

Все это объясняется очень просто. Он холост. У него всего одна и к тому же небольшая комната, наполненная множеством совершенно необходимых вещей. Он приходит домой поздно и не может уделить много времени уборке и приведению в порядок костюма.

В Берлине, Париже, Лондоне, Чикаго на любой улице в маленьком магазине он мог бы в течение нескольких минут за грошовую плату выгладить, вычистить и заштопать свой костюм.

Такие мастерские было бы не трудно организовать и у нас. Их оборудовать очень просто: утюги, гладильные доски, нитки, иголки, бензин и щетки.

Но как быть с пылью в квартире? Не вносить же в самом деле в квартиру безобразные больничные шкафы? Правда, можно кое-что вынести: диваны с валиками, слоноподобные гардеробы и комоды, тяжелые как памятники, письменные столы, кровати с шишками и этажерки с резьбой.

Тысячи людей ищут в наших магазинах тахту. Мы живем еще тесно, и для кровати в комнате не всегда находится место. Но тахту можно только заказать частным путем. От массового выпуска их мебельные фабрики отказываются из гигиенических соображений: нельзя спать на постели, когда на ней в течении дня сидели. Если бы руководители наших мебельных фабрик заглянули в иностранные прейскуранты, они могли бы позаимствовать оттуда прекрасную конструкцию тахты, которая поворотом ручки превращается на ночь в кровать.

В последние годы за границей стали пересматривать не только форму мебели, но и материалы, из которых она делается. Дерево заменяют стальными трубами, стеклом и пластмассами. Это экономит место и делает мебель легкой. У нас пока такую мебель ставят только в самолеты. Пора делать такую мебель для рабочих квартир.

В феврале образцовый универмаг Наркомвнуторга открыл выставку товаров 1935 года. Автор был на ней. В ярко освещенное зале неподвижно стояла чопорная и молчаливая толпа манекенов. К ним подходили гораздо хуже одетые люди и фамильярно брались за отвороты их костюмов, водили пальцами по изгибам талий и говорили о моде, об удобстве, о красоте одежды. Люди были шумны и веселы. Они перекликались и звали друг друга в разные концы зала: «Сергей Иванович,—кричал кто-то,—Сергей Иванович, идите сюда». Сергей Иванович находил приятеля среди груды блестящих предметов. Это были кастрюли и утюги, ведра, чайники. Они не принимали свет люстр и отбрасывали его широким прожекторным лучом в двигающихся людей. Люди щурились и улыбались.

«Идите, идите-ка сюда, — говорил неугомонный приятель Сергея Ивановича,—смотрите, какая кастрюля, завтра же побегу покупать жене». Кастрюля действительно была замечательная. Широкая, алюминиевая, с трубой посредине, с тяжелой железной подставкой. Сергей Ива-

На Неве. Ледокол „Литке", завершивший трансарктический рейс. Осень 1934 г.

Фото-этюд Ю. Толчан



В новом районе Москвы

Фото-этюд Я. Халип

нович взял ее в руки, повертел, развинтил, но ничего не понял. Но его приятель уже решительно все знал: «А, как вам нравится? Да нет, нет не самовар, а духовка. Понимаете... Ну вот вы, право, какой чудак. Закладываете сюда тесто, завинчиваете крышку и ставите на примус, на таз, на обыкновенную камфорку, и через двадцать минут горячий, вкусный хлеб. Ну, чего вы качаете головой, пессимист вы эдакий! Конечно, и пуддинги можно. Насчет блинов, не знаю, наверное и блины можно, только с дырой посередине...»

Это была такая же точно кастрюля, какую привез из Чикаго в 1934 году советский инженер, командированный для закупки образцов ширпотреба. За это время производство таких кастрюль успел наладить завод «Красный Выборжец».

Высокая девушка деловито осматривала электроприборы. Она брала и взвешивалаа в руке утюги, расспрашивала у служащих, из какого материала они сделаны, на каких заводах и есть ли в продаже запасные нагревательные пластины.

В соседнем отделе она попросила, чтобы ей продемонстрировали работу электрического патефона Ярославского завода. Она с улыбкой прослушала утесовский джаз...

В следующей комнате она увидела группу картонных детей. Они были одеты с большим вкусом в летние, зимние, будничные, праздничные и спортивные костюмы. Дальше были ткани. Сотни самых разнообразных тканей: сукна всех цветов и оттенков, тяжелые драпы и тонкий шевиот, бостоны и коверкот. Девушка спросила что-то у заведующего отделом. «Нет,—с готовностью ответил он,— ни одного предмета. В том-то и дело,— продолжал он, и в голосе его появились нотки гордости,—в том-то и дело, что все это сделано на советских заводах. С каждым днем все больше товаров. Приходите завтра, во всех отделах будут новые вещи. А вы видели шелка. Нет еще? Обязательно посмотрите. Вот туда». Он протянул руку. В конце зала колебались от движения и дыхания людей ниноны, шифоны, креп-де-шины: пышный фантастических цветов, сплетения линий, спиралей, кругов. Прямые и широсад фантастических цветов, сплетения линий, спиралей, кругов. Прямые и широкие полосы, поражающие яркостью и неожиданностью.

Девушка смотрела на все критически, но доброжелательно. Она приглядывалась ко всему как покупатель. Утомленная впечатлениями, даже немного опьяненная изобилием красок и рисунков, она села на диван. Рядом с ней шелестел листами большой белой книги седой старичок. Наклонившись к столу, он перелистывал страницы и улыбался. Потом он взял карандаш и стал писать. Подошедший служащий протянул такую же книгу девушке.

— Запишите, пожалуйста, сюда свой отзыв...

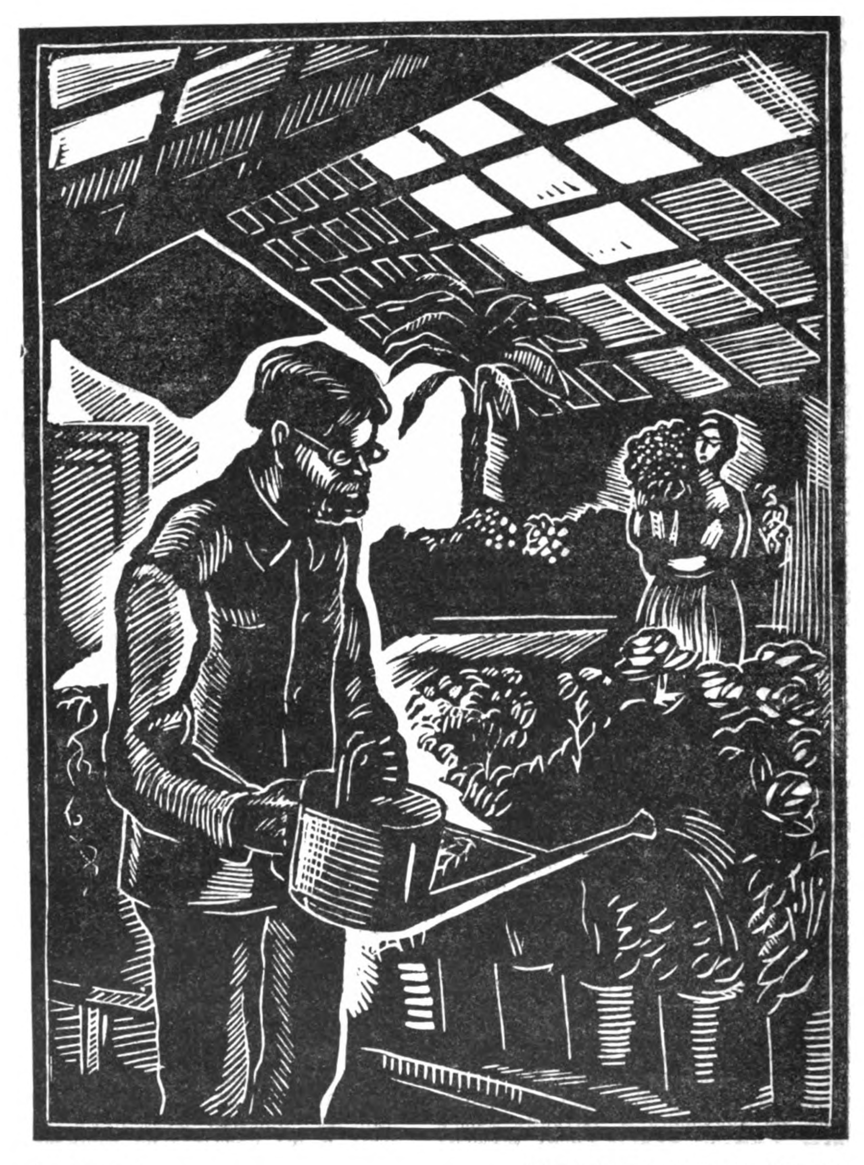
— Вы хотите, чтобы я похвалила выставку?

— Нет, — немного смутился служащий, — не обязательно, может быть внесете какое-нибудь предложение...

— Хорошо,—ответила девушка серьезно,—я подумаю...

Она посмотрела предыдущие записи. Писали много. Все единодушно восхищались. Нашлись даже поэты, которые выражали свои чувства в стихах. Отмечали наиболее удачные фасоны платья, костюмов. Критиковали рисунки, расцветки, набрасывали даже эскизы. Кто-то нарисовал чайник с очень широким дном. «Хотел бы достать такой чайник, — писал он,—в нем гораздо быстрей закипает вода».

Девушка взяла карандаш. «Мне очень понравилось пальто № 214»—начала она, но подумала и зачеркнула. «Вот все восторгаются и пишут, что очень хорошо,—начала она снова.—Я тоже согласна, что все это красиво и приятно. Недавно я получила новую комнату. Хорошо было бы, если бы мне здесь, на выставке, показали, как и что нужно поставить в комнате, чтобы было уютно. Еще насчет электрического отдела. Почему-то все—старые вещи, которые у меня уже есть. Утюги, плиты... Все это хорошо, но я хотела бы, чтобы электричество за меня не только чистую, а и масую грязную работу делало: мыло бы полы, посуду, стирало бы белье, пыль бы отовсюду высасывало. Вот пылесос я бы обязательно купила». Она подумала еще с минуту, поставила точку и подписалась: «Н. И. Заречная. Обмотчица трансформаторов завода им. Кирова».



В оранжерее Гравюра на линолеуме. Худ. Ольга Розенблят

одиннадцать городов

В. Васильев

«Бывшие хаты для рабочих в Горловке в настоящее время обращены в конюшни для казенных лошадей, но в этих помещениях тесно и грязно, негде повернуться. Мною, начальником дивизиона, приказано лошадей поставить на коновязь, ибо оставаться в подобных помещениях лошадям я нахожу невозможным»,—так и писал в 1905 году начальник казачьего дивизиона, разгромивший восстание горловских шахтеров.

Это распоряжение начальника казачьего дивизиона прочитал секретарь горловского райкома партии т. Фурер на открытии слета одиннадцати городов. В просторном зале горловского дворца культуры сидели делегаты Ярославля, Тулы, Воронежа, Саратова, Калинина, Баку, Кадиевки, Сталино, Прокопьевска, Таганрога. Представители десяти городов приехали в Горловку на производственное совещание, чтобы деловито, серьезно поговорить о своей работе, по благоустройству, обменяться опытом, поучиться у передовиков умению бороться за культуру быта.

Но что могло быть общего в прошлом между университетским городом Саратовым и дворянским Воронежем, между Тулой и Горловкой, прозванной за ужасающую грязь «помойкой Донбасса»?

Провинциальность.

Вся Российская империя была огромной, дикой, страшно4 провинцией, страной необъятных просторов, помещичьих усадеб, страной нищеты, скуки, отчаяния, животной тупости. И право же, не так важно, в Горловке или в Ярославле писал свой рапорт о лошадях, задыхающихся в вонючих рабочих землянках, начальник казачьего дивизиона. Эти землянки, эти Шанхаи и Пекины, были в каждом городе, они прочно входили в инвентарь российского быта, вместе с кафедральным собором, казенкой и публичным домом на окраине.

«О, провинция! Ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже самую способность желать. Какая возможность развиваться, когда горизонт мышления так обидно суживается; какая возможность мыслить, когда кругом нет ничего, вызывающего на мысль» (Салтыков-Щедрин).

Мы приступили к уничтожению провинции. Границы мира неслыханно раздвигаются. Люди Горловки, Ярославля, Кадиевки, Калинина хотят жить умно и культурно. Этим все сказано. Да здравствует прекрасная человеческая жизнь!

Делегаты слета писали в обращении: «Мы заключаем договор на лучшее обслуживание трудящихся всеми культурно-бытовыми учреждениями, на внимательное, чуткое отношение к живому человеку. Победителями в соревновании должны выйти те города, которые сумеют воздвигнуть наибольшее количество лучших гостиниц, ресторанов, столовых, бань, общежитий, яслей, магазинов, больниц, вокзалов, клубов».

Что можно прибавить к этим замечательным словам?

Это началось еще в коридоре гостиницы утром. Приехали бакинцы. Они бросили чемоданы, распахнули двери комнат. «Где Таганрог?»—спросили они.

С Таганрогом тихая, но смертельная «вражда». Маленький приморский городок подозрительно быстро заливает асфальтом улицы и площади. В Баку нефть, это всем понятно, но где таганрогцы достают асфальт? И загорелые бакинцы, раздувая ноздри, присели на кровати, тормоша заспанных делегатов Таганрога.

Калининские делегаты приехали еще вчера. Суетливые текстильщицы деловито осмотрели парк, стадион, шанхайскую землянку, прикрытую стеклянным колпаком, спускались в шахту № 1, чтобы удостовериться, действительно ли есть подземное кафе. Да, кафе было открыто и официантки в белых халатиках по-



Город Калинин. Почтовая площадь

давали забойщикам чай, горячие пирожки, мороженное.

Шла осень, садовники убирали в оранжереи ящики с отцветающими розами до будущей весны. Текстильщицы наставительно предупредили: «Смотрите, не погибли бы», — и садовники обиженно засопели в висячие, чайного цвета усы — знаем мол, сами постараемся...

Города отчитывались в своей работе по благоустройству.

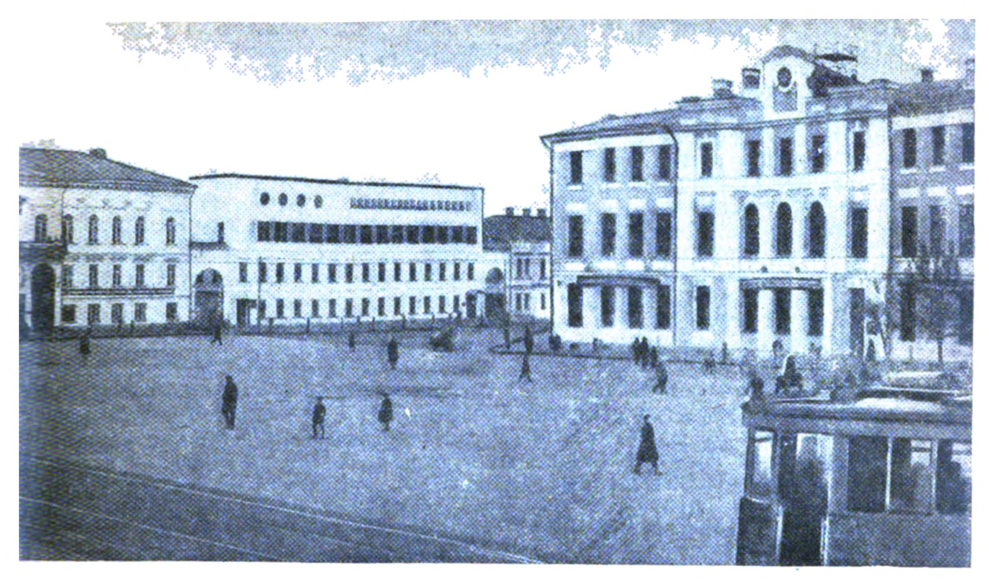
Потом собрались на слет.

На слете Горловка говорила о строящейся городской гостинице, о ресторане отделываемом гранитом и черным лабрадором Воронеж с достоинством рассказал о городском симфоническом оркестре — одном из лучших оркестров во всей стране. Чем же могла похвастаться маленькая Кадиевка? В кадиевском парке культуры и отдыха установлены прекрасные статуи работы лучших московских скульптуров. Все делегаты слета шумно аплодировали Кадиевке, потому что это, действительно очень красиво — мраморная статуя, изваянная властной рукой мастера, среди листвы кленов. Таганрог говорил о детской библиотеке — с помощью Н. К. Крупской собрали много книг, организовали школьные передвижки, летние читальни, доставку книг на дом больным детям. И опять делегаты слета вскакивали, хлопали и кричали, ибо ничего лучше заботы о детях.

Да, много сделано за эти два года в одиннадцати соревнующихся городах. Разбужены творческие силы народа. Люди увидели, что они могут сделать свою жизнь радостнее, красивее.

Но можно ли сказать, что в борьбе соревнующихся городов за благоустройство нет ошибок, промахов, недочетов? Так сказать нельзя. И здесь необходимо вспомнить о пяти проблемах организации культурного быта, о пяти проблемах, обсуждавшихся на слете одиннадцати городов в Горловке.

Проблема первая — комплектность. У нас часто забывают, что борьба за благоустройство должна быть комплексной. Красят стены домов, а дома не ремонтируют, укладывают тротуар, а в городе нет хорошей бани. Саратовский горсовет докладывал Совнаркому о своей работе — столько-то тысяч посажено деревьев, столько-то тысяч метров новых мостовых. А Совнарком неожиданно записал



Союзфото

в своем постановлении, что в саратовских банях грязные шайки. У Совнаркома было время заниматься банными шайками, а саратовцы о них забыли.

В Горловке проделана колоссальная работа по благоустройству. Нельзя недооценивать значительность сделанного. Но до сих пор в Горловке нет городской библиотеки, Дом культуры работает плохо, деревянные уборные торчат на многих углах. Нельзя все сделать в один год? Верно. Но нужно помнить обо всем фронте культурного строительства и иметь комплексный план.

Жизнь рабочего, мастера, инженера станет подлинно культурной только в итоге комплексной борьбы за благоустройство. Одними тротуарами культуры не создашь. Этого забывать нельзя.

Проблема вторая — система. Увлекались во всех городах субботниками. Рапортовали — вышло на субботник 10 000 рабочих! Хорошо ли это? Конечно, хорошо! Но что характерно для субботника? Недоделки. Назавтра после субботника нужно медленно, кропотливо, но последовательно доделывать, дорабатывать, после субботника нужно работать систематически.

Вот в Горловке во многих кварталах начали разбивку скверов. И бросили. В Доме советов сегодня, как и год назад, на лестнице нет перил, окна забиты фанерой, в коридорах грязь.

Делегаты Калинина, Тулы, Ярославля говорили — затеваются грандиозные переустройства площадей, улиц, а кругом грязь, сломанные заборы, засохшие цветы на клумбах (забыли о поливке!), разрытые траншеи водопровода. Что же нужно? А нужно, чтобы над каждой улицей, над каждым сквером, над каждой клумбой был хозяин, и хозяин заботливый.

Проблема третья — план. В Горловке много кривых улиц. Это новые улицы, недавно проложенные в строгом соответствии с планом большой Горловки. Что же это за план? Город хотели построить в виде огромной пятиконечной звезды. Величие и красоту этого пятиконечного города можно было бы постигнуть только с самолета. А люди должны были жить на кривых улицах. Новые, многоквартирные дома проектировались в виде квадратного «социально-бытового комплекса» (термин плановиков), а посредине, перед окнами, деревянная

уборная на два очка. Рабочий поселок горловского машзавода построен также весьма своеобразно: в глубине двора домики, а у забора, к улице, рядом с тротуаром—уборная.

Конечно, этот дикий план отменен. Но вот беда—и хороших планов еще нет. Делегаты Калинина, Тулы, Кадиевки жаловались — строим на-авось, планов нет. В Таганроге другая крайность: есть перспективный план грандиозного социалистического города — дворцы, парки, бульвары, но все это на завтра, а оперативного плана на сегодня нет, и никто не заботится о том, чтобы этот план был.

Проблема четвертая — архитектура. Говорят, что архитектура—окаменевшая музыка. Если это так, то в Горловке, в Воронеже, в Кадиевке, надо признаться, окаменела во многих домах отвратительная по своей бездарности какофония. Горловский Дом советов, воронежский институт марксизма-ленинизма, кадиевский Дом советов — всюду, везде унылая спичечная коробка», неряшливость, мрачный колорит. А люди хотят жить и работать в красивых зданиях, об этом на слете говорили многие и взволнованно. Хорошего архитектора на проект! И главное — на типовой проект. Сегодня нам не найти хороших архитекторов на все города. Ничего ужасного не будет, если в Ярославле и Кадиевке будут строиться одинаковые по типу, но красивые здания. Право, это лучше самобытных, но ужасных «спичечных коробок» и казарм.

И проблема пятая — дети. В сущности, это проблема всех проблем. Мало мы еще заботимся о наших детях. Города пока занимаются только ремонтом школ. Ясное дело, ремонт школ нужен. Но вся ли жизнь ребенка умещается в школе? А дошкольники? Спорт, книга, театр, кино, техническая станция, санаторий? Дети не меньше, чем взрослые, хотят жить интересно, весело и культурно.

Несколько лет назад Юрий Олеша написал повесть «Вишневая косточка». Тогда Олеша сомневался, будет ли при социализме среди заводов, шахт, фабрик сохранено чудесное вишневое деревцо искусства?

Он писал:

«... Дорогая Наташа, я упустил из виду главное: план. Существует план. Я действовал, не спросившись плана. Через пять лет на том месте, где нынче пустота, канава, бесполезные степи — будет воздвигнут бетонный гигант. Сестра моя — Воображение — опрометчивая особа. Весной начнут класть фундамент — и куда денется глупая моя косточка!..»

Веселые люди нашей страны бережно выращивают вишневое деревцо красоты всюду—в Хибинах, в Горловке, в Конотопе, в селе Большой Курган, всюду, где прокладываются дороги и тротуары, строятся клубы и бани, парашютные вышки и гостиницы, универмаги и детские ясли, открываются парки культуры и отдыха.

Тянутся к солнцу ростки деревца.

Расцветают драгоценные гроздья цветов.

Скоро и вся наша страна будет одним чудесным зелено-шумным садом. Правда ли это?

Да. Правда.

ПЯТЬСОТ ДОЛЛАРОВ НАЛИЧНЫМИ

Т. Леонтьева

Поезд упрямо преодолевает пространство. Он бежит и бежит по рельсам, задыхаясь, вздрагивая и слегка повизгивая. Если у вас есть часы, вы можете высчитать, какую скорость он развивает. Между стыками рельс двенадцать метров. В минуту тридцать толчков. Нужно тридцать умножить на двенадцать. Умножить еще на шестьдесят...

Мой сосед извлекает из кармана логарифмическую линейку. Оказывается, поезд проходит всего двадцать пять километров в час. Пассажиры обеспокоены. Они развертывают серое железнодорожное расписание и углубляются в него. В вагоне надолго устанавливается тяжелая дорожная скука, которая, кажется, даже замедляет движение поезда.

Два молодых инженера—юноша и девушка, стоят у окна. Они тихонько обсуждают сложные деформации, которые возникают в балке, сопротивляющейся изгибу. В дипломном проекте Светикова была именно такая ошибка. Просчет сотой доли. Однако, ферма не могла выдержать напряжения. Это блестяще доказал профессор. Был большой скандал.

Дым от папирос свивается над ними в голубые спирали. За окном сожженные солнцем кукурузные поля и желтые головы тыкв у сторожевых будок. Наконец, усеченная пирамида терриконa[1] ломает прямую горизонта. Поезд подходит к Горловке. Это отвлекает инженеров от сопротивления материалов и приводит к окну новых ленивых собеседников.

Горловка... Фурер... Постоловский... Мастера культуры... Розы в старой Собачеевке... Аванпост нового быта.

Горловку знают все. О ней читали, за ней следили, ее видели. Даже больная астмой старушка, которая всю дорогу курила абиссинский порошок и молчаливо страдала от удушья, свешивает пергаментную голову с верхней полки:

— Это, кажется, здесь лачужку шахтера взяли под стеклянный колпак?

[1] Гора породы, вынутой из шахты на поверхность.

Ее сосед, равнодушный и неподвижный, точно сиделец восточного базара, обгладывает куриную ногу и смотрит в окно.

— Да, это знаменитая Горловка. Она войдет в историю культуры. Посмотрите на ее вокзал. Произведение искусства!..

Наконец, поезд останавливается. Наиболее подвижные пассажиры вагона уже на платформе. Они видят перед собой знаменитый горловский вокзал. Произведение искусства! Но часть пассажиров осталась в вагоне. Несчастные люди: у окон. Из окна они видят немногое: сломанную — в ряду новеньких и целых — скамейку, надтреснутые вазоны и прикованную цепью к стене урну, лежащую на боку, как издыхающая собака. Полинявший лозунг висит на фасаде. Только два слова можно прочесть на нем: «Дорога и дисциплина». По платформе бегут люди, взмахивая чайниками и натыкаясь друг на друга, как будто вся их жизнь поставлена на карту и зависит только от того, добежишь или не добежишь первым. Горловка ли это?

— Горловка, Горловка,— говорит проводник.

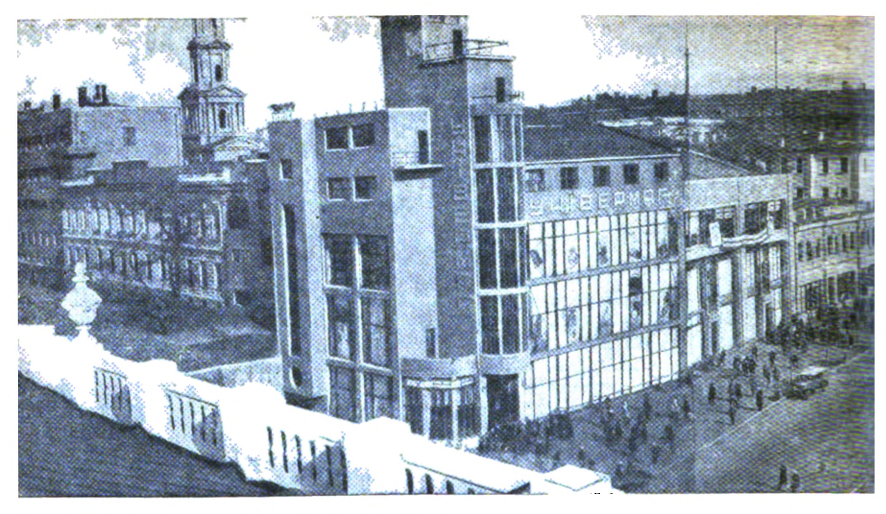
Потом поезд вздрагивает и вновь отправляется в путь. Тоннель... Виадук... Высокий откос... Снова поля, снова сторожевые будки. Сиделец восточного базара смущенно отходит от окна.

— Все-таки грязновато,— говорит он.

— На вокзале, знаете, народу много,— утешает его соседка.

Однако это не ответ на общий вопрос. В чем дело? Что произошло с горловским вокзалом, знаменитым Фуреровским вокзалом, которым гордился и которому завидовал весь Донбасс.

Да ничего не произошло. Когда справились с тысячами тонн асфальта, жилыми корпусами, парком культуры, бюстами, статуями, фонтанами, цветниками, можно уже не заметить нескольких надтреснутых вазонов. В Горловке их не замечают. Вот и все. Тем более, что деревянные колышки, поддерживающие вазоны, не были рассчитаны в соответ-



Харьков. Площадь Розы Люксембург после реконструкции

ствии с законами сопротивления материалов на сжатие, растяжение или изгиб. Это не ферма железнодорожного моста, где просчет одной сотой доли мог вызвать скандал и, может быть, катастрофу. Это мелочи, копейки, которые легко скинуть со счета истории. В Горловке верят в историческую снисходительность.

— Пятьсот долларов наличными?! Этого не бывает!— говорил какой-то анекдотический персонаж. Он выражал твердую уверенность, что еще никому не удалось получить такую крупную сумму целиком и полностью.

Горловка не может предъявить пятьсот долларов наличных. Четыреста девяносто девять — да! Но пятьсот... Этого не бывает.

—

Московские бульвары пять, шесть лет назад... Ветер гонит желтую пыль куда-то к памятнику Гоголя. Любознательная толпа собралась у телескопа. Деревенская девушка смущенно смотрит в объектив. Она права, ощущая неловкость перед толпой. Подсчет звезд, принесший славу Гершелю, считается теперь занятием бездельников или сумасшедших.

Человек, в ведении которого находится телескоп и небольшой отрезок вселенной, рассказывает рабфаковцу о созвездии «Гончих Собак» и величине солнечных протуберанцев, исчисленной Секки.

У силомера пробуют свои силы два школьника. На декорации фотографа плавает лиловый лебедь. Одинокий старичок дремлет под деревом.

Прошлое московских бульваров уверенно встает в памяти. «По почерку определяю характер». К зеленому рединготу старичка приншилена булавкой визитная карточка.

Ростов. Городской парк имени Горького. Здесь нет сломанных скамеек. Тенистые аллеи чисты и подстрижены, цветочные клумбы великолепны. Повсюду видна заботливая рука, оберегающая незатейливый экзотический стандарт. Баллюстрады, лестницы, фонтаны, бассейн с золотыми рыбками.

Но в аллеях — весы и силомеры. На центральной площадке — столик московского графолога А. Маркова. «Определение по почерку характера, способностей и склонностей». Причудливые декорации фотографов и пестрый маленький тир, где за удачную стрельбу вы можете получить в качестве премии... красный аптекарский шар. Какой-то самодеятельный струнный ансамбль исполняет «румбу». Когда-то здесь в голубой раковине играл настоящий оркестр,



Союзфото

но он оказался обременительным для городского бюджета.

— Это уже пустячки. Основное достигнуто, — объясняет наш спутник — работник ростовского совета. Вы должны учесть. Этот сад собственно парк культуры и отдыха. Здесь бывает слишком много народу. Трудно обслужить всех.

Опять эти пустячки и привычная ссылка: «Много народу». Может быть, успех всех культурных начинаний и в самом деле обратно пропорционален количеству людей, в них заинтересованных?

Мы спрашиваем об этом «мэра» города Ростова тов. Шипова.

— Разве? — говорит он. — Не знаю, не замечал.

И он развертывает перед нами на столе планы, проекты и сводки. Асфальт, бетон, жилая площадь, кустарники, цветы, строительство новой гостиницы, театра, спортивного комбината. И все это, действительно, посажено, уложено и выстроено.

Возразить нечего. Ростов затратил на благоустройство столько сил и средств, что, пожалуй, ни один из городов побережья не может соревноваться с ним. И, согласившись, остается возвратиться в свою гостиницу. Она носит название «Деловой двор» и полностью оправдывает его.

В вестибюле висит объявление:

«К сведению и удобству пассажиров! Открыта камера хранения ручного багажа! За вещи, оставленные в номере(!), гостиница не отвечает».

А в номере робко капает вода из умывальника, с рыжих портьер летят хлопья пыли, стены украшает малиновый закат в дешевой раме и зеркало, перед которым нельзя получить даже ориентировочное представление о своей наружности. Стена выкрашена каким-то неистовым колером, от этого комната с голой зеленой Психеей в углу кажется совсем непристойной.

Очевидно, самое трудное и сложное заключается в том, чтобы в каком-то конечном итоге вещи пустяковые и серьезные привести в соответствие. Пуговицы для ботинок и метрополитен — вещи несоизмеримые, но находящиеся в каком-то одном ряду.

Достигнуть этого очень трудно. Неизмеримо трудней, чем построить метрополитен или же наладить производство пуговиц, — в отдельности. Немногим удается заниматься и теми и другими одновременно и одинаково успешно. Есть разные методы, есть разные люди, есть разные результаты.

Городок инженеров завода им. Андреева в Таганроге расположен почти на рабочей площадке. Нужно только перешагнуть пути, ведущие от новых мартенов. Прямая тополевая аллея прорезает заросли каштанов и оканчивается мостиком, по которому можно пройти далеко в море. Над мостиком висят фонари в круглых белых абажурах. К нему привязаны лодки, принадлежащие жителям городка. Налево — плоский песчаный берег. Направо—скалистый обрыв, чудовищно вздыбленный и взрытый. А на самом краю обрыва—какое-то бронированное чудовище, не то танк, не то гаубица.

Нужно долго всматриваться, чтобы понять, что живописный обрыв—это гора шлака, а бронированное чудовище — обычный шлаковоз. Тогда вспоминаешь, что ты на заводе, и этому веришь с трудом. Полосатые тенты, шезлонги, теннисные корды, изобилие цветов и незвучный шум прибоя — совершенный санаторий.

Девушки в белых передниках с корзинами винограда, с сахаром и маслом в круглых тазах прошли мимо нас. На пороге маленького чистенького домика кухни их ждал повар, выразивший недовольство и их медлительностью и нашим приходом. Он не мог давать нам объяснений. Уже где-то далеко возле волейбольной площадки несколько раз ударяли в гонг.

В «деловом клубе», в биллиардной, мы нашли тогда завсегдатая-болельщика и увлекли его за собой на веранду. Мы узнали все, что нас интересовало.

В городе живут сейчас сто шестьдесят восемь инженеров завода.

Работают три столовых, обслуживающих не только жильцов городка, но и небольшую группу руководящих работников Таганрога.

В городке восемьдесят детей. Дети дошкольного возраста под руководством воспитателей проводят дни на специально оборудованной площадке. Школьники подвозятся в школу и обратно домой на автобусе, курсирующем в соответствии с расписанием занятий в школе. Есть читальня, библиотека, биллиард, буфет. И все это построено, сделано, организовано так прочно и основательно, что, кажется, нужно было затратить десятилетие только на строительство и стрижку газонов. Однако, всего два года назад здесь был пустырь, песчаные дюны и кустарники. Городок вырос буйно и неожиданно, как трава весной. Зеленая лавина ползет уже на заводскую территорию, и чугунные болванки из новомартеновского цеха в новотрубный транспортируются теперь через плодовый сад городка ИТР.

А ведь еще так недавно казалось очень сложным, почти невозможным развести цветники на металлургическом заводе, посадить деревья, установить фонтаны. Дым, гарь, каменноугольная пыль и привычка ко всему этому убивали не только зеленые ростки, но и самую идею в зародыше.

Каждый человек может вместить столько, сколько он может. Человек есть мера вещей. За месяц поездки по Северному Кавказу города, вещи и люди прошли передо мной. Они оставили короткий след в записной книжке и в памяти. Это память горизонтали. Она вобрала только то, что попалось на глаза, что поразило воображение, разбудило мысль, вызвало ассоциации. Не в оправдание, а в объяснение: то, что стало воспоминанием или записной книжкой, всегда статично. Сегодня я записала что-то о доме на М. Греческой улице № 15, о доме, который знают в Таганроге. Завтра этого дома не будет — его заменят клуб, дворец, завод или строительство клуба, дворца, завода. И улица будет переименована.

Вот домик Чехова. Он стоял когда-то на Полицейской улице.

Чехов писал о ней в 1899 году:

«А Полицейская улица с ее черными тенями, напоминает не то Мексику, не то Яву».

Сейчас эта улица называется Чеховской и вряд ли может вызвать представление о какой-либо экзотике. Это обычная европейская улица, очень прямая и очень широкая, как и все улицы Таганрога. Освещается она не керосином, а электричеством, есть водопровод, трамвай... Впрочем, здесь уже и все не так, как было раньше. А сегодня уже не так, как будет завтра.

К домику Чехова нужно пройти через узкий, немощеный двор между старыми флигельками, с обязательными фуксиями в окнах. Во дворе растут бурьян и крапива, и дымит низкая белая печка, похожая на надгробный памятник.

Чеховский домик — дальше, в самом конце двора, за зеленой аркой, в низкорослом вишневом садике. И арка, и сад, и желтые, правильно расположенные дорожки — все это новенькое и чистое, как на витрине. При Чехове здесь были только старые сараи и чахлые кусты. Их снесли, перекопали, пересадили уже в 1925 году. Теперь здесь очень хорошо, чисто, тихо, и хочется думать, что иначе и не мог выглядеть отчий дом великого писателя.

Теперь и весь Таганрог — это совсем иной, новый, индустриальный город. Его руководители ездят в Москву, изучают музеи, Музей изящных искусств, например, чтобы сделать свой город еще красивее и лучше. В нем живет новое поколение настоящих, не лишних людей, и в нем становится особенно больно за Антона Павловича Чехова, потому что ничего этого он не успел видеть.

—

Сочинский санаторий Красной армии — великолепное здание, вызывающее в памяти «город солнца» Кампанеллы: «Высокий холм, на котором расположен город... Обширные палаты. Сплошные арки, на которых находятся галлереи для прогулок и которые придерживаются снизу прекрасными толстыми столбами, опоясывающими аркады наподобие колоннад или монастырских переходов...»

В этом замечательном санатории все сделано всерьез и надолго, красиво и празднично, начиная от фундамента и кончая обивкой матрацов. Но самое поразительное в санатории — это бесконечное внимание к пустякам, которых так часто не замечают.

Вы приходите в столовую. В большом вестибюле вы можете вымыть руки у круглого фонтана. Кусочек зеленого душистого мыла лежит в мыльнице. Вы вытираете руки салфеткой и бросаете ее в корзину. Отсюда она немедленно передается в стирку. В парикмахерской у каждого кресла висит веер. Как известно, летом здесь очень жарко.

В умывальнике теплая вода, и, кроме душей, ванн и прочих приспособлений, вы находите в углу низкую белую раковину. В ней можно вымыть ноги, вернувшись с экскурсии. Все предусмотрено и рассчитано. А ведь в санатории живет восемьсот человек.

Я пришла в этот санаторий в гости к товарищу. В моем санатории я опоздала к ужину и была наказана. Тогда товарищ, несмотря на сравнительно поздний час, повел меня в столовую, уверяя, что нас обязательно накормят. Я ему не поверила: с каких это пор в санаториях стали кормить приблудных людей, не занесенных в списочный состав? Мы пришли в столовую, — девушка подошла к нам, поздоровалась и спросила моего товарища:

— Вам на одного или на двух?

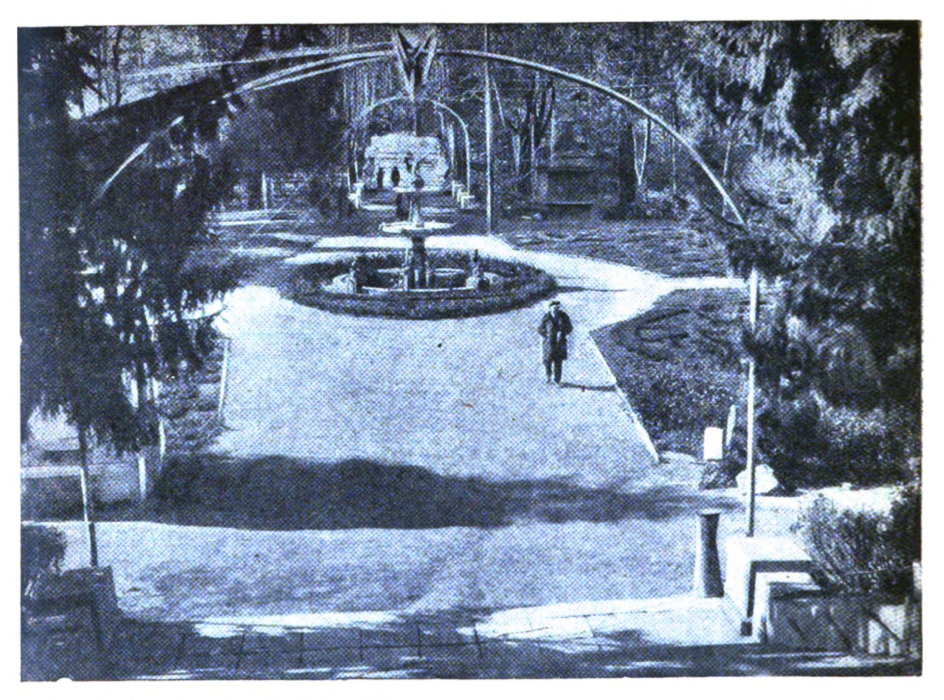
Узнав, что на двух, она, не возражая и не пытаясь отвести меня в комендатуру, просто принесла два прибора...

—

Узкий висячий мостик, вызывающий в памяти гравюры средневековья, перекинут через Терек к мечети. Обойденная городом и рекой мечеть поднимает вверх полумесяц на тонком шпиле, как иссохшую ладонь за подаянием. Толкните романтическую калитку, обвитую плющом, и она захлопнется за вами бесшумно. За ней останется бег трамваев, рявканье автомобилей, лозунги социализма и двадцатый век. А здесь четырехугольный дворик, горячие камни, зеленая вода низкого бассейна, розовые кусты, мозаика и птичий помет на стенах, мечети, как сто лет назад. Старики сидят у фонтана и равномерно вздыхают. Они молчат и дремлют. Они выпали из координат времени и не знают, что в Москве происходит съезд писателей, что Клим Ворошилов избран почетным гражданином турецкого города Смирны, что стратостат, отделившись от земли, поднялся куда-то туда, где разместились райские кущи пророка.

Через узкий мостик можно вернуться в «Трэк». Есть такой парк в городе Орджоникидзе. Осень в его аллеях проста и величественна. Дети ходят по парку и делают из опавших листьев длинные желтые цепи. Цапля стоит, поджав красную ногу, и безразлично смотрит на плакат ГТО, к которому прислонился в дремоте старый осетин.

«Трэк» прекрасен. Но люди хотят сделать его еще прекрасней. Поэтому посредине парка они выстроили деревянную базилику, похожую на элеватор. Здесь размещены различные аттракционы. У входа изображена толстая, голая баба,



... Есть такой парк в городе Орджоникидзе

Фото Гайкаровича

с голубым цветком пониже спины. Рядом — плакат, который дает публике методические разъяснения:

«Если хотите видеть себя в смешном виде, медленно подходите и отходите от зеркала, позируйте, и будет смешно».

Может быть, здесь действительно смеются, следуя этим несложным методическим указаниям? Мы отходим подальше в глубину сада, к бедному зеленому прудику. То, о чем мы говорим, может быть названо проблемой вкуса. Настоящее искусство не нуждается в украшениях, как природа не нуждается в декорациях. Украшения принижают искусство, и оно беззащитно перед лицом обывательской безвкусицы.

Несколько лет назад мне пришлось жить в квартире одного из работников города Сталино, основной функцией этого человека являлось продвижение культуры в массы. Он жил в новом доме, прекрасном и светлом, только что выстроенном и пахнувшем еще свежей краской. Но то, что он сделал со своей квартирой, заставило меня прежде всего усомниться в успешном выполнении им своих задач на культурном фронте.

На пестрый диван было страно сесть. Какие-то подушечки и салфеточки были разложены на нем. Глиняные девушки с базедовой болезнью стояли на его спинке. Косоглазый матрос страшно улыбался со стены. А на желтом низеньком буфете стоял огромный белый слон, символ счастья, с желтым шелковым бантом на хоботе.

Кошка с бантом, собака с бантом, даже лошадь! Но слон?—это было выше моего понимания.

Смехотворная базилика, уродливые панно «Трэк»—это тот же желтый бант на хоботе у бедного слона.

Каждый может украшать свой дом так, как он хочет. Я знаю мансарду на шестом этаже, где к потолку приклеена



Минск. Библиотека имени Ленина

женская нога, вырезанная из модного журнала. Обитателю мансарды это нравится, и с ним ничего нельзя поделать.

Леди Мак-Ки, приехавшая в Москву со своим мужем, знаменитым инженером, доменные аппараты которого делаются сейчас на Уралмаше, — купила в комиссионном магазине старый потный чересседельник, который предполагала повесить у камина в своем лондонском доме. С ней тоже ничего нельзя было поделать. Собственно, никто и не пытался возражать.

Но наш город не может пользоваться интеллектуальным кредитом леди Мак-Ки. Ему не нужны слоны с желтым бантом на хоботе и потные чересседельники у камина.

—

Наш автобус, полный людей, арбузов и разговоров, остановился в Пассанауре. Есть такое тихое местечко, за Крестовым перевалом Кавказского хребта, на берегу светлой Арагвы, воспетой поэтами и прославленной репортерами. Мы уже устали от впечатлений и смены эмоций. Ущелья и долины, зеленая грива Терека где-то внизу. Стадо коров у замка Тамары. Горы, подставляющие ветру свой изборожденный морщинами лоб, в рыжем венчике осени.

Маленький встревоженный ишачок на дороге. Вставшая на дыбы перед автомобилем лошадь и спокойное, почти эпическое замечание шофера:

— Кацо! Ты свою лошадь должен был продавать возле автомобиля. Она помолодела, его увидев.

Все это ссыпалось в один мешок. Соль и сахар пополам.

В Пассанауре есть маленький ресторанчик, весь обвитый плющом и залитый поздним солнцем осени. В этом ресторанчике нам подали рагу из традиционного барашка. Неумолимый механик — наш шофер, который хотел как можно скорей прокрутить перед нами все оставшиеся до Тифлиса красоты, разрешил все же отдохнуть минут десять...

Я вышла в крошечный лирический садик, примыкающий к ресторанчику. Было удивительно тихо. Трогательные анютины глазки доцветали на клумбах. Низкая зеленая вода колодца, романтическая беседка, скрытая в багряном плюще, и узкая скамья, на которой тихо, торжественно и молча, как в мечети в Орджоникидзе, сидели эпические неправдоподобные старики. Лягушка скользнула по моей ноге и спряталась в траву. Заскрипел песок. Кто-то осторожно подошел и кашлянул. Я обернулась. Это был один из наших спутников, который проводил свой отпуск здесь, на Кавказе, бродя по ущельям и щелкая «Лейкой». Всю дорогу он не давал покоя нашему шоферу по поводу каких-то амортизаторов, аккумуляторов и недостаточной скорости, развиваемой автобусом. Шофер был очень снисходителен и отвечал сдержанно и любезно.

И вот сейчас он стоял возле меня, этот не слишком молчаливый товарищ. Я посмотрела на него, очевидно, совершенно опустошенными глазами, обнаруживая всю свою романтическую и сентиментальную сущность. Разве не было по-настоящему прекрасно в этом трогательном садике, где природа так щедро расходовала свою спектральную палитру?

Товарищ посмотрел на меня широко открытыми и понимающими глазами.

— Да,—сказал он.—А вот мяса недодали. На каждое блюдо полагается по триста граммов мяса с костями. По меньшей мере сто пятьдесят граммов недодали. Расценка правильная и гарнир. Но выдача?! Это никуда не годится, как вы находите?

Я ничего не находила. Он тоже требовал 500 долларов наличными, этот человек. А я не могла ему ответить.

Как? Здесь, в этом удивительном садике, можно думать не о голубых цветах романтики, не о детстве, не о философии Руссо, не о бренности всего земного, а о каких-то ста пятидесяти граммах

мяса с костями, о гарнирах и расценках. Мне показалось это чудовищным, и я промолчала.

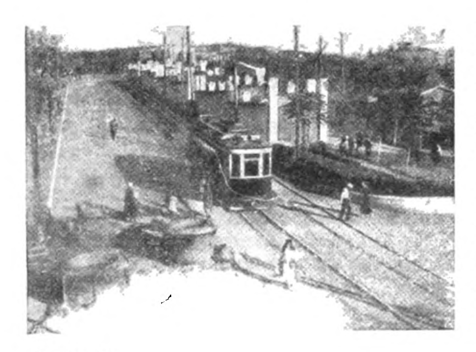
Наш спутник постоял около меня и, не дождавшись ответа, отошел на цыпочках.

«Так... — очевидно, подумал он. — Эта романтическая особа не одобряет моего поведения. Она предполагает, что перед лицом анютиных глазок неуместно поглощать бараний бок с кашей. Здесь, в этой лирической берлоге, нужно кушать только лепестки роз, и то—скрывать это от любопытных взоров, как дурную болезнь. А я хочу жрать. Я проехал шестьдесят километров на проклятом автобусе, который трясет так, как сто верблюдов. У него сорваны все амортизаторы — никому не приходит в голову починить их. В Пассанауре есть повара, официанты и заведующие. Им платят деньги. Они обязаны хотя бы накормить меня по-человечески. Но они дали мне какие-то объедки на грязной скатерти, предполагая, что из меня вытрясло последние способности замечать что-либо, кроме геологических напластований и ишаков по дороге. Готов биться об заклад, если это романтическое создание у колодца заставить прожить здесь два дня, то уже на второй день к ужину мы обретем общий язык и взаимное понимание...»

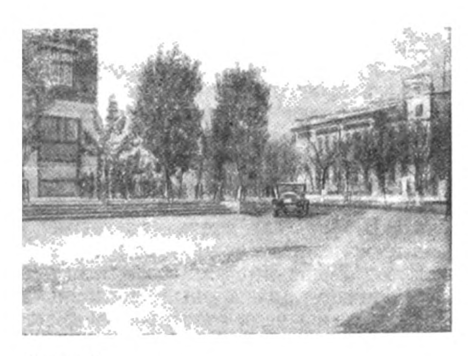
И он ушел, это человек с «Лейкой», искать заведующего. Он нашел его возле виноградника и посадил рядом с собой на ступеньку крыльца. Большие синие мухи взлетали и падали над их головами. Багрянец плюща и отблеск заката делали их лица молодыми и розовыми. Солнце село. Край неба был точно выпачкан в малиновом варенье. Откуда-то протянулся легкий дымок, и неправдоподобные старики, оказавшиеся поварами, отправились в кухню готовить ужин. Потом на улице застучал мотор, и раздался пронзительный гудок. Это шофер собирал пассажиров.

— Хватит вам мечтать, — сказал мне наш спутник, когда я снова влезла в автобус. — Есть хотите?

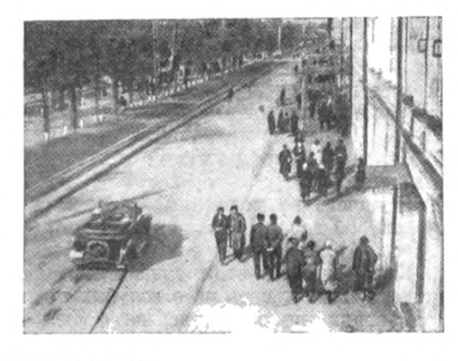
Он вынул из портфеля бутерброд с брынзой и разломил его пополам. Я торопливо протянула руку. И взаимное понимание было установлено значительно раньше, чем через пять минут.



Пятигорск



Грозный



Орджоникидзе

1

В Горловке поезд стоит две минуты. Из вагона вышел пассажир в костюме оливкового цвета, с чемоданом и портфелем. Пассажир неторопливо прошелся по перрону, зевнул и подошел ко мне.

— Скажите, пожалуйста, где остановка автобусов, идущих в Сталино?

Для меня это было откровением, и я поспешил заметить, что мне ничего неизвестно об автобусном сообщении между этими городами. Человек в оливковом костюме вытаращил круглые глаза и, взмахнув чемоданом и портфелем, как перебитыми крыльями, помчался за поездом, хотя мелькнул уже последний недосягаемый вагон.

Он вернулся ко мне с унылым лицом и потускневшими глазами, и тяжело дышал, как в припадке астмы.

— Не представляю! Не верю, что здесь люди лишены элементарных удобств! Я думал, что в Горловке найду даже троллейбусы! Нет, право, неужели до Сталино не идут автобусы?

— Представьте, — не идут. Не идут автобусы, не идут троллейбусы, не идут трамваи. Нет здесь метрополитена. Один лишь поезд к вашим услугам...

— Благодарю вас! С железнодорожным расписанием я знаком. Единственный поезд отходит завтра рано утром, возвращается поздней ночью, и лишь на третий день я могу продолжить прерванный свой маршрут до Ростова. А с помощью автобуса я еще сегодня возвратился бы сюда из Сталино и поспел бы к другому поезду. Ведь в Сталино мне нужно пробыть часок, до Сталино несколько десятков километров пути, к Сталино, судя по газетам, протянуто новое превосходное шоссе, и, вот, теряйте трое суток! Построить шоссе и не пустить ни одного автобуса... Былая российская нелепица! Какая же это Горловка? Образцовый город? Город общесоюзной известности?! О-хо-хо!..

Незнакомец хорошо разбирался в железнодорожном расписании горловских поездов, но ничего не понимал в строительстве этого интересного города. Невозможно ощутить дыхание новой Горловки, не перешагнув через ее прошлое, через непролазную грязь, сквозь непроезжую тьму, зловонные лужи, вшивые казармы, нищие лачуги, зачумленные кварталы, под свист нагаек, каторжную жизнь рабов угля. Однако, нелепо и новую Горловку представлять лишь, как счастливую Аркадию, где по отполированным шоссе мчатся троллейбусы, первоклассные отели сверкают электрическими огнями, шахтерские коттеджи и улицы только лишь утопают в цветах и зелени, образцовый порядок процветает в советских учреждениях. Нельзя рассматривать новую Горловку лишь в розовом свете побед, не вникая в великие трудности ее рождения; не замечая ошибок, срывов, неудач, сопротивления классового врага, оппортунистов, скептиков, лодырей; не соображая, что многое не сделано и многое—из сделанного—плохого качества и требует переделок; не понимая, что здесь идет борьба за выполнение указаний генерального вождя партии и рабочего класса тов. Сталина.

Я сообщил незнакомому, что не только не функционируют автобусы, но за отсутствием врача бездействует один из кабинетов городской поликлиники. Здесь ощущается нужда не в троллейбусе, а во втором мостике, соединяющем старый город с новым, так как людям приходится прыгать через железнодорожное полотно, рытвины и насыпи, а в гололедицу ломать себе ребра. Некоторые шахтерские дома сквозь худые рамы пропускают ветер, но зато они должны были отобразить новые течения в архитектуре городов и так расположены, что неизвестно, где кончается новаторство и начинается глупость или преступление; при героических усилиях эти дома удалось в минувший год объединить в улицы, но столь причудливого вида, что даже потомственный горловчанин рискует заблудиться. Прощаясь, я рекомендовал незнакомцу срочно забронировать койку в единственном общежи-

тии для приезжих, если он не хочет лишиться еще и ночлега.

— Что-о? В Горловке даже нет гостиницы?! — вскричал он, потрясая чемоданом.

— Представьте, отель «Савой» еще не сооружен, а в тесном общежитии для приезжих спросонья свою голову легко спутать с чужими ногами.

— Какая же это Горловка? Старая дрянненькая Хацепетовка!..

— Нет, почему же... В старой Хацепетовке тысячи рабочих огородов не зеленеют там, где доселе считались производительными лишь угольные недра земли... По улицам, паркам, скверам, дворам, не знавшим ни одного деревца, не расцветают 607 000 деревьев... На месте обжорок в Хацепетовке не выросло 160 культурных столовых, я вам не рекомендовал бы заходить в ресторан на Конторской улице, в котором подают твердокаменный бифштекс и обильную порцию отвратительной музыки... Прощайте!

Он ушел, повидимому, не уяснив до конца противоречий этого странного города. Нельзя их понять в поисках автобуса, идущего до Сталино, и по пути в Ростов. Ценнее наблюдения одного столичного художника, готовящегося к выставке «Донбасс в живописи». Он почти ежемесячно приезжает в Горловку на несколько дней и в каждый свой приезд обнаруживает нечто новое в городском пейзаже.

— Мне кажется, — говорит он, — что я сижу в зрительном зале и передо мною проходит смена декораций.. В темноте этого переулка девушка пугливо ускоряла шаги, а сейчас здесь ночью сияет электрический фонарь. Я ясно помню пустынный перекресток этих двух улиц, а сейчас его украшают вазы с цветами. Строящийся дом специалиста поднялся еще на два этажа. Ветхая деревянная будка на трамвайной остановке знамена эффектным каменным сооружением, напоминающим выставочный павильон. В сберегательной кассе, где хранились мои вклады, вымыты стекла, хотя сор еще не убран, сор, который, я надеюсь, не увижу в следующий свой приезд. При входе в горпартком никогда меня не заставляли снимать верхее платье и калоши, и я не примечал сооружения, именуемого вешалкой. На унылых стенах фойе Дворца культуры я не видел живописных панно моих коллег Комарова и Арженикова.

Это подлинная Горловка, город непрерывного движения, бурного роста, инициативы, огромных темпов, большевистской энергии и самодеятельности масс, отдавших на благоустройство своего города за последние полтора года 600 000 трудодней!

Понять все это трудно, не побывав, например, в Барроу.

На берегу Ирландского моря тихо дремлет этот маленький английский городок. Его достопримечательности мне показывал сухонький подагрический старичок. Он говорил о сложной своей миссии члена муниципального совета и тер при этом государственный свой лоб.

— Городское хозяйство — дело коварное! Завод можно выстроить в г о д, а города создаются в в е к а!

— Простите, сэр! М е с я ц, значит, не в счет?

— Месяц? Месяц в нашем гигантском деле?! В месяц член муниципального совета может провести лишь свои пасхальные каникулы...

Особенно смешон был бы этот занятный старичок в Горловке, где решающее значение имеют д н и.

Один местный коммунальный работник был весьма недоволен темпами строительства канализации, хотя они были огромны: в пять месяцев были протянуты первые семь километров канализационных труб!

— Очевидно, мы еще не работаем в полную нашу силу, не совсем еще умеем организовывать наш труд... Мне думается, что канализацию, которую мы выстроили в пять месяцев, можно было бы закончить, не ухудшая качества, в е р о я т н о на два месяца ранее этого срока, в о з м о ж н о, — на один месяц, а на неделю — н а в е р н я к а!

2

В тот день, когда по перрону разочарованно метался человек в оливковом костюме, старый забойщик Тарас Отеценко возвращался из Сочи, где провел свой месячный отпуск.

В вагоне Тарас Отеценко распахивал ворот и показывал густой загар своему



Зима

Фото-этюд А. Скурихина



Знакомство

Фото-этюд М. Шагина

соседу по койке, уральскому рабочему из Мотовилихи:

— Черный, будто весь месяц из забоя не вылазил!

Поезд мчался. В окна уже заглядывали градирни и терриконы шахт. Трубы мелькали, как версты. Заводы пропадали в уходящей дали. Клубился дымом Донбасс. Тарас Стеценко высунул в открытую раму гнутые свои плечи. Врывался ветер, слепя угольной пылью глаза. Тарас Стеценко не замечал пыли, увлеченный собственными словами, размашистой рукой он показывал на шахты, словно вспугнутые поездом, убегавшие в зеленую степь. Он поражал своего внимательного слушателя удивительным знанием края.

На верхней койке шевельнулся грузный пассажир, тупо посмотрел вспухшими глазами на забойщика, и тягучий его басок поплыл, как колокольный звон:

— Вы, я слышал, хорошо знаете Горловку?

— Имею предпосылку на то... Я все горизонты шахты исходил, и на поверхности каждый пес знает Тараса Стеценко...

— В собаках я толка не знаю, а, вот, вывески на остановках читать умею. Тарас Стеценко свою Горловку уже проехал!..

Пассажир повернулся на другой бок, а у забойщика от смеха, по-бабьи пронзительного, залились слезами глаза и затряслись щеки.

— Как же я мог проехать, га?.. Да я же Горловку знаю лучше своего пласта, своей «мазурки»!.. В окно заглядываю и с человеком беседую...

Поезд, набирая скорость, действительно уже отходил от станции Горловка к Никитовке. Тарас Стеценко мутными неподвижными глазами посмотрел в окно, взмахнул руками, рванул с койки сундучок и, гремя дорожным чайником, выпорхнул из вагона.

Откинув голову, он таращил глаза на станционное здание и беспорядочно шагал вокруг него, сшибая пассажиров. Он когда-то хорошо знал это пожившее здание, изъеденное плесенью и вшами, пропахшее нечистотами, нищетой и карболкой. Направляясь в отпуск, он ступал по его лужам, протискиваясь к билетной кассе. А теперь перед ним стояло здание в блеске свеже окраски, стояло на пестром живом ковре цветов — георгин, гвоздик, пионов. Колонны перевитые настурциями, держали матовые шары, игравшие электрическими огнями. А рядом стоял новый огромный корпус строгой архитектуры с широкой — без толкотни — дверью.

Правда, в обновленном вокзальном ресторане скрипка, под аккомпанемент гармонии, все еще наигрывала балаганные мелодии, а в новом мраморном умывальнике не оказалось капли воды, но уже стояли у стен тяжелые японские вазы, зеркальное трюмо, висели ковры, гобелены, гравюры, и не было перекрашенных фанер и тоскливых вазонов, полных окурков и недоеденных бутербродов.

— Тю! Хоть бы предупреждение сделали!..

Ушел Тарас Стеценко, не подозревая, что вместе с ним, месяц назад, уезжал в командировку Фурер, руководитель горловских большевиков. Очутившись в Сталино, Фурер обратил внимание на отремонтированный, некогда плешивый вокзал. Он погладил его стены, пощупал новую мебель и, не теряя минуты, ночью, послал молнию Минину, начальнику культстроя: «Немедленно выезжайте в Сталино. Присмотритесь к вокзалу. В Горловке должен быть в десять раз лучше. Работу закончите в месяц. Фурер».

Горловка — город огромных темпов, широкого размаха и большой инициативы. Здесь особенно ярко обнаруживаются и хорошее и плохое.

Хорошо, что горловские энтузиасты проявили удивительную подвижность и распорядительность — в считанные дни вывезли с улиц и дворов десятки тысяч возов и машин с мусором, привели город в отличное санитарное состояние.

Плохо, что скопилось при этом столько мусора и грязи, что понадобились те же десятки тысяч возов и машин. Размах здесь неприменим. Мусор нужно подбирать совочком, подметать веничком, сдувать по пылинке, не дожидаясь образования Гималаев.

Горловка — новый город. Здесь невольно возникают повышенные требования к чистоте. Окурок и плевок в новом здании особенно нетерпимы. Мусор находится не в столько вопиющем противоречии со старой булыжной мостовой,

как с асфальтом; он не столь отвратительно выглядит в темных, нищих и затхлых кварталах. А сейчас разбросана на всех темных перекрестках тысяча новых фонарей, пучковых электрических гнезд, прожекторов, слепящих глаза, залит город ярким светом! Уже легли на былые российские ухабы восемнадцать километров новых шоссейных дорог! Уже семнадцать километров тротуаров покрыты асфальтом!.. Когда идешь по этим опрятным уличкам, новым и благоухающим цветами, каждая соринка невыносима.

В Горловке быстро строят. Это хорошо. Плохо — когда строят наспех.

Хорошо, что в несколько последних месяцев проложено шестнадцать километров новых трамвайных путей. Пройдя через холмы и степи, трамвайные линии достигли уже отдаленнейшей шахты № 8.

Плохо, что в горячке стройки «позабыли» засыпать шпалы, и даже на центральной улице трамвайные колеи создают впечатление какой-то «времянки».

Вот выстроено, внешне прекрасное, здание почтамта. Новое помещение спустя некоторый срок приобрело весьма унылый вид. Появились грязные деревянные перегородки, наспех вырубленные в стенах оконца, заколоченные двери. Всю эту неурядицу внес плохо и, очевидно, наспех составленный проект, он — главный враг любой стройки. Например, заколочена дверь, сталкивающаяся с дверью, выходящей на улицу. Автор проекта не предусмотрел, что посетитель в зимнее время вносит с собой холод. В отделе телеграмм коридор для посетителей врезался во внутренние службы, и его пришлось изолировать Не спроектированы окна, и стол для писания телеграмм вынесен на площадку лестницы.

Эти ошибки весьма досадны, так как в Горловке умеют строить, строят с большой инициативой, исключительной выдумкой, поражающей изобретательностью.

Гараж. Почти закончено это здание красивой архитектуры, рассчитанное на пятьдесят машин. Его обычное назначение — давать пристанище автомобилям. Горловке этого мало, в ее гараже должны еще быть вестибюль, уголок шофера, уголок пассажира, душ, ремонтные мастерские.

Бани. Это не просто помещение, где на верхней полке можно за целковый похлестать себя веничком по розовой спине. Горловские бани — школа гигиены. Вещи попадают в дезинфекционные лифты. Посетители раздеваются в одном зале и, пройдя «чистилище», попадают в другой зал, где получают вещи без единой бактерии. Еще ряд других новшеств будет в этой бане, и она вскоре заклубится «легким паром».

Дом специалиста. Уже приближается к концу строительство этого здания, в котором будут удобства, доселе неизвестные в Горловке, — от тесной площадки до бьющего каскадами фонтана.

Изотовское общежитие. Когда входишь в него, теряешь ощущение того, что здесь живут шахтеры, люди, которые не только на подметках своей обуви, но даже в порах своего тела несут угольные осколки, несмываемые каждодневным горячим душем. Чистота и образцовый порядок днем и ночью поддерживаются великолепным персоналом и культурно выросшими обитателями общежития.

Дзержинское общежитие. Оно еще богаче, наряднее и удобнее. Все уголки благоухают цветами. К услугам жильцов-шахтеров—комната отдыха, лекционный зал, красный салон, гимнастический зал, кафе и даже свой магазин.

Магазин «Пассаж». Здесь можно купить не только костюм, книги, душегрейку или рюхи, но поднявшись на верхние этажи этого пышного здания, сесть за столик ресторана и послушать музыку.

Школы. За 1934 год в Горловке построили семь новых школ! Организовано пятнадцать средних школ для взрослых! А по району средних школ сорок и начальных пятьдесят восемь! К тому же сто восемнадцать школ по ликвидации неграмотности обучают двенадцать с половиной тысяч взрослых! И все же жажда учебы столь велика, что семь новых школ, построенных за один лишь минувший год, не удовлетворили острой нужды в помещениях. Даже в самом городе Горьковская и Франковская школы работают в три смены и требуют срочной разгрузки. В этом году намечено строительство еще восьми школ, среди ко-

торых будет шесть десятилеток! Темное, невежественное захолустье становится подлинным культурным центром, городом сплошной грамотности.

Столовая шахты № 1. Легко здесь растеряться. Когда над Горловкой сгустились сумерки, особые, темные, угольные, я как-то вошел в это новое здание из серого камня, сел за столик, заказал меню и почувствовал себя превосходно после деловой беготни по городу. Ужин мне показался необыкновенно вкусным. Уходя, я сунулся не в ту дверь и в поисках выхода блуждал по многочисленным комнатам. Они производили на меня странное впечатление. Главный зал—со столиками, убранными цветами; высокой стойкой, установленной закусками; подмостками, на которых гремел оркестр,—напоминал ресторан. Но стоило вслушаться в вагнеровскую «Валькарию», и почудилось, что я в концертном зале филармонии. Я распахнул дверь в опрятный светлый коридор, и уже повеяло дремлющей тишиной больницы от скромно убранной диэтической столовой и кабинета врача. Еще дверь, — и восприятие больницы рассеялось. Я точно очутился в строгих стенах университетской аудитории, завешенной цветными анатомическими картами, которые демонстрировали усталые мышцы, кровеносные сосуды, изношенное и отравленное сердце алкоголика, синие прокуренные легкие, желудочную язву. Смежная комната с опущенными занавесями, устланная коврами, обставленная мягкой мебелью, производила впечатление клуба, в котором после обеда хорошо отдохнуть за чтением журнала. Я находился в образцовом предприятии, мощном комбинате, обединившем под одним куполом ресторан, университет, клуб, больницу, филармонию!

3

Харстад, затерянный в угрюмых северных шхерах, поражает стороннего наблюдателя пожарной сигнализацией, колонкой бензинного автомата, опрятными асфальтированными уличками, канализацией. Но не пытайтесь найти в поселке кинотеатр. Без отказа действуют автоматы, выбрасывающие сладкие кружева кексов, чепурышки с ромом и даже пилюли против зачатия. Но нет средств против удушающего застоя захолустья! Культмассовый сектор явно бездействует. Мэр Харстада, рослый норвежец с рыжими щеками, сокрушаясь, сообщил мне:

— Мы не столь богаты, чтобы смотреть Чарли Чаплина.

Тяжкой была бы «оргсудьба» такого мэра в Горловском районе!

Я невольно подумал об этом, когда за кукурузным полем, на высоком пригорке увидел величественную колоннаду здания, и мэр колхозного села Железное Микола Доронин поспешил сообщить мне:

— Мы дюже богаты и, ось бачите, кином обзавелись.

Богатство — понятие относительное. Богатство села Железное — помимо прочего — и в энтузиазме масс. Рабочие, колхозники — все с увлечением создавали этот театр.

И, вот, поднялся на колхозной земле звуковой кинотеатр. Это первый из ста деревенских кинотеатров, которые должны войти в обязательный культурный инвентарь колхозного хозяйства Украины. Первенец закончен. В сравнении с ним провинциально убоги даже многие столичные кинотеатры. Он удивляет не только своей внешней архитектурой и строгостью своего внутреннего убранства, в котором гармонично сочетаются бархат штор, отполированная поверхность дубовых карнизов и широкие цветные мазки японского стиля отделки. Он поражает, прежде всего, техническим совершенством своей конструкции. С помощью особых механизмов экран выбрасывается на задний фасад, в специально сооруженное гнездо под сводом. Где желтеет сейчас кукурузное поле, подымутся открытым амфитеатром скамьи. И в мгновенье зимний кинотеатр превратится в летний!

Вестибюль, фойе, эстрада для оркестра, фотолаборатория, библиотечный зал, курительная комната, несгораемая камера для хранения лент, аккумуляторная, уничтожающая мигание, проекционная камера, аудитории, кабинеты, парикмахерская...

Но в просторном зрительном зале вас одолевает сомнение:

— Где вы найдете зрителя?

— Чего?

— Зрителя! Если даже грудных младенцев вы рассадите в креслах, через

несколько сеансов вы пропустите все село!

Мой собеседник удивленно посмотрел на меня.

— Да у нас же под боком «Роза Люксембург», «Шевченко» и еще два колхоза имеем...

Я только что объезжал эти колхозы. Около десятка километров их будут отделять от «Чапаева». Но мой собеседник не унимался:

— Да хоть все двадцать километров... Картина была б подходяща!

В осеннюю темную слякоть, в весеннюю распутицу, в зимнюю стужу колхозный зритель будет преодолевать десятки километров, чтобы просидеть в кинотеатре один сеанс! Какая огромная ответственность возложена на работников кино! Этому удивительному зрителю уже не подсунешь «Заржавленный кинжал» с участием Монти Бенкса...

4

Разумеется, все эти достижения немыслимы без участия масс. Тысячи рабочих, инженеры и судомойки, учителя и уборщицы, шахтеры и металлисты, старики и пионеры принимают живое участие в благоустройстве своего города. Им прививаются любовь и уважение к каждому новому зданию, к каждому посаженному деревцу, к каждому цветку.

Эти люди, строители и творцы новой жизни, сейчас выходят из Дворца культуры. Веселой гурьбой они расходятся по освещенным улицам; их ожидают новые дома, мерцающие огнями, кажущиеся сказочными в великолепной панораме нового города, выросшего за полтора года на месте трущоб и пустырей.

Я внимательно присмотрелся к оранжевому зданию Дворца культуры, словно впервые увидел его фронтон строгой архитектуры и необычайно широкие двери, какие бывают обычно в театре. Уже вечер перекликался с ночью. В домах гасли огни. Падал мокрый снег. Хлопья таяли и чернели, смешиваясь с угольной пылью. Остро пахло лихорадочной сыростью. Я плотнее закутал шею в шерстяное кашне, шел и радостно думал о чудесной у нас судьбе маленького города.

Я оглянулся вокруг. В нависшей темноте жались друг к другу силуэты градирен. Терриkон стоял, как хеопсова пирамида, скрывавшая тайну тысячелетий. Небосклон подпирал огненные столбы, вырывавшиеся из отдаленных рудников.

послесловие к чехову

А. Роскин

«Бальзак венчался в Бердичеве» — занес в записную книжку доктор Чебутыкин из «Трех Сестер».

Быть может, этому чеховскому персонажу было бы любопытно узнать, что Кукольник умер в Таганроге.

О нем сохранилась память в этом городе более как о железнодорожном деятеле, нежели драматурге и беллетристе. В годы таганрогского своего умирания всеми забытый автор романтических трагедий сочинял экономо-статистический труд о железных дорогах в России. Это он настаивал на проведении железнодорожной линии в Таганрог. Дорога, связанная с именем Кукольника, идет в город, связанный с именем Чехова.

Мы подъезжали к Таганрогу вечером. В вагоне поезда Марцево—Таганрог дремало несколько человек. Только один из пассажиров непрестанно вскакивал и шумно восхищался убранством вагона — цветочными горшками на складных столиках, репсовыми занавесками и развешенными по стенам портретами. Я встревожился: я вспомнил о том, что во всех плохих очерках обязательно действует одна вполне неопределенная, но весьма навязчивая личность; она сопутствует автору в его путешествии и рассказывает о незнакомом крае или городе как раз то, что следует сообщить читателю в форме, которую иные очеркисты упрямо полагают живой и увлекательной. Я не ошибся: завидев огни Таганрога, пассажир, уже явно обращаясь ко мне, сообщил с всегда ужасавшей меня в очерках точностью и осведомленностью этих личностей, что четыре года назад в городе было четыреста пятьдесят фонарей, а теперь тысяча пятьсот.

Я промолчал, ибо боялся, что если мы разговоримся, то пассажир сообщит все нужные мне данные об успехах коммунального хозяйства Таганрога и окончательно утвердится в моем очерке. Пассажир понял мое молчание по-своему и сказал:

— Мало? Да, но в Новосибирске только триста!

На этом беседа оборвалась: путь от Марцево в Таганрог, в отличие от сочинений Кукольника, короток. Я вышел на вокзальную площадь, кляня пассажира: «море огней» — столь выигрышная и давно апробированная деталь для очерка о советском городе — была с литературной стороны безнадежно испорчена. С трепетом сел я в трамвай, ярко освещенный, как парикмахерская, и как парикмахерская же многократно отражавший людей в развешенных между окон зеркалах; потерю этой детали я бы осведомленному своему спутнику никак уж не простил. Но в трамвае его не оказалось...

Первые дни пребывания в Таганроге я невольно посвятил литературе. В этом городе можно изучать биографии Кукольника, Щербины и Чехова. Местные архивы хранят документы о первых двух, местные старожилы хранят память о последнем. Обращаясь же к самому городу, теряешь Кукольника и Щербину. Нельзя изучать по ним Таганрог: трагедии и элегии их менее всего отражают уездный город на Азовском море. Зато, изучая в Таганроге Чехова, можно по Чехову изучать Таганрог.

Но все же город этот, как он отражен в чеховских произведениях, и подлинный Таганрог чеховской юности — величины не вполне совпадающие. И в этом несовпадении заключена большая правда чеховских книг.

Биографы Чехова, описывая его родину, невольно попадают под влияние того таганрогского материала, который содержится в чеховских произведениях. Они обычно пишут о Таганроге, как о погруженном в полузабытье уездном городке. Это верно, но только отчасти.

Этот город никогда не походил на Чухлому или Торжок. Существовал, правда, Таганрог «Полицейских ведомостей», пустынных улиц, домов с вечно закрытыми ставнями, безграмотных вывесок и зевающих обывателей. Но был и другой Таганрог. Его познаешь, обращаясь к забытым местным архивам, — город фантастических богатств и таинственных

кладов, город второй в России итальянской оперы и прославленных контрабандистов, город-плагиат из новелл Грина, в чьей гавани хлопали флаги Греции и Англии, Испании и Турции. Панорама Таганрога была знакома морякам всего мира—и не случайно именно в Таганрог приплыл из Мессины молодой капитан и будущий вождь «Молодой Италии» Джузеппе Гарибальди на отцовском корабле с грузом апельсинов.

В чеховские годы город уже угасал. Но все еще в городском театре взмахивал палочкой маэстро Гаэтано Молла и пела блистательная Паулина Лука, разыгрывали Шекспира гениальные актеры — негр Ольридж и итальянец Томазо Сальвини, портовые склады забивались гроссами карандашей, и в канале каждого карандаша была свернута фальшивая сторублевая ассигнация, в Афинах сооружалась пышная национальная библиотека имени Мари Вальяно — таганрогского авантюриста, богатства которого почти достигали багатств Ротшильда.

Все это прошло мимо Чехова. В иных тихих переулках сегодняшнего Таганрога можно отыскать дома, фасады которых покрыты тончайшей лепкой, на базаре можно и поныне счастливо наткнуться на помеченные Парижем или Генуей редчайшие книги XVIII века, но не найти следов этого исчезнувшего города в собрании сочинений Чехова.

Был ли слеп Чехов по отношению к этому другому, живописному Таганрогу? Едва ли. Но Чехов от живописного отказывался ради правдивого — и в этом отказе есть подлинное мужество и честность большого художника. Ибо главная правда чеховской родины заключалась не в том, что в Таганроге допевала свои арии Паулина Лука и гавань хранила еще запахи привозных восточных пряностей, а в том, что рядом с тем Таганрогом, на который была как бы наброшена несколько грубо раскрашенная, но нарядная шаль, был другой — главный, чеховский Таганрог — город Полицейской и Монастырской улиц, на которых постыдно жили лавочники и учителя, пристава и доктора — персонажи того унылого российского города, который Чехов называл собирательно «Ефремовым» — символом уездной глупости, нищеты и бесцельности.

Это о нем, об этом Таганроге, писал Чехов:

«...Люди, с которыми я жил в этом городе, были мне скучны, чужды и порой даже гадки. Я не любил их и не понимал их. Я не понимал, для чего и чем живут все эти шестьдесят пять тысяч человек... Большая Дворянская и еще две улицы почище жили на готовые капиталы и на жалованье, получаемое чиновниками из казны; но чем жили остальные восемь улиц, которые тянулись параллельно версты на три и исчезали за холмом,—это для меня всегда было непостижимой загадкой. И как жили эти люди, стыдно сказать!»

Чехов любил точность. Когда писал он эти строки, в Таганроге было в самом деле шестьдесят с лишком тысяч жителей. Сегодня в нем — сто шестьдесят тысяч. И для того, кто знакомится с новым Таганрогом, ясно, для чего и что делают эти сто шестьдесят тысяч. Охваченный сонной одурью городок превратился в большой промышленный центр, живущий жизнью деятельной, сложной и умной. Таганрог работает на заводах (иные из них, как, например, «Красный котельщик», крупнейшие в Европе), вычерчивает детали новых моторов, ставит опыты выращивания субтропических растений, смотрит в театре «Разбойников» Шиллера и собирает последние чеховские реликвии. В чеховском Таганроге было три-четыре тысячи рабочих— вернее полурабочих, полумещан. Они выделывали кожи и макароны. В социалистическом Таганроге — шестьдесят тысяч индустриальных рабочих. Они дают стране не только кожи и макароны: рабочие Таганрога разливают сталь, прокатывают трубы, сваривают котлы, собирают двигатели, вырабатывают роликоподшипники, обтачивают точные измерительные инструменты. Они — и только они — снабжают страну гидравлическими прессами: таганрогский завод «Гидропресс» имеет всесоюзное значение.

Город, который дал Чехову материал для создания серии художественных монографий об идиотизме уездной жизни, оказался ныне втянутым в сложную систему индустриальных связей. О Таганроге говорят в Бобриках и в Кривом

Роге, Горьком и Баку, Липецке и Туле— хотя бы потому, что таганрогские котлы нужны нашим химическим и металлургическим заводам, автотракторной и нефтяной промышленности. И о них, об этих же городах, говорят в Таганроге— ибо городу нужны автомобили и чугун, химикалии и нефть.

Сам по себе обмен этот — в иных, конечно, масштабах и соотношениях — существовал и ранее. Ведь и чеховский Таганрог с кем-то обменивался — посылал в Тулу трескучие кожи и получал из Тулы пузатые самовары. Но как поражен был бы Чехов, узнав, что Таганрог, глупая, грязная и безграмотная его родина, обменивается культурой! Потому что именно в обмене культурой — смысл нынешнего соревнования одиннадцати городов.

—

Какими методами, опытом и открытиями мог бы обмениваться дореволюционный Таганрог с другими «ефремовскими» городами? Об этом смешно и подумать. Впрочем — мог. Например, методом получения доходов с несуществующих коммунальных предприятий.

Изложение этого замечательного метода можно начать опять с Чехова — с последнего его посещения Таганрога, перед смертью.

Болезнь заставила Чехова поселиться в Ялте. Города этого он не любил. Чехову не нравилась жирная, лакированная зелень, зима без снега и праздная толпа. Умирающий Чехов приехал в Таганрог — выяснить на месте, не может ли он поселиться на родине. Он увидел город своего детства, — все то же: шлагбаум, каланчу, трактир под вывеской «Россия», облупившуюся штукатурку, олеографии на стенах... Он обратился за советом к таганрогским врачам. Они указали ему на суровую таганрогскую зиму и, главное, на смертоносную воду. Город пил воду, что собирали с ржавых крыш. Водой этой отравлялись. Водопровода в городе не было...

Но вот загадочный документ — запись в гроссбухе городской управы: «Доход от водопровода ориентировочно 100 000 рублей». Стотысячный доход от водопровода поражал не столько в силу чрезмерной суммы, сколько в силу того, что самого водопровода не было. Только долгие архивные розыски разъяснили происхождение этой фантастической статьи дохода. Построить в Таганроге водопровод предлагали многие: немецкие капиталисты Франк и фон-Дезен, французские предприниматели Шарле и Латю, итальянский концессионер Мошетти, польский делец Изоцвелиховский, греческие негоцианты Арторопуло и Петрокаки и даже — русский министр финансов, он же подрядчик, Вышнеградский. От всех этих соискателей городская управа требовала вместе с проектом залог в 50 000 рублей. Залог вносился, но водопровод не строился, ибо при помощи темных махинаций, подробности которых ныне трудно установить, городская управа ставила каждый раз перед концессионером непреодолимые препятствия. Мошетти и Арторопуло, Изоцвелиховский и Петрокаки в конце концов от постройки водопровода отказывались. Город оставался без воды, но управа оставалась при залоге — он шел на покрытие таинственных кассовых недостач.

Историки города утверждают, что водопроводная комедия была разыграна в Таганроге тридцать шесть раз.

Водопровод этот теперь прокладывается. И строители его могут обменяться опытом, также чисто таганрогского происхождения, но который мы решаемся широко рекламировать: опытом прокладки водопроводных труб, сваренных из обрезков — отходов местного трубопрокатного завода.

Опыт этот — не одинок. Находчивое и подчас технически весьма смелое использование внутренних ресурсов—будь то утиль, или новые виды сырья — вот что в значительной мере обеспечило успехи Таганрога в соревновании одиннадцати городов — успехи, выдвигающие Таганрог в ряды наиболее благоустроенных и культурных советских городов. На происходившем в Таганроге слете представителей соревнующихся городов работники местной промышленности со вниманием прислушивались к выступлению таганрогских товарищей: Таганрог умеет делать то, чего не умеют другие. Он знает, как делать электрочайники из глины, искусственную олифу, термомассы из трепела, мебель из чакана...

И даже — трамвай из утиля.

Рост промышленности в городе — это рост территории, расширение далеко за пределы старой городской карты. Сохранившийся доныне в Таганроге шлагбаум очутился в центре города, а пустырь, где блуждал ночью, возвращаясь в город, инженер Ананьев из чеховских «Огней», давно уже застроен рабочими домами.

Лошади таганрогских дрогалей — уже палеонтология. Как и во всех советских городах, последние извозчики подкарауливают только больных, пьяных да иных обремененных ивовыми корзинами приезжих. Таганрогу понадобился трамвай — настоящее, большое трамвайное хозяйство. Рельс не было — центр их не давал. И вот таганрожцы построили трамвайную линию протяжением в тридцать километров, прибегнув к электросварке лома здешних мартенов,— тридцать километров рельс из утиля.

«Утильный трамвай» везет вас на окраины, к новым домам. Дома эти—тоже своего рода утильные. Таганрог, строивший ранее дома, более похожие на сельские мазанки, нежели на городские здания, прокладывает новые пути в строительной технике. Социалистический город для своего роста находчиво использовал археологию. На месте древних, давно заброшенных домов оказались сотни тысяч тонн шлака. Город пустил их в ход, построив шлакобетонный завод. Продукция завода носит в технике выразительное название: бетон оживленных шлаков. И этот бетон скрепляет кирпич — таганрогский кирпич, весьма отличный от обычного: он не обжигается, а прессуется. Метод сухого прессования обеспечивает круглогодичную выработку кирпича; и немного еще у нас в Союзе городов, которые, подобно Таганрогу, строят свои дома из кирпича, рожденного под прессом Дорстена.

—

Оживленные шлаки и прессованный кирпич превращаются в жилища новых людей и очаги новой культуры. Осматривая этот выросший за последние годы новый центр на Таганьем Роге, я вспомнил об унтере Филимонове. Вследствие контузии на фронте он потерял память. Десять лет выпали из его памяти. С удивлением шел выздоровевший Филимонов по улицам неведомого города—мимо дворцов культуры, школ и столовых, торжественных и светлых, точно освещенные изнутри исполинские кристаллы.

В тот год, когда фильм «Обломок империи» шел первым экраном, в кинозале находились зрители, которые с едким раздражением обвиняли режиссера в приспособленчестве и лакировке. И точно: столица покрывалась асфальтом, дома освобождались от неповторимой живописи московских вывесок, рубином и хризолитом засветились первые светофоры — но город был еще столь непохож на радостный мир, что предстал перед Филимоновым!

Они ошибались, эти зрители. Они не подозревали о степени близости будущего, показанного в замечательном фильме Фридриха Эрмлера. Так человек, потерявший память о вчерашнем, столкнулся со зрителем, потерявшим память о завтрашнем.

Казавшиеся утопическими кадры из «Обломка империи» ныне переместились в настоящее. Спор с киномастером закончен. И неизмеримо значителен тот факт, что уже покрытый дождем царапин фильм перестал быть дискуссионным не только для Москвы. Тогда, шесть лет назад, натурные съемки для «Обломка империи» производились в столицах — Москве и Харькове (харьковский Дом промышленности!). Если бы Эрмлер работал над этим фильмом сейчас, он мог бы натурные съемки производить и в Таганроге, бывшем уездном городе. Заводские корпуса, клубы, коттеджи рабочих поселков — все это сегодняшнее «уездное» — поразило бы не только унтера Филимонова, но и всех тех, кто наивно полагает, что стремительное выпадение из русского языка слова «провинция» — явление, которое могут объяснить только лингвисты.

У таганрогского старожила и ревностного собирателя исторических документов М. М. Андреева-Туркина увидел я любопытную фотографию с пометкой на обороте: «Кузнечная улица, 16». Фотография изображала кособокую мазанку о трех оконцах, — выразительный архитектурный памятник старого Таганрога. Таков был полулегальный рабочий клуб таганрогской социал-демократической ор-

ганизации, домик, связанный с воспоминаниями о паролях, «Варшавянке» и полицейских донесениях. На Кузнечной, 16 вмещалось 10—15 человек. Двадцать рабочих клубов сегодняшнего Таганрога ежедневно пропускают около тридцати тысяч посетителей. И каждый из этих двадцати клубов мог бы явиться объектом для засъемочного аппарата Фридриха Эрмлера.

Что делают тысячи посетителей таганрогских клубов? Они заполняют театральные залы, читальни, лектории, кабинеты техпропаганды, смотрят «Лес» и «Юность Максима», слушают квартет Бородина и лекцию об учении Павлова, перелистывают лиловый Новый мир» и графитную «Звезду», изучают химию, биографию Гейне, кройку и шитье. В комнате старых кадровиков, украшенной холстом Богаевского, рабочие садятся за радиофицированный стол. В физкультурном зале идет урок фехтования...

Я осматривал рабочий клуб завода им. Сталина.

— Немного не рассчитались, — глухо сказал заведующий, вводя меня в театральный зал. — Построили театр на семьсот человек. И вот каждый день давка, объяснения с непопавшими на спектакль. У вас, простите, сколько помещается в Большом?

Недавно «Таганрогская правда» подняла вопрос об издании путеводителя по городу. Не знаю, имелся ли путеводитель по дореволюционному городу. Во всяком случае, его могли бы составить только историки, ибо никаких других достопримечательностей, кроме исторических, в Таганроге не было. Дворец Александра I; памятник ему же; старинные пушки на обрывистом берегу в гавани, с дулами, наведенными на султанскую Турцию, — вот, в общем, и все.

Путеводитель по советскому Таганрогу — коллективный труд, к которому придется привлечь инженеров и архитекторов, педагогов и гигиенистов, музейных работников и ботаников. Вот несколько выписок из этой книги, которой еще, к сожалению, нет:

«...паскудское масло в большом количестве, наряду с другими статьями ввоза товаров с Ближнего Востока, шло на лампадки. В сущности, главный вид освещения. Электрической станции не было. В 1915 году городская дума вынесла постановление: «Начать постройку электростанции с наступлением более благоприятного времени». Более благоприятное время это наступило — для постройки электростанции, но отнюдь не для городской думы. Город, освещавшийся масляными и керосиновыми фонарями, получил при советской власти электроэнергию для уличного освещения, трамвая, бытовых нужд»...

«...помещается на улице Фрунзе, во дворце, принадлежавшем миллионеру Алфераки. Об устройстве городского музея хлопотал в свое время А. П. Чехов, но безуспешно. Дума предпочла снять дом Алфераки под Коммерческий клуб. В настоящее время городской музей имеет отделы: истории города, естественных богатств края, истории местного революционного движения, антирелигиозный»...

«...представлял собой пустырь. По инициативе учащихся таганрогских техникумов и школ превращен в благоустроенный бульвар, откуда открывается прекрасный вид на порт и море. Бульвар назван Комсомольским»...

Не будем утомлять читателя другими вымышленными цитатами. Тем более, что борьба за социалистический Таганрог — это отнюдь не калейдоскоп фактов, ничем не связанных между собой. Важно, конечно, что город получил электричество, городской музей и новый бульвар, важно и то, что улицы его покрылись асфальтом и что асфальт этот накатывают новенькие бело-голубые автобусы — но еще важнее то, что успехи эти являются плодами определенного метода работы, определенного стиля. Асфальт, электричество, бульвар — это только таганрогское сегодня. По ним, по этим отдельным достижениям, еще нельзя судить о таганрогском завтра. Только проникая в метод и стиль, обеспечивающие непрерывность движения вперед, догадываешься о контурах завтрашнего Большого Таганрога.

Как охарактеризовать методы работы тех, кто ныне переделывает город?

Можно было бы написать о конкретном руководстве, личной ответственности, ориентировке не на материальную помощь из центра, а на местную инициативу... Но может быть уместнее здесь обратиться к деталям. Рассказать о том, что руководитель таганрогских больше-

зиков тов. Варданиан, поставив вопрос об организации в Таганроге литературного музея, отправился в Москву, чтобы лично ознакомиться с новейшей экспозиционной техникой. Или о том, что рядом с дощечкой с наименованием улицы висит другая дощечка с фамилией депутата горсовета, который вместе с уличным комитетом отвечает за благоустройство улицы. Или о том, что когда новые больницы потребовали новых лекарств, местные власти обратились не к московским базам, а к городскому архиву: в бумагах столетней давности были найдены ценные указания на те лекарственные травы, которые когда-то собирались населением вокруг Таганрога...

—

Пока вместо путеводителя по городу Таганрог имеет только путеводитель по фабрике-кухне завода № 31 — брошюру, которая называется так: «Цех питания».

Предистория этой кухни — столовая с термосным питанием. Кажется, термосная система прославлялась иными теоретиками общественного питания. Их увлекала «техничность» этого метода. Им нравилась «отвлеченность» термосных супов и котлет, которая придавала желательную стройность дискуссионным статьям в некоторых высоко научных, но несколько таинственных по составу сотрудников журналах по общественному питанию. Я подозреваю, что неумеренные защитники термосного питания пришли в кулинарию из искусства: это те самые решительные, но несколько угрюмые личности, которые в недавнем прошлом требовали замены шести симфоний Чайковского одной «симфонией гудков», одевали актрису, игравшую Офелию, в вываленную в угольной пыли рогожу и при помощи пульверизаторов пытались окрашивать деревья бульваров в единый и рационально избранный тон.

Прошлое таганрогской фабрики-кухни показывает, что представляет собой термосная система в условиях недостаточно еще высокой культуры обслуживания. Это — подвода с загрязненными и дырявыми термосами. Сосульки выплескиваемого из термосов жира—замерзшие «калории» тщательно расчерченных, но вполне произвольных таблиц. Обезличенные «первые» и «вторые» для столь же обезличенного потребителя. Нечто безвкусное, как симфония гудков, загрязненное, как рогожное платье Офелии, и мертвое, как покрытая суриком листва.

Завод № 31, построив мощную фабрику-кухню, освободился от подвод с термосами. И тут начинается в истории цеха питания глава, характерная и поучительная. Фабрика-кухня, оборудованная дорогими машинами, обеспеченная искусными поварами и снабжаемая доброкачественным сырьем, оказалась бесполезной. Она готовила отличные блюда, но выдавала их в то, пещерного типа, заведение, которое нередко именуется столовой. Стоит ли ее описывать? Нужно ли говорить о ложке, то гнущейся, как в руках атлета, то вовсе исчезающей, как в руках фокусника, о расхватанном хлебе,— о всех тех вещах, которые менее всего уместно называть мелочами, ибо дело идет о питании рабочего класса нашей страны?

Борьба за культурную столовую оказалась более трудной и длительной, чем борьба за технически оснащенную фабрику-кухню. Это — двусторонний процесс воспитания ее работников и ее посетителей. Организаторы столовой сообщают вам о жетонно-абонементной «системе Моргенштейна» и обслуживании подавальщицами столов «позициями».

Моргенштейн и «позиции» создали порядок. Но, по правде сказать, одного порядка мало. В деле обслуживания потребителя хороша только та система, которая незаметна. Пока же она в прославленной таганрогской столовой все еще давит посетителя, и он чувствует себя не просто человеком, зашедшим в столовую пообедать, а существом, внезапно захваченным зубцами какой-то машины.

Очень хорошо, что на фабрике-кухне завода № 31 придумали способ утилизации вырезаемых из картофеля глазков, а также рыбьих пузырей и чешуи. Но хотелось бы, чтобы пюре из этих глазков и холодцы из пузырей поедали спокойные и чувствующие себя свободными посетители, а не отягченные жетонами «единицы». Цветы и картины тут не помогут: дело — только в работе

людей, в подлинной культуре обслуживания, близкой к высокому мастерству.

О цветах, впрочем, следует оговориться. Их много, этих цветочных горшков в Таганроге. С ними въезжаешь в Таганрог в местном поезде. С ними живешь в номере гостиницы. На них наталкиваешься в фойе кино. И даже в скромной булочной видишь цветы, поставленные на затянутый красным заседательским сукном столик. Среди них учатся школьники, выздоравливают больные, и конечно, работают — в заводских цехах цветы с недавних пор почти обязательны.

Таганрог, конечно, — не легендарный сад, и путь тех, кто здесь живет и работает, пока еще не дорога цветов. Таганрогу можно сделать много упреков. В городе нет более трущоб, но существуют еще окраины—правда, не старые таганрогские Собачеевки, Скараманговки и Просперовки, но все еще не благоустроенные и унылые. Озеркаленный трамвай необъяснимо часто сходит с рельс. Балку Большая Черепаха, которая заражает тысячи таганрожцев малярией, только теперь начинают бетонировать. В образцовом универсальном магазине едят пирожные и тут же примеривают брюки. Головотяпски уничтожена замечательная работа скульптора Мартоса. Авторы симфонии гудков перекинулись в архитектуру и сооружают в Таганроге круглые дома, в которых жить так же неуютно, как в водонапорной башне; или дома с одной кухней на 4 квартиры; или дома с одной уборной на 700 жильцов. Классы образцовой школы № 3 озеленены, но пройти детям к этой школе не столь легко: она окружена грязнейшей площадью. Хлеб продают летом в закрытых лавках, а зимой в открытых ларьках. Труппа лилипутов выдает себя за театр малых форм...

И потому цветы в Таганроге нередко свидетельствуют больше о стремлении прикрыть недостатки, чем о подлинных достижениях культуры. Но верно и то, что цветы эти—нечто вроде стрелки, указующей в будущее.

Каковы темпы приближения Таганрога к этому будущему — городу аэровокзала и нового театра, великолепной библиотеки и дневной гостиницы, акклиматизированных субтропических культур и морского трамвая, городу изобретений, чертежей, книг, фильмов и литературных монографий? Об этом можно судить, с какой скоростью исчезает прошлое. Перед нами брошюра: С. Х. Варданиан — «В борьбе за индустриальный Таганрог». Она помечена 1934 годом. Это доклад руководителя таганрогских большевиков на городской партийной конференции. Литератор, который написал бы очерк о сегодняшнем Таганроге на основании данных, имеющихся в этой брошюре, наделал бы не мало ошибок. И ошибками этими мог бы гордиться т. Варданиан, — каждая из них свидетельствовала бы о победах Таганрога. Литератор писал бы о трамвае, который должен пройти по одной из главных магистралей города — улице Фрунзе; о городском саде, который необходимо превратить в парк культуры и отдыха; об отсутствии музыкальной школы. Это ввело бы читателя в заблуждение. По улице Фрунзе уже ходит трамвай. Парк культуры и отдыха успел пропустить за прошлое лето более миллиона посетителей. Громкоговоритель передает концерт из зала музыкального техникума...

От чеховского Таганрога осталось мало — почти ничего. Из чеховских рассказов и повестей Таганрог переселился в послесловие к ним. В этом послесловии мало воспоминаний, много текущей хроники и еще больше — уверенности в будущем.

Недавно в Таганроге снимался юбилейный фильм о Чехове. Сколько жалоб пришлось выслушать таганрожцам от режиссеров и операторов! Как заснять архитектурный ансамбль старого Таганрога, когда рядом с домом, где жила чеховская семья, построена электростанция? Как заснять таганрогскую улицу, чтобы не видны были трамвайные рельсы? Киноэкспедиция обвиняла таганрожцев в том, что из-за них она вынуждена пойти на подлог: под видом чеховского уголка были засняты еще не приведенные в порядок окраины-пустыри вокруг завода «Красный гидропресс».

Кажется, таганрожцы отнеслись к этим жалобам равнодушно. Встревожилась только администрация «Красного гидропресса»: она подумала о черепахе, не о Большой Черепахе, которую засыпают люди, а о маленькой черепахе из стенгазет, которая засыпает людей...

Пустыри приводятся в порядок.

На стройке метрополитена. Москва, 1933 год.

Рис. Гурвич

Третья смена столицы

А. Письменный

В час, когда закрываются театры и катки, потухают огненные росписи над кинотеатрами и кассирши продмагов садятся подсчитывать выручку, начинается в городе ночь.

Последние поезда дальнего следования, прорвавшись сквозь гулкое кольцо пригородов, летят мимо зеленых огней автоблокировки к Москве, чтобы выплеснуть своих пассажиров на ее перроны.

Стрелки городских часов подскакивают к двенадцати.

Под ворота и под мосты бросаются сверкающие ручьи трамвайных путей. Над улицами, словно театральные луны, висят знаки, регулирующие движение. Город наполнен сиянием фонарей, витрин, вывесок. Это уже не те дрожащие огни и черточки, видимые с поезда на горизонте, — матовые плоды ламп, полосы асфальта, отполированные шинами авто, рекламное пламя над ресторанами, витрины, излучающие свет, как прожектора, заливают улицы города.

Они многолюдны, говорливы, шумны. Гремят джазы из теплых ресторанных вестибюлей. Им вторит симфония гудков. У Большого театра поджидает заводских ребят автобус ЗИСа. Лакированная и голубая эта машина сделана руками тех, кого она развезет по домам, после «Пиковой дамы». Разбегаются к посольствам приземистые лимузины с яркими, как галстуки, флажками на радиаторах. Троллейбусы идут в последний рейс с площади Свердлова.

В это время начинает спадать движение. Улицы теряют пешеходов. Только что проходил по Покровке высокий человек, в сужающемся книзу пальто, черный силуэт его подсвечивала лампа впереди на перекрестке, — удар двери, и человек этот исчезает. Пешеходов на лету подхватывают трамваи. Пешеходы тают в двухцветных, как гравюра, переулках — там уже потушены огни.

Трамваи учащают бег. Они проносятся теперь по улицам, грохоча и раскачиваясь, и только на секунду замирают на остановках. Ветер, поднимаемый ими, неожиданно пахнет весенней парниковой редиской.

В рабочем кафе на Ленинградском шоссе механик с Авиазавода делает последнее па, и умолкает топот «Мистера Брауна», и рупор радиоустановки немеет до десяти часов вечера следующих суток.

Фасады домов в этот час напоминают сигнализацию. На третьем этаже вспыхивают два прямоугольника и, налитые карминовым соком, подсвечивают падающий снег. Этажом ниже лопаются желтые квадраты. Потом гаснут и эти два, на третьем этаже. Потом на пятом. Люди в квартирах почти одновременно ложатся спать — всем завтра нужно учиться или работать, в городе нет бездельников.

И Москва становится похожей на макет или на тот идиллический город, который запечатлен в нашей памяти мультипликационным фильмом отдела регулирования уличного движения.

Исчезает многообразное, но монотонное звучание дня. Улицы приобретают звукопроводность. Как струны, они отбрасывают к этажам каждый стук, гудок, скрежет. И тогда, неслышный днем, раздается над городом равномерный звон часов на Спасской башне. И Красная площадь, сверкая под серебристо-голубым светом прожекторов, как щит, выложенный алмазами, встает в гранитных зеркалах мавзолея, взлетает вверх к зубцам кремлевской стены, к огненному зареву флага над домом ЦИК.

На Пушкинской площади в Центральном кино кончился ночной сеанс. На короткое время улица Горького наполняется пешеходами. Они образуют бурлящие водовороты у выхода из кино, у трамвайных остановок, но вскоре рассасываются, и через пятнадцать минут улица пуста.

Трамваи появляются реже. Пути их запутаны и непонятны. Двадцать пятый номер почему-то идет по бульварам. За двадцать пятым движется восемнадцатый. Погашены зеленые абажуры над указателями остановок. У Дмитровки уже нет стрелочницы, и вожатый, прихрамывая на застоявшихся ногах, сползает по ступенькам вагона, с железным прутом, чтобы перевести стрелку.

На остановках накапливаются запоздавшие пассажиры.

— Будет еще тридцать четвертый?

— Есть два часа?

— На одиннадцатом поедем.

Улица лежит в снегу. Тусклые рефлекторы домовых фонарей прокладывают робкие дорожки. Они, да еще красная ладонь вывески, протянутой над тротуаром — «Берегись автомобиля», будут гореть всю ночь.

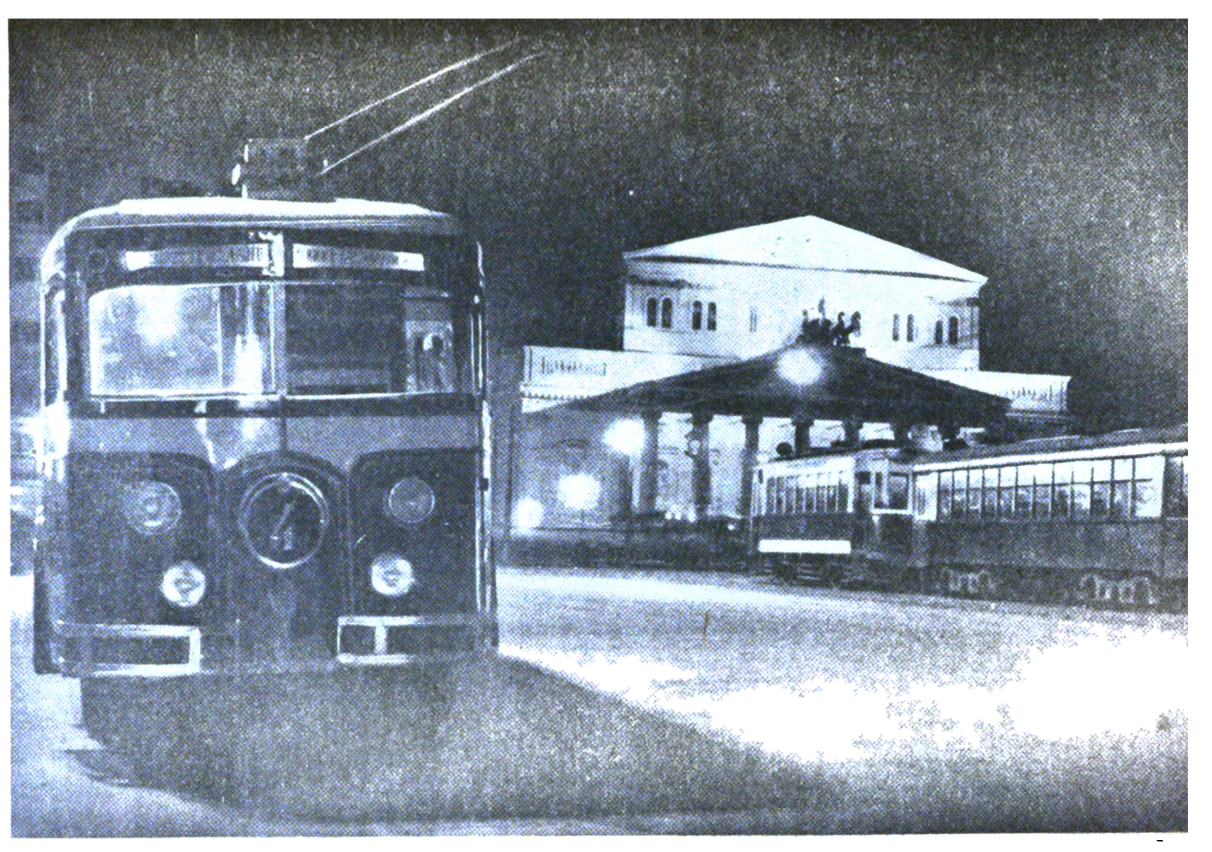
Люди на остановке ждут вагона — контролер сберкассы, сутулый человек с испитым лицом, студент в кепке, натянутой на уши, молодая парочка, чуть хмельная от выпитого вина и слишком веселая, чтобы стоять на месте. Ночь сгущается. На глазах снежная пелена скрадывает след только что проехавшего автомобиля. К трамвайному парку на Лесной тянется длинная очередь позвякивающих в нетерпении вагонов. Вожатые и кондуктора торопятся ко сну, так же как днем торопились на работу. По привычным трамвайным путям ползут теперь облезлые служебные машины — аварийная вышка, рабочий осматривает спайку проводов, — грузовые платформы с рельсами для метро. Пробегают снегоочистители, вздымая щетками снежные фонтаны.

Своего номера уже не дождаться. Они поплетутся домой пешком: контролер сберкассы—на Остоженку, по взрытой, поднявшейся дыбом улице; студент поспешит на Плющиху. Влюбленным в этот час лучше всего. Время течет для них незаметно, и никакому морозу не остудить их тела. Он проводит ее на Смоленскую и подождет у подъезда, пока она поднимется к себе на шестой этаж. Она потушит свет в комнате, оснащенной скатертками и цветами, в тот момент, когда контролер сберкассы натянет до подбородка жесткое одеяло, а студент бросит теплую рубашку на стул.

И вот как будто бы город спит, и только бодрствуют сторожа, милиционеры, подвыпивший слесарь в кожаной тужурке бредет на заплетающихся ногах с Подвесков на Зацепу; посыльный с телеграфа отстукивает по Кузнецкому мосту гулкие шаги, и влюбленный шествует по Арбату, потонувшему в полумраке. Долог путь его по Арбату, по бульварному кольцу, где одиночествуют теперь скамейки и шуршат деревья в сонной тишине. Он идет на Бакунинскую — страшно далеко, — согреваясь у костров, попадающихся то тут, то там.

Но обманчивы темнота фасадов, тишина над улицами, мрак в переулках. Ночь — это только третья смена города. Десятки тысяч людей бодрствуют в ночном городе. Ночью, среди звонкой тишины, подготовляется завтрашний день. Пустеет Петровка, замирает Маросейка, спят узкие переулки центра, но на широких проспектах новых поселков, в Дангауэровке, в Ленинской слободе, вокруг аэродрома и ночью не ослабевает рабочая суета. Всмотритесь! На пятом этаже под самым карнизом пробивается из-под шторы полоска света. Оглянитесь! Напротив можно насчитать четыре бодрствующих прямоугольника. Быть может в одном из них не спится тому, кто провожал девушку на Смоленскую площадь, или студенту, который решил подчитать сопромат к завтрашнему семинару. Или быть может за одним из этих светящихся окон техник СВАРЗа сочиняет стихи или бухгалтер заканчивает годовой баланс своего учреждения?

Нет, это только кажется, что уснула Москва. Над заводами плывет зарево огней. В розоватую пудру снега поднимаются стеклобетонные цеха, грушевидные бункеры, массивный ствол трубы, дымящий крон которой тает в темноте. В силовых, в цехах, на складах идет непрестанная работа. Ничто не отличает ее от дневной, кроме искусственного света. Так же, как днем, жужжат «ингерсоллы», чавкают «аяксы», стучат «газенклеверы», и над мартенами поднимается жар. Так же, как днем, с большого конвейера ЗИСа сбегают дымчато-зеленые трехтонные грузовики. Так же, как днем, на «Серпе и молоте» ложатся в штабели новые прутки качественных сталей, и на «Трехгорке» высокий бригадир возится у застопорившей машины.



Троллейбусы идут в последний рейс с площади им. Свердлова

Фото А. Гаранина

Глубоко под Москвой, в огромных и гулких тоннелях, где пахнет смолой и сырым бетоном, люди в высоких резиновых сапогах и шляпах, похожих на морские зюйдвестки, принимают ковши с бетоном, гибкие и звонкие прутья арматуры, чтобы к утру в этой подземной части города возникли последние метры новых бетонных сводов и стен.

Редактора газет в это время подписывают полосы к печати, и влажные листы, измазанные краской, спускаются в типографию. Ротационные машины уже приготовились к ежедневному своему бегу, громоздкие, похожие мостиками и лесенками на корабли. Через несколько минут, когда газетные полосы будут отматрицированы и горячий металл в отливном покроет их тонким и блестящим листом, ротации подхватят бумажные простыни, закружатся ролли, и на выкладыватель с длинными пальцами поплывут газеты. Печатные машины будут грохотать весь остаток ночи, и к утру редакционные автомобили развезут свежие номера к почте и поездам.

Нет, это только кажется, что уснула Москва.

Над рекой, в том месте, где никогда не замерзает вода, поднимаются развернутые трубы МОГЭСа. Шумят провода, подвешенные на исполинских мачтах. У моста пылает костер, разбрызгивая в ночь розовые искры. Проходит часовой за зубцами кремлевской стены. Со всей страны в этот час идут в столицу телеграммы о завершении годовых планов, о выборах в советы, о всех больших делах Союза.

На улицы города выходят стада грузовиков. Театральные луны над мостовой теряют свое значение. Машины пробираются и в те переулочки, куда днем запрещен въезд даже велосипедистам. Они гремят по Столешникову, врываются на улицу Воровского, где положен проезд только легковому транспорту. Ночь принадлежит им. Порожние, они останавливаются у снежных куч, ржавых и грязных внутри, как шлак. Уборщики расхватывают эти городские курганы лопатами и кричат шоферу:

— Трогай, — пока на мостовых не останется ни одной кучи.

В центре города, на площади Революции, в громоздком здании МОСПО сидит центральный экспедитор треста Хлебопечения. Перед ним телефонные аппараты, связанные прямыми проводами с заводами, планы завоза муки и выпечки хлеба, наряды магазинов — вся система организованной хлеботорговли. Рядом сидит диспетчер. Диспетчер ведает транспортом.

Среди ночи центральная экспедиция получает сообщение: прибыло пятнадцать вагонов муки.

Экспедитор смотрит план. Экспедитор снимает трубку.

— Пятый завод? Как с крупчаткой? Сколько? Пятьдесят тонн? Ладно, посылаю пятьдесят тонн.

Диспетчер вызывает из гаража пятитонные грузовики, и они мчатся на вокзал и, нагруженные снежными чувалами, спешат к заводу.

Хлебозаводы, как электростанции, как скорая помощь, как телеграф, — учреждения, обслуживающие город, работают круглые сутки. Самое горячее время наступает ночью. К утру четырехмиллионная столица должна получить свежий хлеб, тысячу тонн хлеба. Всю ночь дрожат тестомесилки, вздыхает тесто в пузатых дежах и, пройдя бесконечный ряд печей, выходит к утру караваями хлеба, батонами, рогульками, припеченными и припудренными мукой. Сто семьдесят люксов и континеров подхватывают ночную продукцию и развозят по магазинам, наполняя городской рассвет запахом свежего хлеба.

Но к утру город должен получить все то, чем он живет днем: и чугун, и яблоки, и лес, и мясо, и уголь — пищу жителей и заводов. Все пути к городу в ночное время заняты грузовым транспортом. По железным дорогам идут товарные составы — бесконечные и медлительные, как вокзальное время. Из ближайших колхозов и продуктовых баз движутся подводы и грузовики с бидонами молока, с розоватыми стрелками моркови, пахнущими землей, с клетками, набитыми птицей, кудахчащей сквозь сон. Они идут по Каширскому шоссе, они бегут по Серпуховке, подводы, подводы, грузовики — по мостам и мимо сонных подворотен.

Нет, это только кажется, что город спит. Из-за угла на Таганскую площадь вылетают грузовики. Вздрагивает сторож у магазина. Сторож видит, как останавливаются грузовики, как выва-



Ночью в трамвайных парках готовят вагоны к новому дню

Фото А. Гаранина

ливаются из кузова люди и, коснувшись земли, тотчас обретают удивительную деятельность. Они сбрасывают на промерзлую землю ломы, рельсы, молоты. К ним подъезжает с трубами трамвайная платформа. Сторож встает. Ему жарко в тулупе. Он видит, как приезжие подвешивают к проводам шесты, и на мостовую обрушиваются потоки света. Сгружаются трубы. Сторож слышит, как чисто звучит сталь. Люди почти безмолвны. Изредка слышны слова «давай», «взяли», «еще раз»—лексикон тех, кто поднимает тяжести; слова «подай клин», «ставь горно» — лексикон ремонтных бригад.

Затем сторож видит, как взрыхляется гладкий покров мостовой, и наружу выступают скелетообразные рельсы и шпалы. Работа идет удивительно быстро и слаженная,—ночная работа, ремонт канализационной сети, проходящей под трамвайными рельсами. Все обязанности распределены, каждая минута на учете — к началу трамвайного движения все должно быть закончено — уложены рельсы, восстановлена мостовая, ни единого следа не должно остаться после ночного аврала.

Вспыхивает фантастический огонь электросварки. Темп работы учащается. Летит земля. Тупо и легко стучат кувалды.

— Это да,— говорит сторож, и, не выдержав, трогает техника за рукав:— Вам как платят — сдельно? Очень вы активно действуете.

— Сноровка, папаша.

Сторож обижается:

— Я не папаша. Моложе тебя, парень дорогой.

— А я не парень, я Маруся.

— Ну, ночью не разберешь. — И он смущенно отходит.

Где-то в Сокольниках вываливается на улицу веселая вечеринка. Молодой парень залихватски растягивает гармонь.

— Поддай, Васька! — кричат ему. И он играет мазурку и гавот под немеркнущими фонарями.

— Физкультурники,—усмехается вслед постовой милиционер и задерживает отставшего от компании.

— Нет ли, браток, закурить?

Они идут под веселый лад гармоники, притопывая и подпевая, и девушки их не дрожат от холода, и парни их не скисли за столом. На Русаковской они останавливают грузовик.

— На Разгуляй!—кричат шоферу ребята.

Шофер сперва хмур. Он окидывает взглядом веселых ребят, потом подмигивает им и кричит:

— Садись!

И они лезут, смешно подергивая ногами, девушки и парни, в кузов грузовика на кучу известки и мчатся мимо трамваев, которые не уместились в парке, мимо шахты метро и на Комсомольской площади перекликаются с метростроевцами, люди первых двух смен — с людьми третьей смены.

Ночью легко прощупать пульс города. Именно в это время суток как в бреду выбалтываются сокровенные мысли, сказываются пороки. По спокойному дыханию ночной Москвы можно безошибочно определить здоровье города.

Москву не мучат ночные кошмары других мировых столиц — анархия рыночных заготовок; суматошное вращение велосипедистов на шестидневных гонках — день и ночь, день и ночь по бесконечной лентой трека; перестрелка шайки хулиганов, в каскетках, сдвинутых на затылки; ночи дансингов, борделей и кабаков. Ее не поганят апаши с ножами, спрятанными за отвороты пиджаков, ее не безобразит безработная любовь проституток, бездомные не приглядываются к ее реке в поисках безрадостного успокоения.

На Петровке, в Колобовском переулке, горят всю ночь над подъездом темно-зеленые шары, и красная стрелка указывает: «Дежурный по городу». Вот здесь лучше всего можно прощупать пульс Москвы.

На его небольшом столе стоят восемь телефонов. Черные занавески отгораживают от него ночь.

Он сидит за столом, одетый в огромные скрипящие болотные сапоги, с шести утра до шести утра, каждые третьи сутки, девять лет подряд. Его фамилия Васильев. Мы придем к нему в два или три часа ночи.

— Неудачное время, поздно пришли,— так он встретит нас.— Сейчас тихая работа.

— Да, но ведь ночь? Интересно посмотреть вашу работу именно в ночное

время. Вы диспетчер городского порядка, не правда ли?

— Если хотите.

— Что произошло сегодня с двенадцати часов ночи?

Он достает книгу, где записаны все события прошедших суток.

— Задержан угнанный вчера грузовик. Сейчас дам по нашей сети телефонограмму,— и он берет трубку, человек в болотных сапогах.

— Слушайте, — говорит дежурный,— 7 января была дана циркулярная телефонограмма о задержании грузовой машины за номером один два раза пятьдесят шесть, таковая отменяется. Передача окончена, вешайте трубки».

И по всем милицейским постам, по всем отделениям милиции, как по команде, вешаются трубки на рычаги.

— А еще что?

— Нашли, понимаете ли, труп кладовщика в овощехранилище. Возможно, убийство. Ведем расследование.

— И все?

— Ночью у нас затишье. Иногда,— он хлопает себя по голенищам,— пожары. Сапоги выдали.

Звонок. Какой из восьми аппаратов зазвонил? Дежурный безошибочно по звуку снимает трубку, но молчит. Он слушает минуту или две, затем натягивает шинель.

— Вам повезло. Пожар на Клинической улице. Передано пожарной частью по сети. Едем.

Фордик вылетает из ворот. Низко гремит его настойчивая сирена. Потонули в переулке зеленые шары, стрела, указывающая путь к диспетчеру порядка. Машина несется по тихому Каретному ряду, сворачивает на Садовую, но уже на Триумфальной, где всю ночь открыт магазин «Гастроном», но уже на Кудринской, где чинят мостовую, по всему Садовому кольцу горят огни, и бесконечным потоком движутся грузовики и грузовые трамваи. Через площадь Восстания, по Новинскому бульвару — и фордик подлетает к дому, залитому светом пожарного прожектора. Уже взлетела лестница к клубящейся крыше, и черные точки топорников маячат у карниза. Шумят брандспойты, — десять, двадцать минут, и горнист внизу играет отбой.

Пожар. Одно убийство. Кража. Пять транспортных аварий. Пьяный, затеявший драку на Грузинах. Перечень несчастных случаев, переданный институтом Склифасовского,— все.

Днем внимание дежурного занято уличными столкновениями, несчастными случаями, иногда скандалами. Ночью?.. Ночью его телефоны почти молчат, восемь телефонов на маленьком столе.

Над домами Красной Пресни бледнеет небо. Разливается по улицам синий свет. Мостовые усыпаны свежим снегом. Кое-где проходит елочный след недавно проехавшей машины. По зоопарку, иногда за пределами его, виднеются странные, незнакомые городу петли лисицы или соболя. К утру эти ночные непоседы выходят по неведомым тропкам из зоологического сада. На Мясницкой лежит раздавленный кот — маленькое происшествие ночной улицы. Он точно еще бежит, лапки его развернуты, но морда оскалена в предсмертной гримасе, и труп полузанесен снегом. Выходит на улицу армия в белых передниках. Поднимается перезвон скребков, шуршанье метлы. Через несколько минут будет убран труп неосторожного кота, и сотрутся следы путешественников из зоосада.

В это время прибывает первый поезд в Москву. За ним последуют пригородные составы с интервалом в пятнадцать-двадцать минут, и жители Тарасовки, Кунцева, Удельной привычно разбегутся по площадям. Потом загремят трамваи, так же бестолково, как в начале ночи, — по чужим маршрутам, пробегая остановки — со стрелочницами и контролерами. Затем в маршрутные вагоны полезет первая смена — токари, фрезеровщики, телефонистки, скорняки...

И новый день поднимается над городом.



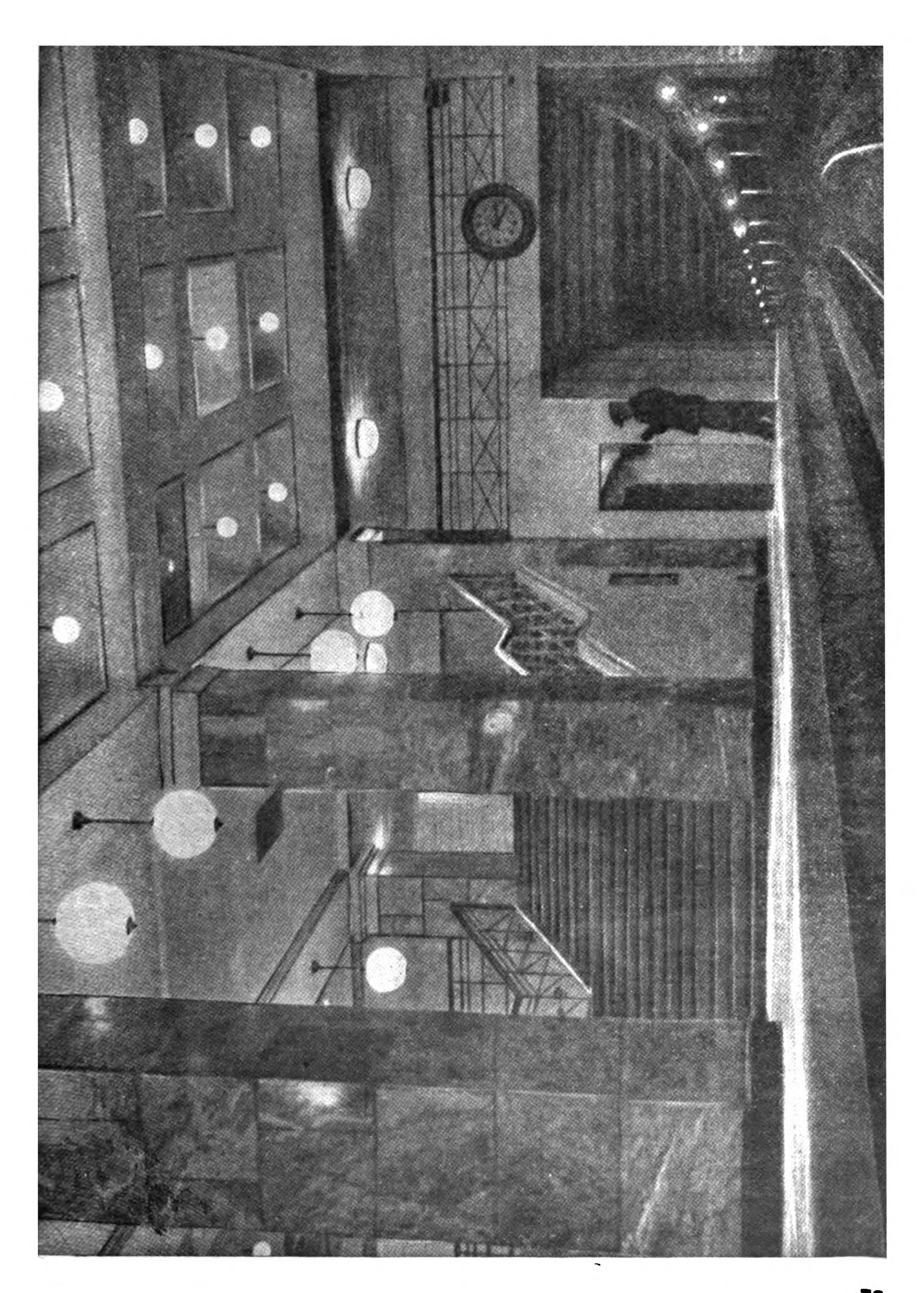
В ударно короткий срок закончено строительство московского метрополитена. Столица Советского Союза получила самый совершенный вид городского транспорта—подземную электрическую дорогу.

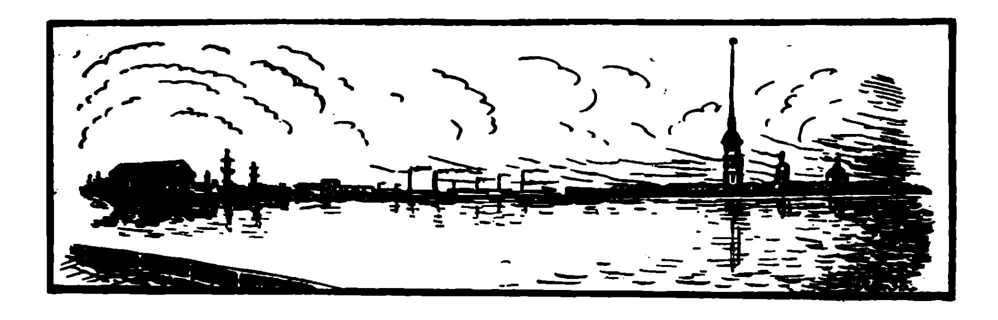
Отделка московского метрополитена—его наружных вестибюлей и подземных перронов, качество оборудования могут служить образцом для метрополитена любого капиталистического города.

В процессе стройки выросли и выделились тысячи настоящих ударников, десятки тысяч приобрели новую квалификацию.

Пуск метро—победа всей страны. Достигнута эта победа под руководством партии, ее вождя тов. Сталина и при непосредственном участии отряда московских большевиков во главе с тов. Кагановичем.

На снимках:
Слева внизу — дежурный по станции метро
Справа — перрон станции „Сокольники"





судьбы города

Вит. Василевский

Рис. В. Баркова

Петербургу быть пусту.
З. Гиппиус.

В нашем классе на стене у окна висела огромная карта Европейской части Российской империи. Учитель географии Василий Яковлевич Судейкин раскрывал классный журнал. Длинный, как циркуль, палец его с зеленым ногтем медленно полз по списку учеников первого класса «А» Белебеевского реального училища.

— Покажите столицу России!— говорил он и отхаркивался в красный платок.

Я шел в угол за указкой. Я был низкорослый и не мог достать рукой до столицы России. Когда я шел по улице в форменной фуражке с желтым кантом («яичница!»—кричали базарные ребята), меня часто останавливали встречные.

— Сколько тебе лет, мальчик?— спрашивали они.

— Десять,— лепетал я, краснея.

— Смотрите, какой маленький, а уже реалист!

И я шел дальше, гордо подняв плечи, которые оттягивал тяжелый ранец.

— Покажи столицу Российской державы,— говорил Василий Яковлевич и прятал в карман платок.

Я находил указкой красный кружок у берегов Финского залива.

— Правильно,— говорил Василий Яковлевич.

В первом классе «А» Белебеевского реального училища мы изучали совсем иную географию, чем та, которую учат школьники сейчас. Мы изучали Финляндию, царство Польское, Прибалтийский край, Малороссию. Мы изучали Бухару и Хиву, «входящие в сферу русского влияния», как выражался Василий Яковлевич. Но наиболее подробно и тщательно изучали мы Петербург. Там жил царь. Там была Государственная дума. Там был Святейший синод.

— Санкт-Питер-Бурх! — кричал Василий Яковлевич.

Мы знали, что Василий Яковлевич учился в Петербургском университете. Скрестив на груди руки и наклонив голову, он рассказывал нам о петербургских туманах, о широкой Неве, о сверкающей Адмиралтейской игле, об Исаакиевском соборе.

За окном на площади маршировали солдаты в сатиновых, подбитых ватой, шинелях. В синем небе летали голуби.

— И потом Санкт-Питер-Бурх самый культурный город нашей родины,—громко говорил Василий Яковлевич и строго смотрел на нас сквозь толстые выпуклые стекла очков.

Мы вздрагивали. Нас пугало это незнакомое, тревожное слово — куль-турный...

—

Да, Петербург действительно был самым культурным городом Российской империи.

На широких проспектах с торцовой мостовой катились лакированные кареты. Голубой карбидный свет каретных фонарей плыл в сером тумане. Городовые в белых перчатках стояли на перекрестках. Прохожие останавливались, когда проезжал автомобиль. Над Невой пышно и осанисто красовались великокняжеские дворцы. В Мариинском театре танцовала солистка его императорского величества Кшесинская. Перешептывались в первых рядах знатоки. Английский посол входил в Зимний дворец. Чугунная решетка вокруг дворцового сада была прекрасна. Никто еще не знал, что через несколько лет путиловские рабочие снимут решетку и увезут ее за Нарвскую заставу на улицу Стачек. В лучшей гостинице города «Астории» немец-швейцар распахивал перед гостями сверкающие двери, немцы-лакеи несли чемоданы, немецкий оркестр играл в ресторане. (В этой гостинице в 1913 году останавливался Герберт Джордж Уэльс. Репортеры петербургских газет спутали его с миллионером Уайнансом, знаменитым охотником. И все газеты писали об охотничьих подвигах английского писателя, хотя Уэльс никогда не держал в руках ружья). В Новой деревне в увеселительных заведениях, в «Аркадии», в «Ливадии», в «Кинь грусть», цыганки пели охрипшими голосами веселые песни. Шуршали колесики роликовых коньков в недавно открывшемся скетингринге. Царь жил в Царском селе, специальный железнодорожный путь вел туда, по нему ходил только царский поезд. С длинноногими дочерьми приезжал царь в театр, и солист его императорского величества Федор Шаляпин становился на колени, и оркестр играл— «Боже, царя храни». В Соляном городке Д. Философов читал лекцию о путях познания бога. Пуришкевич являлся в Государственную думу с красным цветком в ширинке. В Смольном институте девушки в белых передниках—смолянки— вышивали по тюлю, и в комнате, где позднее жил Ленин, классная дама записывала в кондуит баллы за поведение. В каменных мешках Петропавловской крепости и Шлиссельбурга сходили с ума, обливали керосином и поджигали себя, вешались, перерезали ножницами горло.

Попы служили обедни в пятистах шестидесяти пяти церквах и молельнях столицы. В Английском клубе знаменитый повар Демьян, которому платили десять тысяч рублей жалованья в год, готовил обед. Солдаты в сатиновых, подбитых ватой, шинелях, шли по мостовой, печатая чугунный шаг. Митька Рубинштейн мчал на рысаке в Русско-Азиатский банк.

О, Петербург, Петербург! С каким восторгом говорил о его туманах и блеске Адмиралтейской иглы реалистам первого класса «А» Василий Яковлевич Судейкин.

Но почему вы, Василий Яковлевич, не рассказали своим ученикам о женщине в ковровой шали, идущей по Петергофскому шоссе с маленьким розовым гробом на руках.

Она шла медленно по весенней, жидкой грязи, часто останавливалась отдыхать и тогда ставила гроб на камни тротуара. У поворота дороги к Путиловской верфи она догнала женщину в нагольном полушубке, в рыжих сапогах с маленьким голубым гробом на руках.

— Мальчик? — спросила она.

— Мальчик! — сказала женщина в нагольном полушубке. И они пошли дальше, разбрызгивая грязь.

Вероятно женщина в ковровой шали не знала, что на нее в городском санитарном управлении заведена учетная карточка № 19348. Там было написано:

«Петергофское шоссе, д. № 7. Александра Григорьева Емельянова, пользуется бабкой: всего 13 беременностей, 12 мальчиков и 2 девочки. Из 13 умерло 11—Николай, Андрей, два выкидыша, еще Николай, Мария,, еще Андрей, Михаил, Георгий, Екатерина и Иван. В живых Леонид и Георгий».

В Петербурге часто умирали дети. В Петербурге умирало двадцать пять детей из ста родившихся, в три раза больше, чем в Стокгольме и Амстердаме и в два раза больше, чем в Лондоне. В Петербурге умирали чаще всего дети литейщиков, слесарей, текстильщиц, грузчиков. В Александро-Невской части города умирало двадцать восемь детей из ста родившихся, а в 3-м и 4-м участках Александро-Невской части умирало тридцать шесть детей из ста родившихся.

Ветер относил голубой дым ладана, звякала цепочка кадила, невнятно, под нос бормотал молитвы священник. Виновато улыбаясь, женщина в ковровой

шали — учетная карточка № 19348 — сунула в пухлую руку диакона похолодевшие медяки. Могильщики торопливо забрасывали землей могилу.

Почему вы не рассказали, Василий Яковлевич, мне, маленькому реалисту, с указкой в руке, стоящему у карты Российской империи, об этой женщине в ковровой шали, о комьях глины, с глухим грохотом сыпавшихся на крышку розового гроба, о приторно сладком запахе ладана?

—

Вечерами прекрасен был Петербург! Над широкой Невой у Сената на Дворцовой площади, на Невском проспекте вспыхивали блестящие фонари; г. Л. де-Монкад — петербургский корреспондент «Matin» писал: «Хотя я и рискую навлечь на себя негодование Петербургского городского управления, я все же должен признаться, что город этот освещен весьма слабо». В 1915 году на центральных улицах Петербурга горело 15 072 фонаря, из них 2 976 керосиновых коптилок и 8 806 газовых фонарей. Рабочие окраины, Петергофское шоссе, Охта совершенно не освещались, потому что не входили в черту города.

Полусклонив морды, пары рысаков катили лакированные кареты к особняку графа Юсупова. Распахивали дверцы карет лакеи в расшитых золотом ливреях. Щелкали бичи. Сияли люстры в огромном белом зале. На хорах музыканты настраивали скрипки. Начинался вечер цветных париков — модная выдумка графини Юсуповой. Здесь через год убили Распутина. Здесь через пять лет открылся Областной дом работников просвещения...

...В просторной столовой Английского клуба обедали два господина в строгих фраках. Они сидели в разных концах столовой, спиной друг к другу. Это было традицией, каждый член клуба имел в столовой свое определенное место. Вся жизнь Английского клуба была подчинена строгим традициям. Никогда в клуб не могла войти женщина. При выборах старшин голоса опускали в серебряный ящик и, в сопровождении четырех канделябров с зажженными свечами, уносили ящик в угловую комнату, где он оставался запертым сутки. Только потом голоса подсчитывались. Петербуржец, не принятый в члены клуба, не мог войти в клуб даже гостем. Конногвардейские офицеры летом жили в лагерях под Петербургом. И они тогда имели право посещать клуб.

Из дверей трактира «Сам-друг» за Нарвскими воротами выбросили мастерового с Путиловца, широкоплечего парня в бархатной жилетке и синей рубахе. Он упал в канаву лицом в вонючую, липкую грязь, потом пополз, цепляясь руками за осыпающиеся края канавы, и в темноте сверкали перед ним, как омерзительный кошмар, вывески кабаков «Стоп-сигнал» и «Зайди опрокинь». Подошел городовой, ткнул носком сапога — «Эх, недотепа!»

У балаганов, за Невской заставой, толпилась молодежь—мастеровые в пиджаках и при галстуке, девушки с фабрики «Торн-тон» в белых платочках. Ухал барабан, разухабисто пиликали гармоники, вертелась карусель, сверкая стеклярусом под тусклым светом керосиновых лампешек. Орали пьяные.

«В нашей жизни не было никаких развлечений, — вспоминает рабочий завода «Большевик» Барышников, — если не считать так называемых «кинь гривенник», устроенных на небольшой пустой площадке в Ново-Александровской улице (плата за вход десять копеек) да кабаков, трактиров, балаганов и пивных. Ездить же в город рабочему было неспорудно: много времени брала дорога, а так как работать приходилось не семь, а десять часов, то и свободного времени не оставалось. Ну и устраивали такие «развлечения», как кулачные бои между соседними предместьями, где молодые «спортсмены» того времени разбивали друг другу носы, подставляли фонари под глазами, избивали бока. Такие бои собирали иногда до трех-четырех тысяч бойцов».

Ухал барабан, пиликали гармоники. Конные городовые сторожили спокойствие вверенного им участка. Громыхая, ползла конка к Обуховскому заводу, две белых клячи тащили перегруженный вагон. За Невой в жирной темноте поблескивали огоньки охтенских избушек и землянок.

В Императорском яхт-клубе заседал совет клуба — командор граф В. Б. Фредерикс, граф А. Д. Шереметьев, граф А. Ф. Гейден, князь А. А. Долгоруков. Обсуждался вопрос об организации ко-

стюмированного бала. Императорский яхт-клуб считался самым фешенебельным клубом России. Членами клуба могли быть только потомственные дворяне. Число действительных членов клуба было строго ограничено — не свыше ста двадцати пяти человек. Посторонние посетители, даже и по рекомендации члена, в клуб не допускались (кроме передней)...

...Но меня пустили в клуб. Швейцар в обшитой галуном ливрее распахнул тяжелую дверь. В комнате заседаний совета трещали в камине дрова. Треск биллиардных шаров был слышен из угловой комнаты.... Впрочем это было зимой 1935 года, и в здании Императорского яхт-клуба помещался Ленинградский автомобильный клуб. На совете должен был обсуждаться вопрос о зимнем пробеге Ленинград—Москва легковых машин на сверхбаллонах.

После заседания мы вышли из клуба. Петька Суворов, слесарь с «Большевика», сказал мне—«Довезу». Петька весьма гордился своим стареньким мотоциклом. Я сел на багажную раму сзади Петьки, охватил его руками. Ветер ударил мне в лице, и мы понеслись к проспекту 25-го Октября...

...После заседания члены совета Императорского яхт-клуба решили поужинать в «Астории». Швейцар кричал—«Карету графа Фредерикса», и, шурша колесами по торцам, подъезжала лакированная карета. В ресторане, непрерывно улыбаясь и кланяясь, членов совета встречал метр-дотель, немец. Он всегда улыбался радостно, встречая гостей, это была профессиональная привычка. Но сегодня он улыбался особо счастливо. Утром с женой он ездил на Лахту покупать дачу. Хозяева уступили, и они хлопнули по рукам. Метр-д'отель улыбался вполне счастливо и в изысканных выражениях приветствовал дорогих гостей. Он и не знал, что летом начнется война, и его выгонят из «Астории», как выгонят и всех служащих-немцев. Хорошо оплаченный сотрудник «Петроградского листка» будет писать: «Обеды, five o'clock ужины в гостинице «Астория», являющейся после перехода во французские руки одним из самых симпатичных и культурнейших уголков столицы, посещаются членами дипломатического корпуса, представителями аристократического общества и элегантнейшими женщинами Петрограда» (П. Л., № 246, 1914 г.).

...В «Квиссисане» испытывали автомат для подачи посетителям водки, рома и кофе. Достаточно было опустить серебряную монету двадцатикопеечного достоинства, как открывалась дверца, и на подносике выдвигалась рюмка водки и бутерброд с паюсной икрой (бесплатно). «Культура!» — удивлялись посетители и, опрокинув рюмку, крякали и нюхали корочку хлеба.

В Эрмитажном театре Зимнего дворца кончилось первое действие трагедии светлейшего поэта его императорского высочества великого князя Константина Константиновича — «Царь Иудейский». Гремели оглушительные аплодисменты. Автор выходил, раскланивался в гриме, в парике, в длинной тунике — он играл роль Иосифа Аримафейского. С ним выходили и раскланивались его высочество князь Игорь Константинович (Руф), генерал В. В. Теплов (Симон) подпоручик Рубец, полковник Разгильдеев, поручик Чаплыгин (гладиаторы).

— Какая высокая трагедия, ваше императорское высочество! — жалобно говорили, расступаясь, придворные, когда светлейший поэт К. Р. проходил за кулисами.

Занавес на сцене поднимал светловолосый мальчик в шелковой рубахе — сын дворцового истопника. Если бы в России не произошла революция, мальчик, вероятно, как и его отец, был бы дворцовым истопником. Но 7-го ноября 1917 года Зимний дворец был взят. Через год, осенью 1918 года, А. В. Луначарский послал сына истопника в консерваторию. Я слышал недавно в Эрмитажном театре его лекцию о французской музыке XVIII века. Был культпоход комсомольцев швейной фабрики им. Володарского, маленький зал был переполнен, лектору сильно аплодировали...

...По набережной Фонтанки, у Цепного моста, ехала черная карета без фонарей. В ней сидел, между двух жандармов с обнаженными саблями, бледный юноша в студенческой форме, будущий член Реввоенсовета VI армии, председатель Уральского облисполкома, директор крупнейшего металлургического завода.

Этот прекрасный вечер был обычней-

шим будничным вечером Санкт-Петербурга, столицы Российской Империи.

—

Утром Сергей Николаевич Грибунин, член Государственной думы, парламентский деятель, редактор «Речи», завтракал в своей светлой, просторной столовой. Жена подвигала ему тарелку с омлетом, наливала кофе. «Здравствуй, здравствуй»,—весело сказал Сергей Николаевич и подставил свежевыбритую щеку сыну Шуре. Потом он надел пальто, цилиндр, взял в руки трость. Горничная в беленьком передничке закрыла за ним дверь. Швейцар в подъезде подал ему маленький сиреневый конвертик. Сергей Николаевич оглянулся и спрятал письмо в карман. Месячный извозчик на сером в яблоках жеребце помчал Сергея Николаевича к Невскому.

Горничная в гостиной вытирала пыль с высокой горки фарфора, с картин в золоченых рамах (Серов, Врубель), с японского идола в углу. Жена Сергея Николаевича заперлась в будуаре с модисткой. Шура занимался в классной, гувернер говорил ему — «Покажите столицу Российской империи», и Шура шел в угол за указкой, он был низкорослый и не мог достать рукой до столицы Российской империи.

— Санкт-Петербург — самый культурный город России, — говорил гувернер лениво позевывающему Шуре. — Возьмем статистику, возьмем, Шура, самую страшную статистику—смертность детей. В Петербурге умирает столько же детей, сколько в Лондоне — столице цивилизованной Англии. — Гувернер говорил Шуре правду — в центральных районах Петербурга, в Литейной части, где жил Шура, и в Адмиралтейской части умирало двенадцать детей из ста родившихся.

Вечером к Сергею Николаевичу пришел гость в рыжем выцветшем пальто и чиновничьей фуражке.

— Вас никто не видел? — торопливо спросил Сергей Николаевич.

— Нет, — устало сказал гость и вытер штиблеты о коврик.

Сергей Николаевич был либералом и часто укрывал в своей квартире революционеров. Он провел гостя «товарища» Андрея в кабинет, усадил на кожаный диван. Застекленные книжные шкафы высились здесь вдоль стен — русские и мировые классики, философия, богословие, «Вестник Европы» за двадцать пять лет, небольшая, но изысканная коллекция эротической литературы. На огромном массивном столе покойствовала лампа под зеленым абажуром...

...Летом 1929 года несколько месяцев я жил в кабинете Сергея Николаевича. Книг в шкафах с выбитыми стеклами уже не было — их сожгла в девятнадцатом, отапливая квартиру, жена Сергея Николаевича. И самого Сергея Николаевича уже не было в живых — его расстреляли за Кронштадтский мятеж. Шура Грибунин уехал куда-то далеко, говорили, на Дальний Восток — подальше от людей, знающих отца. Жена Сергея Николаевича торговала семечками, на углу Моховой и Семеоновской...

...Человеку, называвшемуся товарищем Андреем, очень хотелось спать. Он две ночи уже убегал от шпиков, ночевал в ночлежке, на Пряжке, с карманщиками и босяками. Но ему пришлось сидеть на диване, протирать кулаками слипающиеся глаза и слушать Сергея Николаевича.

— Я подготавливаю материалы к решительному выступлению,—говорил Сергей Николаевич, — я должен выступить, какие бы последствия ни ожидали меня. Я не согласен с большевиками во многом, но по вопросам городского благоустройства у меня разногласий нет.

— Спасибо! — насмешливо сказал гость.

— Да! Да! — громко говорил Сергей Николаевич.—Я должен говорить о Петербурге, хотя бы просто как интеллигентный человек. Столица! Культурнейший город страны! В культурнейшем городе сто пятьдесят тысяч угловых жильцов, семь тысяч подвальных квартир, пятьдесят две тысячи подвальных жильцов. У этих пятидесяти двух тысяч жильцов — двадцать восемь тысяч кроватей. Что это значит? На одной кровати спят два-три человека. Я против тактики Ленина, работа западной социал-демократии для меня лучший пример. Разве мы, товарищ Андрей, не можем построить культурные дома для рабочих? Должны, должны построить, иначе придет из подвала какой-нибудь Ванька с кистенем и убьет меня. Убьет? — спросил Сергей Николаевич гостя, и тот охотно согласился:

— Убьет!

— И вот еще вам пример. Квадратная сажень моей квартиры стоит восемнадцать рублей в год. Квадратная сажень подвальной квартиры стоит тридцать пять рублей в год. — Сергей Николаевич от удовольствия засопел. — Мы должны построить образцовые рабочие дома по примеру венских. И потом, ведь это доходное дело! — воскликнул с одушевлением Сергей Николаевич, но сразу же осекся. — Конечно, это на втором плане, безусловно, на втором плане. А строительством культурных рабочих домов мы сразу уничтожим классовую борьбу на жилищном фронте.

— Знаете! — сказал гость тихо Сергею Николаевичу, — я знаю город, в котором есть такие культурные дома для рабочих. Это не Вена. В Вене в хороших домах живут две тысячи рабочих семей, на окраине те же подвалы и землянки. А в том городе все рабочие живут в хороших квартирах. Окраины в городе нет совершенно. На рабочих улицах асфальтовые мостовые, много света. У рабочих есть свои клубы. Они ходят в театры, в музеи. Летом ездят на дачи.

Обычно люди начинают смеяться внезапно. Но Сергей Николаевич поудобнее усаживался в кресле, закидывая ногу на ногу, и только тогда принимался хохотать. На него было страшно смотреть, багровый, потный, он качался в кресле и, захлебываясь, оглушительно хохотал.

— Что же это за город ваш чудосный? — спросил он, наконец, вытирая белоснежным платком слезы.—Ваш град-Китеж?

— Это — Петербург... после того, как мы возьмем власть! — сказал гость. Он сказал эти слова тихо, спокойно, но так уверенно, что Сергей Николаевич перестал хохотать. Он привскочил в кресле, усмехнулся.

— Шутник! Шутник! — сказал он, оправляя выбившиеся манжеты.—Фантазер! И Ленин у вас такой же фантазер! Ну, спите, спите, шутник, уже поздно. Вам сейчас постелят. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

Утром, когда Сергей Николаевич проснулся, гостя уже не было. На столе, в кабинете, лежала записка — «Спасибо» и подпись. Сергей Николаевич повертел записку в руках.

— Ах шутник, шутник! — сказал он и спрятал записку в шкаф...

...С этой запиской, спустя десять лет, ходила жена Сергея Николаевича к тому, кто назывался когда-то товарищем Андреем, ходила просить пенсию.

Товарищ Андрей работал заведующим коммунальным отделом Ленинграда. Он прокладывал асфальтовые дороги в рабочих районах, строил бани, механизированные прачечные, кварталы новых, светлых, красивых рабочих домов.

В пенсии жене С. Н. Грибунина он отказал...

...Осенью 1914 года Грибунин выступал в городском управлении. Война уже началась. Грибунин торжественно поднялся на трибуну и пожалел, что в зале мало слушателей.

— Господа! — воскликнул Сергей Николаевич.—Господа, я буду говорить о чрезвычайно важных обстоятельствах и посему прошу внимания.

С. Н. Грибунин говорил членам городского управления, что в Петербурге 40 процентов неграмотных. На центральных проспектах торцовая мостовая, паркет, а на остальных улицах города булыжник. Канализация в городе деревянная, нечистоты просачиваются сквозь трубы в почву. Без водопровода 60 процентов всех домов Охты, 77 процентов домов Лесного, 40 процентов домов Александро-Невской части.

Сергей Николаевич зачитал протокол санитарной комиссии, обследовавшей рабочий поселок Колпино. «Условия жизни посада Колпино оказались крайне благоприятными для появления и дальнейшего развития эпидемии холеры».

— Господа! — сказал Сергей Николаевич.—И в это же время мы имеем Царское село, где еще в 1887 году (впервые в Европе!) было проведено электрическое освещение, где еще в 1907 году проведена канализация.

Околодочный в светлосиней шинели, при упоминании о Царском селе, тревожно завозился, но человек в сюртуке с «Анной» на шее за столом президиума, сделал едва уловимый знак рукой — пусть, мол, треплется. И околодочный успокоился.

— Господа! — воскликнул Сергей Николаевич — рабочая демократия не забыла о 1905 годе. Еще в наших руках

решение проблемы. Пока не поздно, будем действовать!

Стоя на трибуне, С. Н. Грибунин думал, что где-нибудь за Нарвской заставой, в вонючей каморке живет и бедствует с семьей рабочий, средняя статистическая единица, скажем, Филипп Сухоруков. А он, С. Н. Грибунин, заботится о нем, жалеет его, хочет Филиппу Сухорукову добра. Слезы умиления выступили на выпуклых глазах Сергея Николаевича.

Он не ошибался. За Нарвской заставой, в подвале, в вонючей каморке, действительно, жила семья Филиппа Сухорукова — жена (десять беременностей, учетная карточка № 11433) и дети. В тот вечер, когда С. Н. Грибунин выступал в городском управлении, Филипп Сухоруков не мог уже слышать благородную речь парламентского деятеля и либерала в защиту рабочего класса.

Филипп Сухоруков был убит у Мазурских болот, и колесо германской шестидюймовки переехало его тело, вдавив труп в топкую, полную зеленой ржавой воды, землю.

—

Я не могу назвать себя старым ленинградцем.

Я приехал в Ленинград в 1927 году.

Еще печатались в газетах объявления: «Сдается квартира лицу свободной профессии или торговцу». Еще не было автобусов на улицах Ленинграда. В Исаакиевском соборе митрополит Серафим служил обедню. Сейчас в Исаакиевском соборе антирелигиозный музей. Еще не было в Ленинграде ни одного Дома культуры и на островах не было Парка культуры и отдыха, и были частные театры в Ленинграде — «Свободный театр» и частные издательства — «Мысль». Еще был открыт бар Европейской гостиницы. Еще светили огни Владимирского игорного клуба. Клуб был открыт круглый год, круглые сутки, кроме двух дней — рождества христова и пасхи.

И эти годы прошли.

В 1929 году «Электросила» выпустила первый советский генератор в 15 000 киловатт. В 1930 году Металлический завод им. Сталина выпустил первую советскую турбину в 24 000 киловатт.

Рабочий Ленинград ,уверенно, мощно входил в пятилетку великих социалистических работ.

Посмотрим на карту Советского Союза. Вот Харьков. Новые харьковские заводы оборудованы паровыми турбинами и котлами Ленинградского Металлического завода. На Харьковской электрической станции работают генераторы «Электросилы». Масляные выключатели, транспортеры, конвейеры, автоматические телефонные станции, комплекты табачных машин, обувных машин, текстильных машин — везде марка «Л», «сделана в Ленинграде».

Мариуполь. Сюда ленинградцы прислали оборудование доменных печей, электрические подъемные турбины, моторы, генераторы.

Днепропетровск, Керчь, Челябинск, Сталинск, Орск, Казань — везде ленинградец увидит свою машину и скажет гордо:

— Наша работа!

Тифлис, Ала-Верды, Земо-Авчалы, Рион, Гергибель — на кавказских гидростанциях работают ленинградские турбины.

Так стал рабочий Ленинград арсеналом индустриализации Советского Союза. И разве может страна забыть эту великую созидательную работу ленинградских пролетариев?

3 декабря 1931 года было опубликовано историческое обращение Центрального комитета партии и Совета народных комиссаров о Ленинграде, о городском благоустройстве, о новых задачах» — «осуществление и дальнейшее развитие которых сделает Ленинград образцовым центром советского городского хозяйства и подлинно социалистическим городом».

—

Здесь будет рассказано о человеке, который шестнадцатилетним мальчиком вступил в партию, организовывал подпольные типографии, сидел в тюрьме, оборонял Астрахань, посылал в Баку английских коммунистов, чтобы разложить армию интервентов, создавал союз Закавказских республик, разгромил предательскую и подлую зиновьевскую оппозицию и погиб в коридоре Смольного от выстрела в затылок — выстрела гнусного труса.

Сергей Миронович Киров любил Ленинград.



Ленинград. Площадь Урицкого

Фото Д. Дебабова

Вечерами он приезжал на площадь Урицкого и долго сидел на ступеньках трибуны — площадь заливали асфальтом, под ослепительными лучами прожекторов рабочие выравнивали черную, дымящуюся, густо вываренную асфальтовую кашу, грохотали катки, застывал, твердел блестящий покров.

За Невской заставой на Шлиссельбургском шоссе строится Володарский мост, шестой мост через Неву, соединяющий правый берег — фабрику «Красный Ткач», 5-ю ГЭС, Охту, Пороховые — с городом. И сюда приезжал тов. Киров постоянно — проверить, как идут работы, поговорить с рабочими, а, может быть, просто полюбоваться широким простором реки, зелеными полисадниками рабочих домиков, рыжим заревом мартеновских печей «Большевика».

Тов. Киров говорил: «Нужно отобрать для Ленинграда такие породы деревьев, которые дольше всего остаются зелеными. А то какой толк, что напротив Смольного у нас садик? Он не больше как три месяца в году ласкает глаз. Потом пусто».

П. Смородин, С. Соболев, П. Алексеев пишут в своих воспоминаниях, что, когда Сергей Миронович приехал в новое здание Выборгского райсовета и увидел огромные длинные коридоры, он сказал:

«Сколько же вам надо сюда полотеров? Армию целую. А натирать полы надо: мы в культурном веке живем. Попробуйте изобрести машину, чтобы она полы натирала. Сейчас, ведь, есть механическая покраска камня. Почему же нельзя полы натирать по этому принципу?»

И механический полотер был изготовлен.

Тов. Киров предложил освоить в Ленинграде облицовку домов цветной штукатуркой. Зачем сначала штукатурить, а потом красить? Можно сразу вводить в штукатурку сильные красители.

Приезжая на завод, тов. Киров обязательно заходил в рабочие дома. Его не успокаивали выкрашенные стены фасадов, чисто подметенный тротуар. Он шел в квартиры, на задние дворы. Он видел все — протекает крыша, выбиты стекла, помойка отравляет зловонием воздух. «Я бы тебя сюда самого переселил, да посмотрел как ты будешь жить»,—говорил он сердито директору.

Однажды, тов. Киров поехал в маленький, лежащий близ Ленинграда, городок. Дорога была отвратительная. Сергей Миронович трясся, подпрыгивал, цеплялся за борта машины. И вернувшись домой, он позвонил председателю городского совета.

— Ездил за город?

— Ездил.

— Давно?

— Не так давно.

— Машина цела?

— Цела.

— А шею не сломал?

И, улыбнувшись, повесил трубку.

По инициативе тов. Кирова в Ленинграде на Елагином, Крестовском, Каменном островах строится огромнейший, величайший в мире Парк культуры и отдыха.

Раньше на островах были дачи князей Белосельских, принца Ольденбургского, князя Гагарина, княгини Долгоруковой. Среди огромных парков гордо высились белые барские особняки.

В Петербурге было много садов и парков, закрытых для простых горожан,— Михайловский парк, Таврический сад, дача Дурново, Строгановский сад. В частном владении было 662 десятины садов. А у города общественных садов было 450 десятин. Нужно ли удивляться, что средняя продолжительность жизни петербургского рабочего была тридцать лет!

Больше никогда не приедет Киров на острова, чтобы вместе со школьниками встречать весну. Больше никогда не поедет он на моторке за Стрелку, на взморье, где экскаваторы засыпают, поднимают болотистый берег — здесь будет построен гигантский стадион на сто тысяч человек. И не скажет Сергей Миронович, улыбаясь своей очень спокойной и ласковой улыбкой:

— Мы строим этот парк, чтобы людям жилось счастливо!

Летом хорошо на островах! Звенят весла гичек, шумно плещутся в реке дети. Прыгают с вышек парашютисты. Велосипедисты мчатся по глухим аллеям. Там, где висят плакаты—«Здесь можно лежать», на траве спят, загорают, читают книги. Шахматисты, согнувшись как совы, сидят на террасе шахматного клуба. Раскачиваясь в гамаках, дремлют старики.

Но и зимой хорошо на островах. По взморью, по льду залива летят, как огромные белые птицы, буера с надутыми парусами. Конькобежцы скользят по озерам Елагина, а озер на острове много. Лыжники прыгают с трамплина — чудесен этот взлет человека в вышину. И опять, как и летом, сидят, согнувшись, шахматисты. И дети мчатся на санках с ледяных гор.

Эти деревья, украшенные инеем, это взморье, это буера под туго натянутыми парусами, эти прекрасные ленинградские острова очень любил Сергей Миронович. Но ведь так же любил он и ряды елок, посаженных на улице Скороходова, и Василеостровский Дом культуры, и новые американского типа трамвайные вагоны, и Володарский мост.

«В наш громадный город вложены миллиарды, — говорил тов. Киров. — Надо воспитать в каждом трудящемся заботливое и бережное отношение к городскому хозяйству, к улице, к мостовой, к трамваю, к дому и т. д. Каждую гайку, каждое зернышко нашего дела надо беречь, надо холить самым настойчивым образом, потому что это наше, рабочее, трудовое, это завоевано нами».

Накануне такой неожиданной смерти Сергей Миронович обещал путиловским рабочим приехать за Нарвскую заставу поомотреть новый железнодорожный виадук над трамвайными путями. Если бы он поехал, он увидел бы улицу Стачек. Это ли старый Путиловский проспект? Диабазовая мостовая, кварталы новых светлых домов. Раньше Нарвские ворота стояли среди лачуг и землянок — величественный памятник военного могущества России, и нищета, горе, нужда вокруг. Сейчас Нарвские ворота стоят в центре прекрасной площади — Нарвский Дом культуры, Дом техники, фабрика-кухня, универмаг, Сад 9 января



Нарвский район, Ленинград Союзфото

на месте городской свалки. И дальше на улице Стачек—Стадион путиловцев, новая школа, баня, Дом советов, рабочий профилакторий. И смело переброшенный над улицей железнодорожный виадук.

Не приехал Мироныч к путиловцам.

Долго, сурово, горестно гудели в ночном тумане гудки «Большевика» и «Путиловца» и Металлического, и поезд ушел, увозя в ночь тело убитого Мироныча, гудели гудки, и у Московского вокзала, на площади безмолвно стояли тысячи, ветер вздувал черные знамена, гудели гудки, и грохотали по Литовке танки, возвращаясь в казармы с последнего почетного караула.

Гудели гудки, и человек в тяжелой хорьковой шубе и кожаных высоких ботах, с седой, веником торчащей бородой, выбрался из толпы, опираясь на трость, медленно пошел по Невскому. Он шел, шаркая ботами, останавливался у витрин магазинов, пристально разглядывал (видимо, это позволяло не думать) детские санки, красные шерстяные джемперы, бутылки вина, консервные банки, красные головы сыра, брусья желтого масла. Потом он свернул на Надеждинскую и переулками направился к Летнему саду. И вот здесь, на пустынных тихих улочках, среди снега, тишины и темных домов (уже нельзя было останавливаться у витрин), волей-неволей пришлось ему опять думать о себе, о своей одинокой старости, о суровом и трудном ремесле художника.

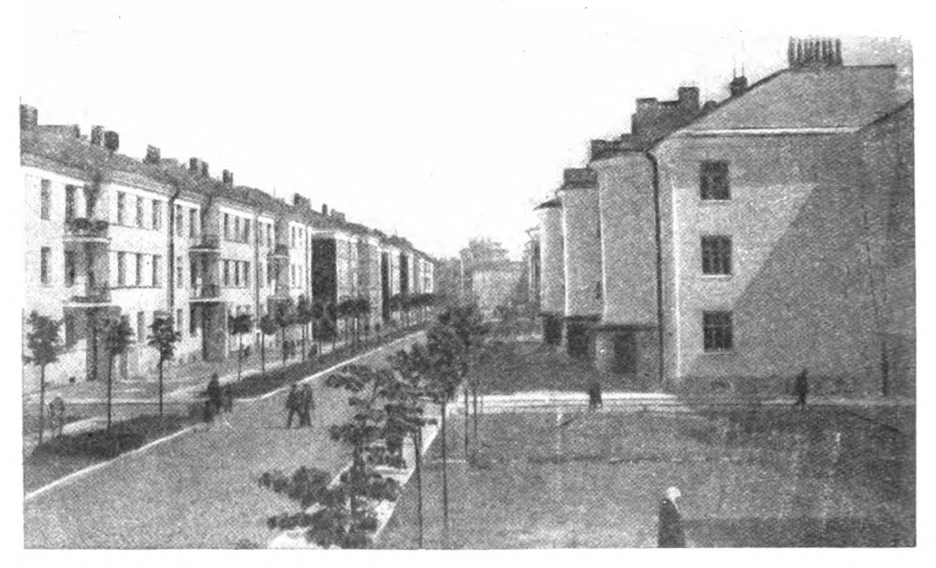
Он был пейзажистом и всю жизнь рисовал Петербург — Лебяжью канавку, Эрмитажный мостик, Адмиралтейство, Тучков буян, баржи на малой Невке.

Да, он не мог пожаловаться на судьбу. И сейчас, в годы заката, когда слабела властная рука мастера, его сильно любили. Правда, на выставках непременно говорили ему — «как жаль, что уважаемый (имя рек) не отражает в своих картинах новый социалистический Ленинград!»

Но он ссылался в таких случаях на старость.

И ему верили.

Сегодня он стоял в почетном карауле у гроба Кирова. Не так уж существен-



Ленинград, Нарвский район Союзфото

но, что думал он в эти стремительные и в то же время такие долгие пять минут. Если бы его спросили, о чем он плачет, вероятно, он опять бы сослался на старость. Но у занесенного сугробами Летнего сада, на пустой площади, нужно было признаваться, хотя бы самому себе, что он в неоплатном долгу.

Перед кем?

Он был почти во всех крупнейших городах Европы, в Париже и в Венеции, в Мюнхене и в Будапеште. «Что ж, прикажете рисовать автобусы?» — спросил он грубо. Хитрил, хитрил старик! Не в автобусах дело, он понимал это слишком хорошо. Он видел автобусы и на улицах Мюнхена и на бульварах Парижа. Но еще оставался другой город (не чужой же!..) и назывался он Ленинградом...

Внезапно ему подумалось, что человек, назвавший Нарвский проспект улицей Стачек,— поэт! Да, настоящий, талантливый поэт! А шоссе Энтузиастов в Москве!

— Как это замечательно! — сказал он растроганным голосом.— Вот создать такое название улицы и можно помереть!..

Зябко поежившись, он поднял воротник шубы и, разъезжаясь ботами по обледенелому тротуару, побрел к Троицкому мосту.

Гудели, гудели гудки, и ветер вздувал черные знамена, и человек в серой шинели, но без петлиц, выбрался из толпы, пошел по проспекту 25 Октября. Он шумно шмыгал носом, посапывал, но это не помешало ему заметить, что фонари, повешенные над мостовой (очень удобно для шоферов), затемняют верхние этажи домов. И он решил завтра же поговорить, нельзя ли на крышах установить прожектора, тогда светлой будет вся улица. Потом он свернул на Надеждинскую и тихими пустынными улочками побрел, куда глаза глядят. Он шел, изредка говорил, не разжимая зубов: «Ах, Мироныч, Мироныч!» Темные дома окружали его. Он поднял голову. Как будто здесь, в бельэтаже этого красивого с колоннами дома, в кабинете добрейшего Сергея Николаевича

Грибунина, он сидел на диване и грязнил паркет мокрыми ботинками.

— Я мечтал тогда о прекрасном рабочем городе! — подумал человек в шинели, — может быть, я, действительно, был смешон...

Он пошел дальше, сильно вдавливая каблуки сапог в скрипучий снег. Вспомнилось ему, на-днях, еще до выстрела (тут человек в шинели скривился, словно его ударили), он прочитал в какой-то книге, что заграницей, в новых домах внутрикомнатные перегородки передвижные. Да, звуконепроницаемые перегородки, их можно переставлять, разбирать и в квартире иметь по желанию пять комнат и три комнаты. Интересно... Весьма интересно...

Человек в шинели остановился у фонаря, вынул записную книжку. И сразу же подошел милиционер, видимо узнал, приложил руку в белой перчатке к шлему. «Спички есть?» — спросил человек в шинели. Закурили. Пошли по улице, разговаривая, что как бы хорошо малопроезжие улицы (а сколько их в Ленинграде!) превратить во внутриквартальные дворы.

— Я так предполагаю, — говорил милиционер мечтательно, — оставить на мостовой узкий габарит для кареты скорой помощи, пожарных, грузовика с дровами. Легкая решетка. Дворник для порядка, а в больших кварталах милиционер. И всю мостовую под клумбы, детские площадки. Яблони посадить. Эх!..

И еще шел по проспекту 25 Октября в эту ночь человек, никак не старше тринадцати лет, в коротеньком, с заглатками, пиджачке, в кожаной ушанке. Он шел, подпрыгивая, иногда покачивал головой, надо полагать, вспоминая, что дома нагорит за такой поздний приход. Только что пробрался он ящерицей сквозь цепи милиционеров на перрон и был у самого гроба. Заметили. Хотели вывести, но Ягода сказал — «не нужно!», и он стоял у вагона и видел все.

Мальчуган свернул на Надеждинскую, дошел до ближнего скверика. Пусто было здесь. Запорошенные снегом стояли белые мохнатые деревья. Он подошел к невысокой, сколоченной из досок горки для катания, хозяйственно осмотрел ее, влез и покатился вниз, но упал навзничь, глухая боль свела спину.

— Кто там озоруя? — закричал, приближаясь, дворник в оранжевом тулупе.

Покряхтывая, мальчуган поднялся, отряхнул снег с пиджака.

— Почему гору поливаешь плохо? — строго спросил он, — мне следить? Мне, голубчик, некогда за всеми горами смотреть!

И выбежал из скверика, оставив дворника в состоянии легкого оцепенения.

Незадолго перед тем, осенью, нет, позднее, в ноябре он написал письмо в «Ленинградскую правду» о том, что во всех скверах и садах нужно устроить горки для катания на санках маленьких детей (маленьких — было трижды подчеркнуто красным карандашем). И письмо его прочитал (рассказывали потом в редакции) Сергей Миронович, позвонил в Ленсовет, проследил, чтобы горы для детей (маленьких!) были построены.

Мальчуган взобрался на пятый этаж, решительно позвонил. «Где шлялся?!» закричала мама. Он не ответил, прошел прямо в ванную, где стоял самодельный радиоприемник. Скорчившись, сидел он в темном углу ванной и слушал: ...Любань... Болотое... Поезд шел в ночи, увозя тело Кирова...

И в ту же ночь, когда ревели гудки рабочего Питера, прощаясь с убитым командиром, я (автор) шел по шоссе от Магнитогорского завода к поселку Березки. Время в Магнитогорске отстает от Москвы на два часа, и была совсем глухая ночь, я один был на пустынном шоссе, мела поземка, ветер гнал по холмам сухие струи снежного дыма. И через каждый километр, у автобусной остановки (явное дело, что автобусы уже не ходили) репродуктор упрямо, хрипло выкрикивал в снежную пустыню:

— ...поезд с телом убитого вождя отошел от Ленинграда...

Сзади были видны огни завода, грохотали, выли воздуходувки на домнах. Четыре года назад, пять лет назад здесь была глухая степь. Дикость. Азия. Мы построили в степи завод. Мы построили в степи город. Мы построим самые лучшие в истории человечества, самые прекрасные города!

—

Совсем рано, — серый туман затопляет улицы, я осторожно вывожу из депо

свой трамвайный поезд. Мой путь далек, — еду в Озерки. Еще не зажглись светофоры, пусты проспекты, я набираю скорость. В Озерках мои новые вагоны сразу же заполнит толпа. Это рабочие, я повезу их к Металлическому заводу, к «Электроприбору», к «Путиловцу», к Северной верфи. Летом я очень люблю свой маршрут — в Озерки едут женщины с детьми, молодежь — купаться, загорать, отдыхать. Мои маршруты приближают к городу зеленую рощу Шувалова, прохладу Суздальских озер. А как оглушительно пахнет мой вагон, когда еду обратно, — у всех в руках огромные букеты цветов, словно цветочная клумба, словно целая оранжерея мчится по улице. Прохожие тогда останавливаются и мечтательно смотрят на мои вагоны. «Ах, весна!» — вздыхают они.

Светает, светает, уже гаснут фонари на Конюшенной. Осторожно я вывожу автобус из гаража. Ночью автобус вычистили, вымыли. Он сверкает сейчас, мой голубой стоместный красавец! Таких автобусов еще нигде нет. В Москве они застрянут на любом перекрестке. Только на ленинградских широких улицах может стремительно мчаться голубая стоместная машина.

Гудки гудят за Невой. Можно потушить фонари. Служащих еще не видно, нужно успеть подмести. Я счищаю скребком снег с тротуара, скалываю лед. Около моего дома должно быть чисто.

Гудит гудок, я глохну от его дикого рева. И сразу же цех заполнен бормотанием и шумом станков. Я пускаю мотор; резец, поскрипывая, входит в металл; ползет, свиваясь в кольца, стружка.

Скоро десять. Продавцы торопливо расходятся по прилавкам. Я последний раз обхожу свой магазин — все ли готово? Звонок, швейцар распахивает двери, и весь огромный Дом ленинградской кооперации заполнен шумом — кровати, галоши, папиросы, пальто, чернильницы, электрические лампочки, нитки, чайники, унитазы, туфли, лыжи, детские санки, — кипит торговля.

Скоро десять — на кухне уже пахнет борщом, в зале официантки накрывают столы белоснежными скатертями. Все ли готово к обеду первой смены? Я проверяю — есть ли нарзан? Привезли ли пирожные?

Скоро десять. Начало первого сеанса. Я обхожу фойе, осматриваю выставку — Чапаев, борьба с Колчаком, Восточный фронт. Сегодня четыре дневных сеанса для детей, вот уже на лестнице шумят, смеются и кричат ребята.

Кто же это — я?

Ленинградец.

Я работаю на заводе, я веду трамвайные поезда, я продаю хлеб в булочных, я регулирую уличное движение на перекрестке улицы 3 Июля и проспекта 25 Октября, я на Южной водопроводной станции слежу за очисткой воды.

Я очень люблю свой город.

Мне радостно, что только за последние четыре года мой город получил 600 новых трамвайных вагонов, 151 автобус, 1 миллион квадратных метров мостовых, 3 новых моста, 67 километров трамвайных путей, 155 километров водопровода, 10 000 электрических фонарей, 100 гектаров тенистых и прохладных садов, 7 новых бань, 4 механизированных прачечных-фабрики.

Когда после работы я иду домой, я вижу, как делается чище, благоустроеннее, красивее мой город!

В моем городе сократились эпидемические заболевания на 30 процентов, а заболевания туберкулеза на 41 процент. В моем городе 127 закрытых амбулаторий, 572 заводских приемных пункта, 915 квартирных врачей обходят больных.

В моем городе 335 000 детей учится в 287 школах. Их обучает 11 000 педагогов. Только осенью 1934 года школьники получили 3 миллиона новых учебников.

В моем городе 58 вузов и 102 техникума. 100 000 студентов учится в Ленинграде — будущие инженеры, врачи, геологи, учителя, музыканты, агрономы. В Индустриальном институте, одном из самых больших учебных заведений мира, учится 10 000 студентов. Их обучают 96 профессоров и доцентов.

В 1913 году чемпионом России по лаун-теннису был граф Михаил Николаевич Сумароков-Эльстон.

Сейчас в Ленинграде, в бывшем Петербурге, где спортом занимались только студенты особо привилегированных учебных заведений и скучающие князьки, 250 000 физкультурников; 200 000

человек сдало нормы «ГТО»; огромные великолепно оборудованные стадионы им. Ленина, «Динамо», «Путиловца».

В моем городе 43 театра. В библиотеках моего города постоянно берет книги 1 миллион читателей.

Короленко говорил — «Человек создан для счастья, как птица для полета». Мой город создан для счастливой жизни, для того, чтобы людям жилось весело, легко, беспечно.

Я написал бы поэму о моем прекрасном городе, если бы умел!



обыкновенный дом

Татьяна Тэсс

День кончился, сквозь стекло фонарей пролился первый свет, сумерки подмешали к белому его сверканию легкую, туманную желтизну. Шел медленный снег. Он двигался густо, но не бил в лицо, а только как бы встречался с ним, оставляя на коже нерешительный холодок.

От главной улицы расходились во все стороны разветвления. Это была поросль переулков, иногда разрастающихся в небольшие улички, окруженные корешками и отростками тупичков. Такая улица шла параллельно главной, повторяя все ее изгибы и повороты, но не заимствуя от нее ее звонкость, трамвайную ее грозу, полную громов и синих прирученных молний, отлетающих от проводов.

Улица была тихой и невысокой. Дома стояли вровень друг с другом, лишь изредка один из них вдруг задирал свою железную крышу, украшенную антеннами, и окна верхнего его этажа возвышались над остальными домами, открывая для жильцов живописную панораму карнизов, скатов, труб, детских мячей, застрявших в желобе, слуховых оконцев, из которых вдруг выбивались рукав или пола развешанных на чердаках рубах и простынь, совершенно твердых от мороза.

Но один дом все же нельзя было не заметить.

Виною этому, в основном, были часы. Большие электрические часы были вделаны в фасад дома. Они украшали его как герб. Они были неожиданны. Самый дом был тоже отличен. Небольшой, обдуманно аккуратный, он был веселого зеленого цвета, цвета здоровых листьев. Если сравнивать его с человеком, то это был бы свеже выбритый человек, стоящий рядом с людьми, заросшими щетиной.

Позади дома был подвал.

Оттуда доносились голоса. В подвале горела неяркая лампочка. Паренек лет двенадцати стоял в углу. Он стоял, высоко подняв руку, вытаращив круглые, детские глаза. «Клянусь отомстить страшной местью!» — сказал он хрипловато. «Клянемся!» — ответило ему несколько голосов. В другом углу стояли такие же ребята, без шапок, в коротких полушубках и валенках. «Клянемся!» — повторили они грозно.

Дверь в подвал вдруг открылась. Ворвались холодный воздух, ветер, пар. Женщина, закутанная в платок, появилась в дверях.

— Саня! — сказала она. — Саня, пора домой, сердце мое. Завтра еще будешь клясться.

Но Саня не слушал. Он поднялся на цыпочки, глаза его сверкали. «Мы отомстим, наша честь тому порукой!» — кричал он, размахивая руками.

— Саня! — женщина возвысила голос. — А завтра в семь часов кто будет вставать, — мистер Твистер? Айда домой, — спать пора...

Горестно оглядевшись, Саня побрел к выходу. За ним потянулись остальные. Они потушили свет и закрыли подвал на большой висячий замок. Медленно подымались они по узкой лестнице. Снег лежал неподвижно; от свежести он не скрипел под ногою, а только легонько потрескивал. Во дворе было тихо и просторно.

Равнодушие — одно из самых несоциалистических чувств. Человек, проходя по улице мимо упавшего забора, на ходу отламывает от него жердь и идет дальше, размахивая бессмысленной этой тростью. Вероятно, это неплохой человек. Может быть, это даже отличный производственник, хороший товарищ. Он просто абсолютно р а в н о д у ш е н к забору, к жерди, к улице. Ему в с е р а в н о, стоит здесь забор, или нет. У него нет хозяйского отношения к городу, в котором он живет, у него нет ощущения, что он может как-то перестроить, улучшить свой город, у него нет настоящей заинтересованности в этом.

Когда говорят: «городской актив», то это значит, что можно составить список людей, переставших быть равнодушными.

Равнодушие, — это явление, которое, пожалуй, особенно «обижает» нас в быту. Нас обижает, что продавщице совершенно безразлично, купим мы хороший товар или нет. Нас обижает равнодушие в магазине, в трамвае, в учреждении, равнодушие к растрате нашего времени, наших денег, наших нервов и покоя.

Еще уязвимей мы для тех обид, которые могут ожидать нас дома. Как часто мы приходим в ярость от безразличия управдома к жалобам, к просьбам и требованиям. Многие из нас смотрят на управдома просто с нескрываемой опаской. Спускаясь в некий потайной подвал, где, как правило, находится контора домоуправления, мы готовы ожидать всего. Главным образом, мы ожидаем неприятностей. Власть управдома неограничена. Он может увеличить плату за квартиру, закрыть ванную, заколотить парадный ход. Он может ухудшить вашу жизнь всячески.

Но вместе с тем среди нас самих, среди обиженных, есть немало таких же злостно равнодушных. Наша бытовая заинтересованность часто кончается за порогом комнаты, в которой мы живем. Коридор уже оставляет нас равнодушными. Нам безразличны кухня, лестница, двор с посаженным в нем одиноким деревом. Из этого безразличия рождается та настороженная разобщенность, которая нередка в наших коммунальных квартирах, равнодушие к покою соседа, нежелание быть зачинщиком какого-либо нового начинания в квартире.

И вот поэтому дом, о котором шла речь в начале, небольшой дом цвета свежих листьев, с электрическими часами, вделанными в стену фасада, — этот дом нам интересен, потому что он один из тех, в которых уже произошло некое воспитание бытовых чувств. Потому что весь быт этого дома настойчиво и обстоятельно строится, исходя только из одного соображения: как бы это сделать, чтобы вам и вашим соседям наиболее удобно, наиболее приятно жилось.

Что же представляет из себя этот дом?

Он отнюдь не принадлежит к той, довольно ходкой в нашем городе породе, которую принято называть домами-гигантами. Он и не из тех так называемых «доходных» домов довоенной постройки, где на фасадах стоят мордастые нифмы, подпирая огромную крышу, где в окна парадней вставлены цветные церковные стекла, а под первым этажом устроен подвал, ступенек двадцать вниз, предназначенный некогда для жизни наименее доходных квартиронанимателей.

Архитектор этого дома был человек ничем не замечательный. Он выстроил бесхитростное сооружение в два этажа, а во дворе пристроил к нему добавочный, более вместительный флигель. Получился дом, как дом, один из рядовых домов Красной Пресни, по улице Заморенова, 14.

И все-таки об этом доме стоит поговорить. Ничего особенного с ним не произошло, если не считать, что на московском конкурсе лучших домов этот дом занял первое место. Никакого потрясающего события в этом нет, и все же история и быт этого дома интересны и даже поучительны.

В столе у председателя жакта лежит альбом. Со школьной аккуратностью туда вклеены фотографии, диаграммы и текст, обстоятельно составленный наиболее склонными к литературе жильцами. Мы видим там снимки «до» и «после» ремонта, восстановленные лестницы, сияющие чердаки, отполированные двери, — мир красок, штукатурки, стружек, воинственный мир ремонта.

Но гораздо интереснее для нас история подвала.

В подвале лежали дрова. Путем сложных математических расчетов дровяную площадь удалось распределить экономней. В подвале зажгли свет и затопили печку. Туда поставили скамейки и притащили сосновые ветки, пахнущие лесом. Потом там поставили кино-передвижку. Потом привезли шкаф и уложили в него первые книги для домовой библиотеки. Потом там организовали драматический кружок. Кружок был пионерским, руководил им актер, живущий в этом же доме. По вечерам население двора, главным образом от десяти до шестнадцати лет, проваливалось в подвал. Поскидав ушанки, они размахивали руками и кричали грозные слова. «Клянемся отомстить, наша честь тому порукой!» — кричали они, заглядывая в текст. К концу вечера дверь открывалась, матери взывали с порога. Разгоряченные герои шли спать.

На школьные каникулы во дворе был устроен зимний лагерь. Деньги отпустило домоуправление. Никаких особых средств никто для этого не давал, домоуправление умудрилось завести свой собственный, самостоятельный культурный фонд. Был приглашен физкультурник, по утрам ребята, на радость всей улицы, выходили во двор для зарядки. Раздобыли коньки и лыжи. Руководитель водил ребят в кино и музеи. В соседней столовой внешкольного комбината на время каникул детям выдавали обеды и завтраки...

Каким же образом все это произошло? Кто взял на себя заботу о чужих детях всего двора, хлопоты, возню, настойчивую, повседневную работу? Это не было организованной массовой заботой государства. Это было, так сказать, выступление одиночки, забота отдельного человека, инициатива самостоятельная и настойчивая.

Ни один управдом в этом доме долго не уживается. Он не может справиться с темпом обслуживания, который здесь принят. Управдом сразу же сбивается с ноги. Через месяц выясняется, что он, в общем, только мешает. Центром дома является председатель жакта со своими добровольными помощниками.

Попробуйте поговорить с председателем. Это молодой парень, спокойный и очень настойчивый. Основная мысль, которая его занимает, — это «что бы такое здесь еще можно было бы устроить?». Часы? В коридорах всех квартир уже висят электрические часы, такие же, как на фасаде дома. Радио? Устроен свой радиоузел, передачи даются с учетом вкусов и склонностей жильцов. Кроме того председатель через посредство этого же радиоузла, находящегося в его квартире, имеет возможность общаться сразу со всем домом и громогласно «мылить голову» любому жильцу за какой-нибудь проступок.

Детская площадка? Уже есть. Фотоаппарат? Купили. Теперь нужно найти инструктора и можно открывать фотокружок. Патефон тоже купили. Что бы такое еще придумать? Летом нужно устроить душ и фонтан. Нужно отвоевать еще один подвал. В нем можно будет сделать столовую и клуб. И тира еще до сих пор в доме нет, обязательно надо сделать для жильцов тир...

Многим из нас доводилось вставать очень ранним утром и начинать свой рабочий день в тот час, когда мышцы еще густо наполнены сном, когда кажется, что вокруг тебя спит весь мир, и только одному тебе назначено встать и обречь теплое свое тело на движение, на холод, на непокой. Если человек не выспался, ему часто кажется, что жизнь не удалась. Он идет, чувствуя себя самым одиноким на свете. На ледяных улицах еще темно, они пусты, дышать от ветра трудно, кажется, что дышишь не воздухом, а облаками, сыростью, рассветом. И вновь приходит мысль, что жизнь, в сущности, не удалась...

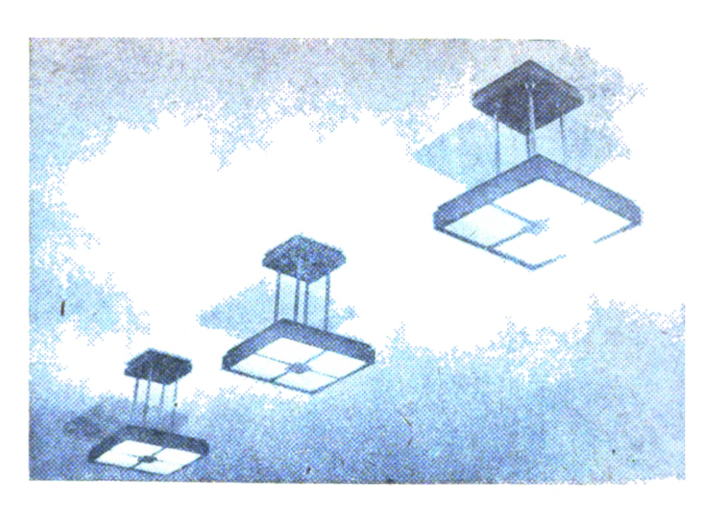
Но в это время, раскачиваясь и гремя, проносится первый трамвай.

Тогда становится ясно, что многим людям пришлось встать раньше нас. Встали кондуктора, вагоновожатые, стрелочники. Встали булочники, которые сейчас пекут нам хлеб. Встали дворники, расчищающие для нас тротуары от снега. Встали шоферы и почтальоны. Все они встали для того, чтобы нам было удобнее, — отряды, предназначенные для того, чтобы нас обслужить.

Мы много говорим о культуре обслуживания. В основном это сводится к поднятию квалификации занимающихся этим обслуживанием людей, к улучшению техники их труда.

Но есть высокая грань, где культура обслуживания переходит в подлинную заботливость. И в этом плане оказался показательным небольшой московский дом, о котором идет речь. Тяга к этой культуре обслуживания сосредоточена не только у одного человека, ведущего хозяйство дома. Он произвел некое воспитание чувств у многих своих жильцов. Они перестали быть равнодушными. Многое им не все равно. Это касается уже не только дома, в котором они живут. По всей улице Заморенова к каждому дому прикреплен один из жильцов дома номер 14. Это люди, которые приходят в чужие квартиры, в чужие дворы, коридоры, кухни, которые добиваются того, чтобы ваша, чужая им жизнь, была удобней, чище, нарядней, веселее.

Никакого особенного события здесь нет. Но рассказать об этом доме стоит.



без канделябров

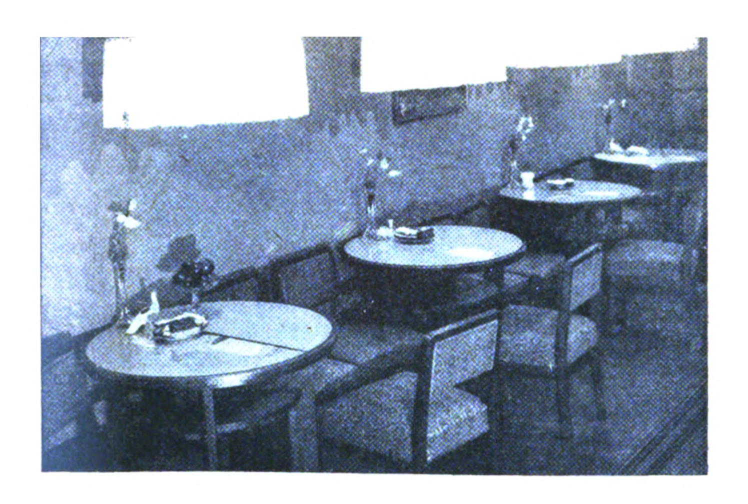
Беседа с тов. Черкасским — председателем правления клуба „Красный Деревообделочник".

В «Растратчиках» В. Катаева загулявший бухгалтер мечтает о «Soirée intime в семейном кругу с канделябрами и гобеленами». Мне почему-то всегда вспоминаются эти «канделябры и гобелены», когда заходит речь об уюте. У многих клубных работников выработался стандарт уюта — цветы, ковры и мягкая мебель. По-моему, это далеко не полное и не обязательное определение.

Клуб — место отдыха, отдыхать можно только в уютной обстановке. Отдых не бездействие, не спячка, а перемена работы, развитие тех способностей человека, которые остаются пассивными во время его профессиональных занятий. Поэтому создать уют в клубе, значит создать такую обстановку, которая помогла бы рабочему чувствовать себя непринужденно и давала бы простор для самой разнообразной деятельности. Вот, например, в комнате, где у нас занимается театральный кружок, на рояле лежат парики, на столах гримировальные принадлежности, баян валяется на диване, к зеркалу прикреплен эскиз грима для Егора Булычева, а на стуле стоят мольеровские сапоги с раструбами. Цветы и мягкая мебель отсутствуют. Но именно в этом легком беспорядке заключается атмосфера специфического театрального уюта. Было бы чудовищным, если бы мы заставили кружковцев репетировать, соблюдая музейный порядок. Также нелепо ставить мягкую громоздкую мебель и расстилать ковры в помещении, где люди бегают, танцуют и постоянно передвигаются... В техническом кабинете — конструктивная строгая мебель из некрашеного дерева, настольные лампы с зеленым абажуром и аскетическая простота. Здесь занимаются точными предметами, требующими большого внимания, поэтому в комнате не должно быть ни одной раздражающей глаз, отвлекающей внимание вещи. И, несмотря на крайнюю простоту, технический кабинет не производит впечатления бесприютного помещения, потому что всякая вещь здесь необходима, все продумано и максимально отвечает своему назначению.

Я вовсе не хочу опорочивать мягкой мебели, я не считаю, что ей в клубе не место. Плохи не самые вещи, а тенденция запихивать их повсюду. В фойе, в комнате отдыха нужны ковры, зеркала, мягкие кресла. В буфете неуютно без цветов. Уют — это целесообразность, полное соответствие обстановки с назначением комнаты.

Записала М. Дальцева



по домашнему

Беседа с тов. Родионовым, председателем правления клуба трамвайщиков им. Зуева.

При слове уют мне почему-то всегда представляется горячая печка, перед ней ковер, на столе шумящий самовар, вспоминаются лица старых товарищей... С уютом прежде всего связано ощущение «домашности». Надо ли бояться этой домашней атмосферы в клубе? Это вовсе не значит, что клуб должен как-то повторять обстановку комнаты рабочего. У нас совсем другие средства и возможности. Уют в клубе — это отсутствие казенности. Вот, например, сейчас мы устраиваем комнату отдыха для итээровцев и старых кадровиков. В сущности это будет технический кабинет, где люди смогут почитать специальные книжки, обменяться опытом, поработать над чертежами. Обычно в таких кабинетах заниматься неприятно. Поднимет человек голову, и сейчас же ему лезут в глаза шестеренки, тормоза, диаграммы, плакаты, как на работе. В нашем кабинете все необходимое для работы: модели, чертежи, сводки будут находиться в шкафах и выдаваться дежурным, а комната будет украшена картинами, скульптурами, коврами, обставлена мягкой мебелью.

Такой же подход и к озеленению клуба. Поставить пальмы — значит придать клубу казенно-ресторанный вид, менять каждую пятидневку оранжерейные цветы — никаких средств нехватит. Мы решили расставить домашние растения. Фикусы, кактусы, лимоны помогут людям чувствовать себя по-семейному.

У нас сейчас много говорят о культуре детали на производстве. Так вот, культура детали в клубе один из важнейших элементов уюта. Понятие уюта складывается из мелочей. В буфете у нас пол выложен плитками, и у посетителей получается ощущение, что они ходят в ванной. Очень неаппетитно. Мы застелили пол ковром. Раньше у нас пирожные лежали на досках сероватого цвета и, хотя они были чистые, есть было неприятно. Завели фарфоровые блюдца, на столиках расставили застекленные меню, официантам надели белые фартуки.

Такая мелочь, как объявления, может изуродовать весь клуб. Обычно их развешивают по всему клубу, нисколько не считаясь с общим видом комнаты. Теперь у нас все объявления сконцентрированы в одном месте.

У дверей нашего клуба стоит швейцар в форме с галунами. На совещании в МОСПС над этим посмеивались, мол

только булавы нехватает, а рабочие очень довольны. Они говорят:

— Входишь и знаешь у кого спросить, что сегодня кино или лекция, где занимается хоровой кружок, а раньше не то ночной сторож, не то человек из очереди к автомату, и бежишь на четвертый этаж за справкой.

Сейчас мы ввели форму для всего обслуживающего персонала и штаба клуба. Это также имеет отношение к уюту. Не все работники имеют хорошие, чистые костюмы. Уборщицы, например, всегда надевали на работу самые рваные и грязные платья. Теперь они ходят в аккуратных халатах.

Последний элемент уюта — это внимательное отношение обслуживающего персонала к посетителям клуба. Контролер должен рассаживать зрителей, не допускать сутолоки в зале и скандалов из-за мест. В клубе должны постоянно находиться дежурные члены штаба и давать посетителям все необходимые справки, следить за порядком. Полное ощущение уюта в клубе будет у рабочего только тогда, когда он почувствует заботливое отношение администрации.

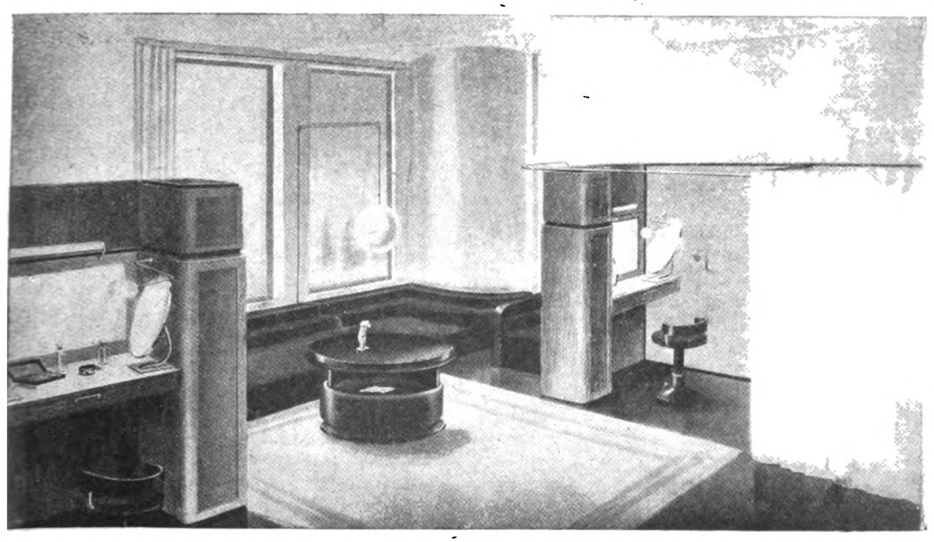
Записала М. Дальцева.



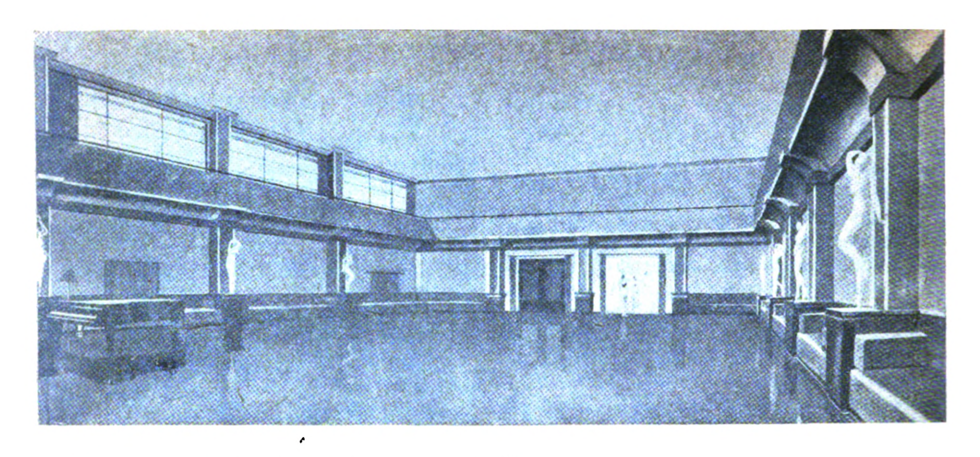
В Выборгском доме культуры (Ленинград).



Комната для актеров в клубе. Проект.



Записала М. Дальцева.



Обстановка меняет людей

Беседа с тов. Павловым—зам. председателя правления клуба строителей им. Дзержинского.

Наш клуб объединяет строителей. На производстве они постоянно работают среди грязи, пыли, под грохот железных балок, на холоде. Чистота, порядок, тишина, тепло, т. е. полная противоположность их производственной обстановке— являются элементами уюта. Но клуб это не только место отдыха, но и место культурного воспитания. Уют не только помогает отдохнуть, но и, как всякая обстановка, воспитывает человека. У меня есть несколько фактов, показывающих, как уют меняет людей.

Нельзя сказать, что до ремонта у нас в клубе был беспорядок — полы подметались, вещи были расставлены по местам, вентиляторы работали. Но все это было сделано приблизительно: кое-где не стерта пыль, кое-где сдвинута мебель, висит грязноватая штора. После каждого вечера наше помещение превращалось в свинарник. Заплеванные полы, по углам объедки, бумажки, папиросные коробки, в кресла заткнуты окурки. После ремонта мы решили соблюдать идеальный порядок. Все сверкает. В клубе нет ни одной пылинки. И оказалось, что в такой обстановке рабочий органически не может не только плюнуть на пол, но даже бросить бумажку, закурить в неположенном месте. И напоминать об этом не приходится.

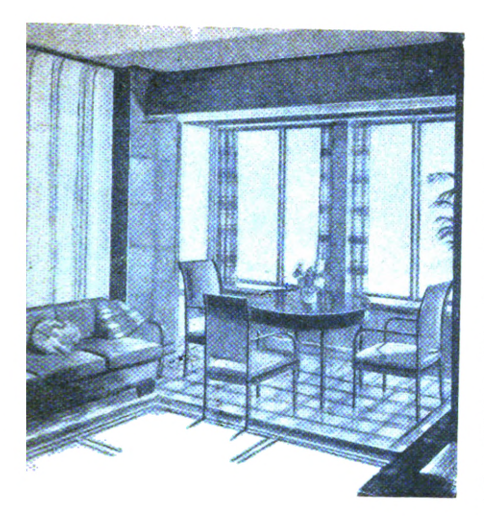
Как-то в клубе был большой вечер, и раздевалка была переполнена. Несколько рабочих запоздали, и гардеробщица предложила им пройти в клуб, не раздеваясь, но они не согласились, связали вещи поясами и оставили их без номера. Чувство порядка преодолело даже риск потерять пальто.

Заново ремонтируя помещение, мы заботились о том, чтобы гармонично подбирать цвета. В большом фойе у нас получилось не особенно удачно. Стены там мутновато малиновые, а портьеры зеленые. Несколько раз ко мне заходили рабочие и говорили, что это некрасиво, что портьеры надо переменить. На стенах у нас развешены по большей части неплохие картины. Однажды я услышал, как группа рабочих критиковала несколько грубоватый, сделанный в лубочном стиле, натюр-морт.

— Это что же? Все равно что гармошка!

Уют, заботливое отношение к обстановке создают возможности для сравнения, развивают вкус. По-моему, самое главное не в том, каким именно должен быть уют, где и какую мебель расставить, а в том, чтобы заставить обстановку изменять людей.

Записала М. Дальцева.



Гостиница Моссовета

Гостиница Моссовета, законченная еще только вчерне, уже пользуется всесоюзной известностью. Это одна из крупнейших строек столицы. В центре города, на месте снесенных лачуг Охотного ряда, возвышается огромное одиннадцатиэтажное здание, облицованное мрамором и гранитом. Снимки фасада гостиницы облетели все газеты и журналы Союза.

Сейчас строительство находится в наиболее сложной и ответственной стадии — внутренней отделки.

Гостиница будет показательной с точки зрения обслуживания и комфорта. От мелочи — водопроводного крана, мыльницы над умывальником или рисунка на фарфоровой чашке — до расположения комнат, системы внутренней связи, освещения и т. д. — здесь все подчинено одной задаче: обставить жизнь человека возможно удобней и лучше.

Естественно, что работы по оборудованию гостиницы являются целым этапом в развитии коммунально-бытового обслуживания в Союзе.

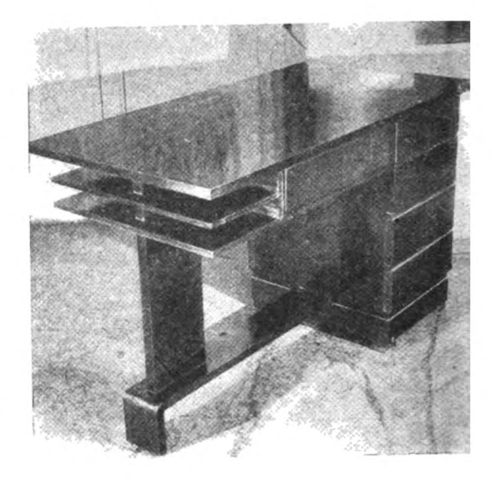
То, что на Западе достигнуто в деле обслуживания «избранных», в нашей стране воссоздается для миллионов.

На снимках:

Вверху — однокомнатный номер.

Внизу — зал ресторана гостиницы.

Гостиница Моссовета



На снимках:

Вверху: письменный стол в номере гостиницы.

Внизу: гостиная двухкомнатного номера.

Главный вестибюль гостиницы Моссовета.

Гостиная в коридоре.

форма и формула

Виктор Финк

В Москве, на Петровских линиях некогда помещался ресторан «Ампир». В качестве заезжего провинциала я попал туда однажды незадолго перед революцией.

У вешалки стоял бородатый швейцар в ливрее. С каким подобострастием снимал он с меня мое худое пальтишко! Как бережно он нес его к вешалке! Как деликатно взял он мои рваные галоши!

— Шапочку позвольте! — кланяясь и заискивающе улыбаясь, просил он, уже беря в руки мой картуз.

В зале сверкали люстры, сияли белые скатерти, цветы стояли на столах, пальмы у эстрады, дорожки и ковры стелились под ногами, играла музыка, лакеи во фраках разносили икру.

Это был, как я узнал впоследствии, купеческий ресторан. Лучшие представители «купецкой» Москвы охотно ездили сюда бить зеркала и мазать лакеям физиономии горчицей.

Дородный, усатый метр-д'отель в сослужении трех официантов склонился над моим столиком. Он держал голову набок.

— Чего еще не прикажете ли? — все спрашивал он.— Дозвольте служить растегайчиком!

Меня тошнило от назойливого подобострастия этих людей. Но они были неутомимы в подобострастии: они угождали, они ждали чаевых, они душевно готовы были «служить» растегайчиками.

Спустя очень короткое время мне снова довелось попасть в «Ампир». Я прибыл в Москву с фронта гражданской войны. У меня были мандаты необычайной длины. Одно перечисление видов транспорта, на которые я имел право при проезде из Киева, занимало не менее десяти строк. Речь шла не только об экстренных поездах, специальных паровозах и аэропланах, но даже о подводных лодках. Я приехал в теплушке.

Я имел право на вход в закрытую и высоко привилегированную столовую. Она помещалась в «Ампире». Однако, меня туда не пустили: билетов не было. Тогда я купил билет на углу, у чистильщика сапог.

Проникнуть в столовую, даже с билетом в руках, было не просто: очередь кончалась на Петровке, там, где сейчас цветочный магазин. Почти все, стоявшие в очереди, читали. Читал и я, продвигаясь вперед. Внезапно кто-то резко сорвал у меня с головы картуз. Я вскрикнул от неожиданности. Оказалось, я уже в ресторане, у вешалки. Знакомый швейцар,— уже без ливреи,— держал мой картуз и совал мне в руки номерок и ржавую, мокрую, поганую жестяную ложку. Картуз оставался у него — в залог за ложку.

Меня окружала невообразимая грязь и запустение. Очередь людей с ложками выстроилась перед прилавком. На прилавке стоял большой бак с похлебкой и жестяные, отталкивающего вида миски. Здоровенный усач разливал похлебку в миски и высокомерно отпихивал их от себя. Это был старый метр-д'отель. От толчка содержимое разливалось, на прилавке держалась лужа, нельзя было подойти близко, не испачкавшись.

Я не успел доесть, как подошла уборщица, собиравшая пустые миски. Она кончала свой обход, я был последним. Ей не хотелось подождать, пока я доем, она выдернула у меня миску из рук и ушла, нисколько не обращая внимания на отборную брань, которую я сыпал ей вслед. Она обернулась только один раз.

— Ничего! Ничего! — сказала она.— И так хорош будешь!..

И удалилась.

Подобострастие и наглость — естественные функции старой челяди, воспитанной на чаевых и мордобое. Мир делится на две категории: перед одной надо лебезить, второй можно хамить,— она «и так хороша будет».

Усач был со мной нагл, когда я стоял перед ним в толпе голодных, а он кормил меня бесплатным обедом. Тогда социально господствовал он надо мной. Усач был подобострастен, когда я давал на чай: тогда господствовал я над ним.

Что сделается с подобострастием и наглостью в нашем обществе? Очевидно эта мелкая разменная монета из казны социального неравенства должна рано или поздно исчезнуть: закрыта биржа, нет котировки.

Но что придет на смену? Очевидно, не просто новая форма обслуживания, а новая формула. Какова она будет? Нечего торопиться с похвальбой. Новая формула — еще не утвердилась. В городах чаевые еще очень многое определяют в отношении обслуживающего к его клиенту. Но новая формула уже проглядывает.

В Кашире, в ресторане, где некогда веселились акцизные чиновники, и где уездные интеллигенты заедали мировую скорбь селедкой, за столом сидел пожилой колхозник. Он читал меню и ничего не понимал. Надел очки, тоже легче не стало: меню было изложено,— увы,— на еще не устаревшем языке великого Баттеля: «суп о-шу а-ля портюгез» чередовался с «беф буйли а-ля мод». Колхозник сидел растерянный. Он напоминал анекдотического англичанина, который среди заковыристых ресторанных псевдонимов тщетно разыскивал телятину и в конце концов заказал официанту принести «мясо ребенка жены вола».

Тогда к колхознику подошла подавальщица и взяла из его рук меню.

— Плюнь ты на них, дядя,— сказала она,— что они по-образованому пишут. У нас повар с дурью. Остатки психологии у него. Суп о-шу это — борщ и, действительно, правильный борщ, ничего против сказать нельзя. Ты с косточкой любишь, с мозговой? А беф буйли, так оно же просто мясо! Я тебе пожирней кусок положу. Или постного дать?

Она ушла. Из кухни было слышно, как она ругала повара и выбирала куски получше для своего гостя.

Пустяковый случай, но показательный: подавальщица не могла ждать чаевых. Ее желание хорошо обслужить деревенского дядьку зиждилось на простом ощущении своего с ним равенства, которого она не хочет и никто не может разрушить.

На другой день я был у этого колхозника в гостях. Была весна. Разгар трудовой ярости. Огородницы вызывали на соревнование полеводов. Огородницы грозили полеводам, что окончат свою работу раньше срока на три дня, и этим посадят их, полеводов, как капусту. Полеводы отвечали: что «слабо», что они сами управятся с посевом на пять дней раньше срока, а потом вспашут огороды и засеют их крикливыми бабами, так что осенью на огороде девки вырастут. Страсти горели.

Я заглянул на кухню. Там работали с самого рассвета.

— Еще на поле когда взойдет, а кушать людям давай ко времени,— резонно говорила командирша кухонной батареи.

И вот настало время обеда. Обедали под навесом на вольном воздухе.

Сервировка, пожалуй, была хуже, чем в «Ампире» купеческих времен. Серебряных ложек я не заметил. Нельзя сказать, чтобы и разносолы были особо тонкие. Но у навеса висели умывальники, полотенца. Командующая кухней следила, посматривая из-под бровей, чтобы все мыли руки перед едой. И вот подавальщица несет еду!

Ну, что такое подавальщица? Казалось бы, последний, самый последний винтик в общественном механизме! Но подавальщица — веселая, хоть и пожилая тетя,— поставила лучшие приборы перед ударниками. Войдя с громадным котлом дымящегося жирного борща, она первыми обнесла ударников: пусть берут вершки, вершки жирней.

Это и есть новая формула обслуживания. Она вытекает из новой формулы социальных взаимоотношений, из нового классового чувства.

Но в эту новую формулу нужно вложить новое качество. Надо думать, что у нас во всех отраслях, в том числе в области бытового обслуживания, будет достигнуто высшее качество: за него борются новые миллионы.

В городе Харькове вас не впустят в гостиницу, пока вы не пройдете через так называемый санпропускник. Раньше чем получить ключ от комнаты, сходите, примите душ и принесите справку, что вы, действительно, были в воде.

Ну, что ж, пускай так! Но самый этот санпропускник отталкивает своей грязью. Вам страшно положить в уголок ваше платье. Ничего, однако, не поделаешь! Культура — это чистота! Мойтесь! Скажем, однако, вы поговорили со сторожем,

вы сунули ему в руку два рубля, вы откупились от санпропускника и бежите к швейцару с заветной «липой» в руках. Вот ключ от вашей комнаты. Если вы чисты—пожалуйте! Чистота—это культура!

Но в комнате на двух пассажиров — одно полотенце. Но водопровод не работает. Но умываться будете в коридоре из наливного и неисправного мраморного умывальника.

Не работает в гостинице и канализация. Не надо спрашивать, где находится уборная. Об этом можно догадаться за версту по тяжелому воздуху. Такова гостиница «Новая Россия».

Трудно мириться с этим тупым свинством. И прежде всего напрашивается вопрос: как оно могло уцелеть в таком прекрасном, благоустроенном городе, как Харьков?

Но если эта клоака существует, то в какой-то мере виноваты и сами пассажиры: почему они терпят? Ведь стоило бы поднять голос, и эта гостиница, столь незаслуженно аттестующая себя «Новой Россией», была бы приведена в такое же состояние, как и прочие харьковские отели, кстати сказать, не оставляющие желать ничего лучшего. Но гостиничные пассажиры — птицы перелетные. Один приехал на день из Батума, другой на два дня из Мурманска. Каждый занят по горло, спешит, устал. Никому неохота бегать к прокурору или в комиссию контроля, требовать, чтобы выяснили, кто такой ответственный руководитель клоаки, кто он в прошлом, чем этот организатор неуважения к советскому потребителю занимался раньше, кем он был и почему считает, что советский пассажир «и так хорош будет» в его клоаке. Никому неохота возиться. Гостиничный пассажир останется последним носителем индивидуалистической психологии.

Есть однако одна разновидность даже и временных жильцов, которая активно борется за свое временное жилье, за качество обслуживания. Это — жильцы Домов колхозника. Не надо приводить в пример Центральный московский. Он обязан быть на высоте. Поедем дальше. Автору этих строк довелось жить в Доме крестьянина в таком далеком городе, как Никольск-Уссурийский. Должен признаться, что отправился я в Дом скрепя сердце и только потому, что в гостинице не было мест. Но я нашел чистое помещение и постели с чистым бельем. При доме есть читальня, чайная, радио, консультация агронома и ветеринара, дежурство члена совета, агровыставка.

Между этим Домом и старорежимным заезжим двором разница не просто качественная, а принципиальная, определить которую можно только словом «революция».

Я беседовал с постояльцами, с администрацией. Выяснилась простая, незатейливая вещь: не хотят колхозники жить по-свински. И все тут!

— Ну, что ему, скажите, надо? Подумаешь, мандарин какой выискался, — шутя сказал мне один из работников. Дома.— А, вот, подите же: чуть что не так,— газет, скажем, нет, или белье не свежее, или еще что — сейчас давай жалобную книгу,— прямо в драку лезут...

—

В прежние времена в парикмахерских брили и, попутно, норовили снять с посетителя шкуру. Ему настойчиво навязывали одеколоны, пиксафоны, всякие массажи, втирания. Бритье норовили влить вместо двухгривенного в пять с полтиной.

Сейчас эта система упразднена. Всюду есть прекрасные парикмахерские, т. е. такие, где действительно чисто, светло, уютно. В дополнение ко всем этим качествам персонал обходителен и вежлив и, хотя и любит, чтобы заказывали пиксафон и бриллиантин, но все же не этим измеряет свое отношение к посетителю.

Однако, нет-нет, и вдруг наскочите на парикмахерскую, где вас только побреют и постригут и — больше ничего.

И до какой степени «больше ничего». Вас постригли, но вы уносите ваши волосяные обрезки с собой: часть вам засыпали за воротник, часть высыпали в лицо при вытряхивании простынки, остальное оставили на голове. Вы отказались от «пиксафончика» и «одеколончика»?! Ладно! Вас даже не причешут! Вы так и уйдете с взлохмаченными волосами.

Так было с автором в парикмахерской в самом центре Москвы, у Петровских ворот. В чем дело? За кого принимал меня парикмахер, что обошелся со мной, как некогда обошлись в ресторане на



В хлебном магазине

Рис. В. Эльконина

Петровских линиях, т. е. по знаменитой формуле «и так хорош будешь»?

Я ушел, размышляя о социальной природе свинства.

Я приехал в колхоз — это было в Биробиджане, на Дальнем Востоке,— с намерением повидать моего приятеля—бригадира трактористов.

— Во-о-от едут! — сказали мне, указывая на облако пыли на горизонте. Мой приятель явился в неузнаваемом виде: парень провел десять суток в поле, спешно заканчивая пахоту. Он оборвался, испачкался, а главное, оброс до неузнаваемости. Лицо казалось еле-еле вправленным в комок шерсти.. За ним шла ватага таких же красавчиков. Их было человек десять-двенадцать. Но эти испачканные, замызганные, утомленные и обросшие люди были мастера урожая!

Баня была для них заготовлена заблаговременно. Парикмахер-переселенец отказал всем своим клиентам, ожидавшим в очереди:

— Раньше надо ребят побрить.

Колхозный парикмахер не получает чаевых. Ему, казалось бы, все равно кого брить — трактористов, прибывших с поля, или бухгалтера, обросшего в конторе.

Но тут-то она и сказывается — новая формула культуры и обслуживания!..

В колхозе, в маленькой лаборатории бесклассового общества, завтрашний день страны, его новая этика, его новые принципы бытовых взаимоотношений уже различимы. Не трудно увидеть и новую формулу обслуживания. Это — взаимные услуги людей, которые равны, потому что никак друг от друга материально не зависят.

Вопрос оборудования? Но это уж, как говорится, дело наживное. Страна богатеет не по дням, а по часам. Благосостояние населения возрастает на глазах у всех. Как бешено ни росли бы потребности, но нам все больше и больше становится по средствам оборудовать их материальное удовлетворение.

Пройдет еще какое-то время,— вероятно, не очень большое,— и советская жизнь будет так хороша, как и не снилось. К тому оно идет!

Но раньше, чем жизнь сделается так хороша, стоит все-таки присмотреться повнимательнее к тем, кто на каждом шагу желает внушить советскому гражданину, что он будет «и так хорош».

Каким образом попадает в продажу хлеб с запеченной веревкой? Кто-то на заводе небрежен, — мол, потребитель «и так хорош будет!».

Как попадает в магазин пиджак с рукавами разной длины? На фабрике тоже кто-то считает, что чорт его не возьмет, потребителя, «и так хорош будет».

Почему выходят книги с опечатками? В типографиях тоже плевать хотели на читателя — «и так хорош будет».

Какова природа этого свинства? Не слишком ли часто мы объясняем его некультурностью, темнотой, невежеством?

Ненужная снисходительность!.. Позади каждого дурацкого правила, позади каждого неработающего водопровода, грязного полотенца, опечатки, непарного рукава и ржавой селедки стоит ответственный живой человек. Надо в каждом отдельном случае знать, кто он и что он, чтобы понять, имеем ли мы дело только с некультурностью или с коечем другим.

Старая челядь, которая хамит во всех случаях, когда думает, что не надо лебезить, сохранилась в бурях эпохи.

Она сидела на кухне, когда на дворе бушевал ураган. Огонь ее не ожог, вода не замочила, и ветры не овеяли.

Пусть не говорят, что она сама — жертва еще неизжитой темноты. Неверно это! За семнадцать лет все глаза открылись. В деревнях восьмидесятилетние старухи учатся грамоте. Невинной темноты уже нет. Есть нежелающие видеть, упорствующие в невежестве и злобствующие в темноте. Для них скверное обслуживание советского потребителя,— там, где это удается, — своя маленькая классовая борьба.

Могучая страна пробудилась для жизни. Она строит новый мир, новую культуру. Она хочет трудиться и радоваться.

А сбоку стоит кто-то, ничтожный, но злобный, — кто хочет сорвать и труд и радости.

— И так хороши будете! — ворчит он, стараясь подсунуть, где можно, свою мерзость.

Не будем к нему снисходительны! Не будем называть его мерзость некультурностью! Она — якорь, на котором хотят удержаться остатки разбитого мира!

Верное время

А. Меримсон, часовщик артели „Верное время"



Гравюра на дереве худ. Е. Авалиани.

Нас, часовщиков, почему-то показывают в литературе несколько таинственно. Часовщик — «хозяин времени». Возьмите хотя бы пьесу, идущую в МХАТе, — «Часовщик и курица».

Я же, как профессионал, могу сказать, что наше ремесло дает для этого еще меньше оснований, чем какое-либо другое. Определенное взаимоотношение частей механизма дает движение стрелок. Дважды два равняется четырем! Может быть поэтому у меня и нет увлечения своим делом. Опыт и точность! Я на слух могу определить правильность установки волоска. На глаз я вытачиваю деталь с точностью до одной сотой миллиметра. Я, пожалуй, с закрытыми глазами смогу разобрать и собрать часовой механизм. Мне кажется, что часовщики должны быть хорошими стрелками. При такой технике у меня работают только руки и глаза, ум свободен. Возможно, именно поэтому меня всегда интересовали какие-нибудь сложные, необыкновенные часы — часы-уникум. Однажды мне попались самозаводящиеся часы — они заводились от ходьбы. Но, разобрав их, я увидел, что это достигалось простым соединением механизма с шагомером. В Риге, где я работал до революции, меня очень заинтересовали башенные часы на Иоганнскирхен. Часы стояли уже много лет, и вокруг них создалась интересная легенда, рассказанная в специальной брошюре. Говорили, что это необыкновенные часы, которые делал старый часовщик-еврей. Вскоре после этого был погром, во время которого часовщику выкололи глаза. Сделал это будто бы староста кирхи, чтобы часовщик не смог больше создать вторых таких часов. Перед смертью слепой часовщик попросил разрешение в последний раз подойти к своему детищу. Когда его подвели к часам, он прикоснулся к ним, и с тех пор часы остановились навсегда. Мне очень хотелось осмотреть механизм этих часов и я был уверен, что его можно было бы починить. Получив рекомендательную записку от крупной немецкой часовой фирмы, я направился в кирху. Но часов мне так и не удалось осмотреть. Узнав, что я еврей, мне отказали в доступе к ним. Мне стало ясно, что, починив часы, я разрушил бы легенду и тем самым кирхен лишилась бы каких-то доходов от посещавших ее туристов.

Но я сказал бы, что и сейчас наше ремесло остается черной магией. Часовой мастер попрежнему универсал. Часовщик должен быть и токарем, и слесарем, и механиком. Все производственные операции проходят здесь через одни руки, и часовщик становится бесконтрольным хозяином над потребителем. Один вам скажет, что нужно сменить волосок; другой заявит, что все дело в аксе — оси для баланса, а третий еще что-нибудь. Раньше часовщики очень часто назначали плату в зависимости не от часов, а от внешнего вида клиента. Сейчас, когда часовщиков-одиночек сменяют организованные артели, дело несколько улучшилось, но по существу навыки в профессии остались те же. Если раньше направо от часовщика была модельная обувь, а налево шляпы, то сейчас, в артели, и налево и направо от него сидят тоже часовщики. Но каждый из них сидит за своим верстаком и со своим набором инструментов, повторенным столько раз, сколько часовщиков в комнате. От соединения двадцати часовщиков в одной мастерской ни в какой степени не изменились методы их работы. Они попрежнему одиночки-универсалы. На любом производстве такое положение казалось бы диким, а у нас оно считается непреложным.

Что значит почистить часы? Их нужно разобрать, опустить на некоторое время части в бензин, затем отполировать стальные части и собрать ход. Эта операция занимает около двух часов. Из них только тридцать минут уходит на действительно ответственную работу, на налаживание хода, где нужен квалифицированный мастер. Остальные же операции может проделать человек, который пробыл в мастерской не более двух месяцев. Что же получается? Получается удорожание ремонта, так как мой час стоит значительно дороже и непроизводительна трата моего времени. Инструмент, которым мы работаем, в большинстве импортный, и некоторые станки стоят чрезвычайно дорого. Если мы введем разделение труда в наше дело, то всего этого набора инструментов будет вовсе не нужно иметь каждому. Два-три ответственных станка обслужат всю мастерскую, а сейчас они должны быть у каждого и используются чрезвычайно нерационально. При разделении универсального труда часовщика на квалификации чистильщика, полировщика, токаря и т. д., у ка-

ждого квалифицированного мастера освобождается много времени, которое он тратит сейчас очень нерационально. Это позволит нам обслужить значительно большее число клиентов. А ведь на всю Москву, на этот огромный город, имеется нас всего восемьсот человек. И очень часто человек, имеющий еще сравнительно сносные часы, не может их починить. Ему возвращают их после осмотра и говорят, что их чинить не стоит. Удивленный и любящий свои часы человек ходит безрезультатно из одной мастерской в другую и получает один ответ — не возьмем. А не берут потому, что предпочитают чинить новые часы от легкого насморка, чем почтенного старого ветерана, уже порядком послужившего своему хозяину.

Часы играют огромную роль в быту, в строе, в науке, а до сих пор никто всерьез не продумал организацию нашего труда, от которой, собственно говоря, и зависит лучшее обслуживание потребителя. По методам своей работы современный, советский часовщик очень мало отличается от какого-нибудь часовщика в средние века. Я пытался эти мысли по поводу нашего ремесла протолкнуть дальше, но покамест это не удается. Может быть, это потому, что до сих пор еще не изжита в сознании наших мастеров прежняя психология кустаря, который любил получать не за то, что он сделал, а, главным образом, за то, чего он не делал.

Записал М. Попов.

Из оранжереи на улицу

Ф. Ребок, садовник Треста зеленого строительства

Старый немец, научивший меня любить садоводство, был очень ценный человек в моей жизни. Он умел понять растение как живого. Он говорил: «Легче выучиться играть на скрипке, чем правильно работать лопатой!» Садоводство — красная линия моей жизни. Я всегда очень любил свое дело, но теперь я вижу благодарность за эту любовь. Мое дело очень уважают в стране.

Мы озеленяем заводы, фабрики, улицы. Мы высадили в Москве 250 000 деревьев и до 1 500 000 кустарников. Из разных мест нам везли молодые тополя, остролистные клены, красивые кустарники. У нас большой питомник в Останкине, но зелени нехватает, и уже заложен гигантский питомник в Обираловке. Прошлым летом мы роскошно убрали Краснознаменный завод № 39, автозавод им. Сталина.

Я люблю свою работу, но в моей жизни был момент, когда мне было неприятно ее делать. Это было в Петербурге, где я работал в оранжерее Министерства внутренних дел. Меня вызвал сам Дурново и приказал в очень короткий срок «озеленить» его квартиру — превратить ее в зимний сад. У него должен был быть большой раут. Это было в 1905 году, когда шло всеобщее волнение, и в Москве расстреляли Пресню.

Я работал раньше по оранжерейному садоводству. Были у меня и свои увлечения. Я добился интересных гибридов. Аморелис — типа лилии — от красного до чисто белого. Меня интересовала чистота колера и красота линий. Но это, по сравнению с моей теперешней работой, было узкое дело — радость для себя.

Ландшафтное садоводство, которым я сейчас занимаюсь, дает мне простор в творчестве. От миниатюры я перешел к большой картине. Мы создаем совершенно заново замечательные вещи: Зеленый город «Правды», дом отдыха в Прозоровке, тушинский аэродром... В Прозоровке нам удалось акклиматизировать южный, пирамидальный тополь. В Тушине мы на пустом месте сделали прямо сказку. Мы устроили декоративные откосы, высадили деревья, разбили цветники. Как не увлечься такой работой? Я стал энтузиастом, хоть мне и шестьдесят семь лет.

Мы перешли на посадку взрослых деревьев. Молодые деревца часто не выдерживают города — хиреют. Мы стали охотниками за деревьями. С нашей помощью начинают путешествовать леса. Пересадка взрослого дерева и его транспорт обходятся дорого, и нужно быть очень внимательным к нему. Если вы из лесной гущи, из тени пересадите дерево в город и откроете его солнцу, то его организм не сможет переработать столько света—дерево сгорит. При пересадке дерево должно получить прежние условия, и его нельзя сажать глубже, чем оно было раньше. Каждое дерево у нас имеет паспорт. Часть корней неизбежно портится при перевозке, и нужно поэтому обязательно срезать часть кроны дерева, чтобы корень не перерабатывал, земля должна так облегать корень, чтоб не было и кусочка пустого места возле него.

Человек, любующийся новым деревом, и не подозревает, сколько забот потрачено на него. Вся моя работа устремлена к удовлетворению человека, но я обслуживаю растения, а уже они несут мою заботу дальше.

Записал М. Попов.

В парикмахерской

Мастер А. Татушин, парикмахерская НКИД в Москве.



Гравюра на дереве худ. Ив. Засенина.

В работе мое первое дело — внимание, качество, любезность. Клиент у нас очень чуткий и сразу замечает, как его обработали. Моя парикмахерская находится на Кузнецком мосту и обслуживаем мы в большинстве наркоминдельцев и чекистов. В нашей работе хорошо обслужить клиента — это значит дать ему наивысшее качество. А получаем мы сдельно — определенную сумму от каждой операции. И что же выходит? Я, скажем, органически не могу работать плохо, мне натура не позволяет. А у другого натура желает только выгнать побольше. Покамест я, со своим качеством, одного-двух клиентов отпущу — другой уже с тремя обернется. И выходит я в дураках — и бригадир, и квалификация выше, а заработок меньше. У меня таких случаев сколько угодно.

На заводе эта сдельщина по-другому проходит. Иной, может быть, и рад вместо тысячи две тысячи деталей выдать, но как только он начнет «выгонять», не смотря на качество, так его детали и начнут браковать, и это его же по карману ударит. А у нас бракоделов выявить трудно. Один способ — жалобная книга. А бывает часто клиент хоть и недоволен, а затаит свое недовольство про себя и просто не пойдет к этому мастеру во второй раз. А мастеру и горя мало — все равно на него клиентов хватит. Этот мастер и в другом отношении клиенту неприятен — он назойлив очень. Предложить одеколон, или компресс, или мытье головы он обязан, а навязывать не должен. А если он сам себя не уважает, то клиент его и тем более уважать не станет.

Есть у нас трудные и редкие довольно операции — завивка, бобрик, борода. У иного мастера никакого опыта по ним нет, а он все-таки берется по своей самонадеянности. Посадит клиента, а потом и стушуется — лишь бы ссадить. В дальнейшем такой клиент уже специально меня дожидается. Образуется у меня постепенно свой круг постоянных клиентов. А уж если у клиента ко мне особое доверие, я никак этого доверия нарушить не хочу, и занимаюсь с ним в полной мере, не глядя на время.

Вот сами и посудите — как из этого положения выйти? Надо, очевидно, по-другому оплату перестроить. Сейчас в Союзе разрабатывают новые ставки, может и уладится в дальнейшем.

Теперь относительно квалификации. Бритье как будто операция простая, а и то зависит от подготовки. Прежде всего нужно свой инструмент знать. У каждой бритвы ведь свой каприз. Я, например, направлю раз на мастике, а потом уж работаю с «дамкой». «Дамка» — у нас называется кусок пожарного рукава, брезент, который мы особым образом обрабатываем. Если бритва остра, на ней волос, чуть прикоснетесь, должен распасться.

И все-таки одних технических приемов мало для того, чтобы быть настоящим мастером. Настоящий мастер, получая от клиента заказ, мысленно как бы прежде представляет по этому заказу. Требует клиент стрижку «бокс», а мастер прикинул в уме, и выходит, что при такой форме головы для клиента «бокс» — одно безобразие выйдет. Или придет с бородой клиент — просит на щеках снять побольше, а у клиента на левой щеке впадина, и если много снять, получится лицо несимметричное. В таких случаях мастер должен спокойно убедить клиента и помочь ему разобраться.

Вот в такой заботе о клиенте и складывается настоящий мастер.

За последние годы требования у клиентов очень повысились. Это везде одинаково, и у нас, и в доме колхозника, и на окраинах. Люди научились через труд уважать себя. А при уважении к личности получается интерес к своей внешности, и в этом мы должны всячески итти навстречу.

Записала М. Павлова.

„Театр начинается с вешалки"

В. Крупицын,
гардеробщик
Малого театра



Гравюра на дереве
худ. Ив. Запевнин.

Я прихожу в театр в шесть часов, смахиваю метелкой пыль с вешалки, проверяю, есть ли мелок для галош. Спектакль начинается в половине восьмого, но уже за час до начала могут появиться люди. Так рано приходят провинциалы, старички с окраины, которые выбираются в театр раз в год. Им интересно посмотреть самое помещение театра. Вот для этих людей я бреюсь каждый день.

«Театр начинается с вешалки». Эти слова К. С. Станиславского лучше всего определяют нашу работу. Когда публика, по нынешнему зрителю, приходит в театр, нужно, чтобы она с первой минуты, снимая пальто, почувствовала себя иначе, чем в учрежденческой раздевалке, чтобы сразу настроение появилось праздничное. Я стараюсь быть внимательным к зрителю. Вот, например, такая мелочь. Я всегда проверяю билеты. Бель-этаж или партер, правая или левая сторона — все это имеет значение после окончания спектакля, когда человеку, раздевшемуся не на месте, приходится пробираться через толпу, спешащую на трамвай.

В сущности мы обслуживаем спешку.

За десять минут до начала спектакля зрители начинают валить густой толпой. Они торопятся, шумя, забывают номерки и бинокли и, толкаясь, спешат в зрительный зал. Не успеет опуститься занавес, как из зала бегут, страшно стуча ногами, люди. Около барьера выстраивается очередь, и у меня начинается работа на быстроту. Беру номер — три шага к вешалке (место каждого номера знаю наизусть, можно работать с закрытыми глазами), в правую руку шубы, в левую галоши и — к барьеру. Двадцать минут я мотаюсь, ровно как маятник от барьера к вешалке, от вешалки к барьеру. Это тяжелее целого рабочего дня. Чувствуешь, как люди торопятся, и очень трудно удержаться, чтобы не суетиться самому, не нервничать вместе с ними. Наконец, вешалка пуста. Я нахожу на полу выскочившее из кармана удостоверение, перчатки, на вешалке лежат забытый сверток. Я собираю эти вещи и несу к коменданту. Завтра за ними придут люди.

Записала М. Дальцева.

У бензиновой колонки

Ответ. продавец
тов. Широков

Еще несколько лет тому назад бензиновая колонка была редкостью в Москве. В театре, что на Чистых прудах, я видел пьесу «Вершины счастья». Там показана американская бензостанция в Америке. Правда, дорожные станции у американцев оборудованы лучше наших — у них кафе, гостиница, авторемонтная мастерская. Но и у нас будет такое же оборудование, будет еще лучше. Это время не за горами.

Мы работаем круглые сутки, круглый год. В любое время шофер, сдав талон продавцу колонки, может получить зонное количество литров бензина. Со стороны может показаться, что в нашей работе ничего сложного нет,— вы видите человека, который, накачивая бензин, подняв голову, смотрит на черточки деления бака. Но это не так просто. Правда, то, что приходится накачивать ручным способом горючее (это забирает время, мое и шоферов), в какой-то мере создает очередь машин.

Моя станция наиболее оживленная — Киевский вокзал. Грузовики, автобусы, автомобили, мотоциклы непрерывной лентой движутся у колонки к ее хоботу, по которому течет бензин в автомобильные баки. Моссовет установил очередность пользования колонкой. Первая очередь — карета скорой помощи, пожарный автотранспорт, вторая очередь — автобусы. Третья — грузовики. Четвертая — легковые машины и мотоциклы.

Сейчас появился новый потребитель бензина, пока еще малочисленный. Это — трудящиеся, имеющие собственные машины. Это — именитые люди, которым правительство подарило машины, это, наконец, грузовики пригородных колхозов.

Записал М. Красностановский.

Под киноэкраном

А. Дубинский,
иллюстратор
кинотеатра
„Юный Зритель"



Гравюра на дереве
худ. Ив. Запенина.

Музыкальный иллюстратор в кино должен быть агитатором и пропагандистом хорошей музыки.

Эта работа требует больших специальных знаний. Человек, сидящий спиной к зрителю, обязан дать к немому фильму высокого качества музыкальную иллюстрацию.

Революция упразднила много обидных кличек и прозвищ. Среди них — тапер. Этим чрезвычайно оскорбительным словом определялись музыканты кино.

Я работаю двадцать два года, из них двенадцать лет — в этом театре. В кинотеатр я пришел с дипломом Московской консерватории, со званием, сейчас звучащим немного смешно,— свободного художника. Но в кино мне пришлось много, много учиться, чтобы стать отменным иллюстратором. На это ушли годы.

Наша работа проверяется зрителем. Сотни людей, которые сидят за моей спиной, — судьи и оценщики, суровые и привередливые.

Наша работа, в отличие от музыкантов эстрады, театра, где программа заранее составлена, оперативна и требует неустанного внимания к быстро сменяющимся кадрам и эпизодам кинофильма. Здесь недостаточна только одна музыка, здесь необходимо знание эпохи, времени, о котором идет речь. Бывает так, что фильм, повествующий, к примеру, о гражданской войне, трудно иллюстрировать потому, что подчас нет музыки, которая в какой-то мере совпала бы с содержанием картины. Тогда я пишу музыку на эту картину. Свою работу я строю, в зависимости от показываемых картин, на музыкальной компиляции или импровизации.

Музыка должна создать настроение, помочь зрителю прочесть подтекст кинофильма. Как правило, я иллюстрирую фильм произведениями композиторов, наиболее любимых зрителем. Это — Чайковский, Римский-Корсаков, Бетховен, Мусоргский, Шопен, Верди, Мейербер, Спендиаров, Ипполитов-Иванов.

Условия нашего труда тоже необычны. Мы не видим зрителя, играем в темноте, без нот, все время следим за экраном, учитываем каждое изменение кадра, плана, чтобы его соответствующим образом музыкально прокомментировать. Малейшее несовпадение музыкальной фразы с кадром режет ухо, глаз... Такие «накладки» непростительны.

Зритель требует хорошей музыки, он уже не довольствуется бренчаньем по клавишам. Музыка за последние семь-восемь лет стала достоянием широчайших масс.

Мне думается, что со своей работой я справляюсь, что моей музыкальной иллюстрацией зритель доволен.

Самое приятное для меня, когда после сеанса ко мне подходят зрители и благодарят за музыку. Это высшая для меня похвала.

В дни, когда идет звуковой фильм, я работаю микшером (режиссером звукового культа). Я регулирую звучание фильма. И здесь умение музыканта играет большую роль. Микшер должен быть музыкантом для того, чтобы тонко и точно слышать звук.

Музыкальная сторона звуковой картины дает мне очень много для иллюстрации немой фильмы.

Сижу ли я в будке микшера или за роялем — зритель меня почти не видит, но зато я его вижу хорошо. В своем театре я работаю двенадцать лет. Я люблю своего зрителя. Он так не похож на канувшего в небытие дореволюционного посетителя кино, приходившего в «иллюзион» позабавиться и удивиться. Сейчас зритель не только отдыхает, но через кино учится познавать нашу действительность. И я своей музыкой помогаю ему в этом радостном деле.

Записал М. К[illegible]

Чужое белье

О. Кавецкая,—
прачечная фабрика



Гравюра на дереве
худ. Ив. Запевина.

Моя профессия — приемщица грязного белья. Вы понимаете, конечно, что это не очень приятная работа, особенно после четырех часов. В утреннюю смену мы принимаем белье от организаций: ресторанов, больниц, детских домов, гостиниц. Утром работа веселей и проще. На лестницу мы кладем доски, и по ним с грузовиков, прямо на весы, рабочие скатывают большие тюки белья. Я только взвешиваю и записываю. Тут не о чем спорить, белье простое, стандартное, ну и, конечно, более чистое, чем у индивидуального клиента.

В четыре часа сразу становится вдвое шумнее. К грохоту вентилятора прибавляются разговоры и споры в очереди, которая выстраивается вдоль барьера. Мы же, приемщицы, с этого момента стараемся стать как можно молчаливее. Верно, что нужно уметь разговаривать с клиентами, но правильнее будет сказать, что нужно уметь обходиться без разговоров.

Конечно, если на рубашке метка пришита где-нибудь внутри рукава, тогда как ее место на внутренней стороне ворота,— приходится на это указать. Неправильно пришитая метка очень усложняет сортировку, а многие этого не хотят понять и постоянно фантазируют.

Работа моя особенной сложности не представляет. Со стороны так и вовсе можно подумать, что любую посади, и она мое дело в один вечер постигнет. Подходят по очереди гражданки и граждане, кладут свои узлы на весы, потом я их развязываю, раскладываю белье на кучки, одно к одному, выписываю квитанцию и принимаюсь за следующий узел. Чего проще?

А вот, если спросить Сергея Федоровича, нашего заведующего производством, согласится ли он нас, старых работниц, на новых обменять? Ни в коем случае. Да если посадить сюда свежего человека, так с частным клиентом сплошные недоразумения будут.

В каждом деле нужны практика и знания. Я здесь шестой год работаю и ко всякому народу приноровилась. Клиенты разные бывают. Другая из-за пустяка нервничает, трясется вся. Такой, конечно, потрафить трудно. Иногда до смешного доходит: приносит какая-нибудь такая дамочка стирать платок, записываю в квитанцию «п л а т о к», а она в амбицию: «Это, говорит — скатерть, какой это платок, когда я им вот уже третий год стол накрываю?» Ну и приходится тут, конечно, разъяснять, что если кружевные панталоны на окно повесить, то и они некоторым тюлевыми занавесками показаться могут, но вещь-то все равно сама собой останется.

Я сразу должна определить и какой это предмет, и степень его поношенности, и из какого он материала сделан... Иногда и посоветовать нужно клиентке. Тонкие, мол, кружевные вещи вы лучше нам не сдавайте,— машина на такую деликатную вещь не рассчитана, порвать может. Но и нам клиентки часто дельные советы дают: сегодня, например, одна хозяйка вызвала бригадира: «Сатин или атлас, — говорит, — нужно с обратной стороны гладить, иначе блестит материал, некрасиво».

Вообще за последнее время потребитель требовательней стал. Оно и понятно, время меняется. Раньше мы и стирали хуже, и держали дольше. Мирились. А теперь требуют, чтобы вовремя возвращали белье, не рвали, чтобы очередей не было. Кому тут стоять, выжидать приятно? Но совсем ликвидировать очередь в нашем деле, как мне думается, невозможно, пока не построим больше прачечных. Мы стараемся приноровиться к потоку посетителей, подмечаем, когда побольше людей приходят. В дни после получек мы на вечернюю смену две остаемся. Или вот летом в пасмурные вечера масса народу идет, а если погода хорошая, нам бездельничать приходится. Зимой в большие морозы тоже никого нет, а потом потеплеет и несут, несут, очередь на улице выстраивается. Мы эти природные явления учитываем, но все-таки всего не уследишь. У частного клиента стихийность какая-то есть. Иногда без всяких причин полно людей набьется.

Поэтому теперь решили наш цех в другое помещение перевести. Здесь и тесно и дух плохой. Из подвала нас выводят в особый флигель, там ожидалка будет просторная. Диваны, столы поставят, газеты для посетителей разложат.

Некоторые удивляются, как это можно изо дня в день с чужим грязным бельем возиться. Тут, конечно, многое зависит от привычки, но мало ли неприятных профессий, вот к примеру слесарь-водопроводчик, или кассирша... Моя приятельница работает в кассе «Гастронома»,

так я бы с ней не обменялась. Руки у нее к концу работы от денег совершенно черные становятся, в кожу эта чернота входит, и работа куда тяжелей,— покрути-ка целый день ручку у кассы.

Потом все-таки за последние годы белье почище стали приносить, раньше сдавали гораздо заношенней. С тех пор, как настоящая торговля ширпотребом началась, белье здорово обновилось. Вот, к примеру, вчера, наш старый клиент принес белье. Шофер он, кажется, холостяк. В 1931 году у него всего каких-нибудь три смены белья было. Сорочки занашивал до черноты. А теперь я у него одних верхних рубашек одиннадцать штук насчитываю. И не какие-нибудь сатиновые косоворотки, а зефировые, шелкового полотна, с воротничками. Я уж ему говорю: «Вы у нас прямо буржуем стали». Смеется. «Когда, — спрашивает ,— крахмалить будете?» Крахмалить теперь многие требуют, всю книгу предложений исписали.

Записал Е. Бескиндский

Дела управдома

Д. Барбунов

Живут у нас в доме разные люди. Есть ответственные работники; орденоносцы, рабочие, служащая интеллигенция. Как угодить на всех?

Вот стою я среди двора, гляжу в окна и многие мысли о людях и их жизни приходят мне в голову. Не умеют они бережно относиться к другому человеку и его удобствам. Утром поссорятся женщины, потому что кто-то не убрал в ванной, на кухне начадил, смотришь, и мужчины в эти ссоры вмешались, а когда на службу итти, все выходят злые. Понимаю я, что и на службе у них нужного спокойствия не будет, работа пойдет плохо.

По себе сужу. Когда в комнате у меня тепло, спокойно, то и во двор я выхожу с удовольствием, и дело у меня спорится.

И во всей жизни дома большую ответственность несет управдом.

А дело управдома состоит как-будто из мелочей. Надо во-время запастись алебастром, известью, краской, стеклом, углем, убрать все неполадки, чтобы они жильцам не докучали.

Один дом у нас новый со всеми удобствами, а три старые, деревянные. Стоят они по сорок пять лет, и в них электричества даже не было. Жильцы старых домов смотрят на облупленные стены, гнилые лестницы, обижаются.

Провел я ремонт старых домов. Поставили мы пятнадцать печей, пятьдесят рам, пятнадцать дверей, два крыльца парадных. Поправили все, побелили, и поняли наши жильцы, что и в старом доме жить можно. Электричество им провели, в новом доме тоже недоделки убрали, фасад кислотой промыли.

Топливо с осени я получил полностью. Для деревянных домов достал ордера на дрова с расчетом, чтоб каждому на всю зиму хватило.

По всем квартирам мы поддерживаем шестнадцать градусов. Заметил я в одной, что там постоянно десять-двенадцать. Обследовал, в чем дело. Оказывается, батарея отопления вделана в стенную нишу. Стена сыреет, тепла в комнате нет. Отодвинули батарею на двадцать два сантиметра. Теперь жильцы не нарадуются. Сухо. Тепло.

Завел я «стол заказов». Это всего-навсего гвоздь в стене домоуправления. Но вот в квартире испортилось электричество, труба дала трещину, водопровод забастовал. Мелочи, а сколько они крови портят.

Утром жилец зайдет в домоуправление, наколет на гвоздь свою заявку. У меня есть дежурный слесарь и монтер. Они приходят в одиннадцать часов. Берут заявки и идут по квартирам. К вечеру жилец получает полный ремонт. В срочном случае слесаря и монтера можно вызвать по телефону.

Когда мы задумали провести озеленение двора, скептики говорили, что из нашей затеи ничего не выйдет, мол, у нас больше сотни ребят на дворе, каждый по кустику сломает, вот вам и собственный парк культуры и отдыха. А посадили мы сорок деревьев, двести сорок кустов акации и сирени, да тысячу корней цветов: астр, георгин, цикламенов, нарциссов.

Все дело в том, чтоб ребят заинтересовать. Разбили мы их на бригады и прикрепили каждого к деревьям, кустам, клумбам, чтобы они сами следили за порядком и ухаживали за ними. Сразу кончилось хулиганство, получились из них настоящие садоводы и любители.

Мои жильцы довольны и спокойны. И вот, если меня спросят, как я понимаю хорошую жизнь в доме, то я бы сказал прямо:

— Заботиться надо, чтобы было у людей побольше радости в доме, на дворе, во всей их жизни, и от нее происходит в людях спокойствие и хорошая работа. Управдому же надо стараться, чтобы занятым людям мелочами не докучать.

Записал Н. Аксенов.

Руки

Стоянова — маникюрша парикмахерской БПТ. Кр.-Пресн. райсовета



Гравюра на дереве худ. Е. Авалиани

Когда я в первый раз пришла на фабрику «Большевик», одна пожилая работница сказала:

— Ну, до чего дожили! Ногти чистить человека наняли.

Через два дня ее прислали ко мне делать маникюр. Она протянула мне руку с аккуратными черными полосками под ногтями.

— Неужели вы так работаете? — Не позволят.

— Специально для вас дома картошку чистила. Чего вам делать с вымытыми руками. Лодыря околачивать? Нет, вы над грязными поработайте...

И я действительно поработала. Она не доверяла ни одному моему жесту, и мне приходилось оправдывать каждое прикосновение к ее руке. Сначала я заставила ее вымыть руки щеткой; потом стала подрезать и подтачивать ногти. Работница возмутилась.

— А тебе жалко, если они углышками будут?

— Не жалко, а в углы легче забивается грязь.

Я стала срезать кожу около лунок и пошутила.

— Вот когти-то заросли, сапоги из кожи сшить можно.

— Ты меня в конец изуродуешь. С живого человека кожу сдирают!

Расстались мы совсем врагами. Она требовала покрыть ногти лаком, чтобы были они «ясные». Я не имела права этого делать. В состав изделий, которые приготовляют работницы венского цеха, входят фруктовые эссенции, растворяющие лак. Он слезает с ногтей и остается в пирожных.

Эта работница приходила ко мне раз в десять дней и через месяц она неохотно, с трудом примирилась с тем, что была неправа, сказала:

— Рукам полегчало. С каждой как по пуду спало, и грязь не пристает. Спасибо.

Мне этот случай вспомнился потому, что он хорошо показывает, как быстро изменилось у человека отношение к маникюру (обычное для многих), как к предмету роскоши, к чему-то лишнему. А и всей нашей роскоши — один лак. Остальное — гигиена.

На фабрике я проработала несколько месяцев и ушла. Я не могла только подправлять ногти, мне всегда хочется «сделать руку» из ничего. А у нас было четыре маникюрши, и каждая работница приходила не реже раза в декаду. Конечно, руки у наших работниц были в порядке, нисколько не хуже, чем у посетительниц парикмахерских «Метрополь» и «Торгсин». Производственный маникюр ведь ничем не отличается от бытового. Только работницам некоторых цехов запрещено покрывать ногти лаком.

Сейчас я работаю в парикмахерской на Красной Пресне. Ко мне приходят работницы с «Трехгорки», продавщицы из соседнего универмага, домашние хозяйки. Все они не имеют ни времени, ни средств часто ходить в парикмахерскую. Поэтому над каждым маникюром приходится работать 30—40 минут. Мало привести руку в порядок, придать внешний вид, нужно еще сделать это прочно, чтобы надолго хватило. У маникюрш есть профессиональное выражение — «запихнуть внутрь», т. е. не обрезать кожицу вокруг ногтя, а оттянуть ее книзу костяной палочкой. Через день-два кожица расправляется, и ногти снова принимают неряшливый вид. Зато таким образом на каждого человека идет не больше 15 минут. В день можно 30 маникюров нагнать. Для меня такая недобросовестность просто неинтересна. Над запущенной рукой приятно тщательно работать.

В нашей работе главное — чистота и внимательность. Инструменты нужно после каждого маникюра дезинфицировать в спирте, салфетки должны быть безукоризненны по чистоте. Когда я говорю о чистоте, то с удовольствием вспоминаю кондитерскую фабрику. Там белье сверкало, и у работниц руки чистые, как у хирурга. А здесь иногда женщина положит руку на салфетку, и вся пятерня так и отпечатается.

Самое важное для хорошей маникюрши не делать порезов. Если маникюрша часто ранит пальцы, она занимается не гигиеническим обслуживанием, а распространением заразы. Это преступление. От такой невнимательности может быть заражение крови.

Хотя профессия маникюрши не та, о которой мечтают с детства, которая захватывает все интересы человека, она мне все-таки доставляет удовлетворение. Отшлифуешь руку и как будто вещь сделала.

Записала М. Дальцева

За прилавком

**В. Лежов,
продавец
Центр. универмага в Москве**



Гравюра на дереве худ. Е. Авалиани.

В последнее время был я на пенсии. Около года, примерно. Дети мои вышли уже образованными. Одна дочь английская переводчица, другая — химик, третья — чертежница. И вот, прочел я в газетах, что требуются Мосторгу старые опытные продавцы, чтоб поднять культурную торговлю. А опыта у меня 46 лет. Решил опять стать за прилавок. Нужно сказать, что у нас в магазине стараются как можно все лучше устроить и правильно обслужить покупателя. А все-таки еще многого нужно добиваться.

Мужской костюм, например, показывается на руках. Но к нему примерочная площадь нужна. А у нас войдут в примерочную 3-4 покупателя, да продавцы еще — вот и получается толкотня. А костюм купить — это не фуражку приобрести. Для такого дела покупателю простор нужен, чтоб не беспокоили его с боков. Брюки показать — тоже место нужно за прилавком. А мы вчетвером если станем за прилавком — так нам приходится места по аршину на каждого. Тут вещь по-настоящему не покажешь!

Теперь относительно нашей специальности. В ней, конечно, большие изменения произошли. Раньше я, как теперь выражаются, сквозной продавец был. Универсал! Зайдет если покупатель в магазин (фирма — Федор Конкин), так я с ним по всему магазину пройдусь.

Теперь не то: теперь у нас отдел разбит по секциям. Продавец получается более узкой специальности.

Но, самое главное, хитрить нам сейчас не нужно с покупателем. Сейчас мы можем обслужить его по-честному. Первая забота о покупателе. А прежде у нас первая забота была о хозяине. Бывало, какая-нибудь вещь устарела или материал подпорчен, или в пошивке что-нибудь неладное — наш хозяин сейчас же на нее свой особый штемпель ставит. Скажем, один крест и подпись — Федор Конкин — это значит, что продавец получает с нее 25 копеек за продажу. На некоторых вещах до 5 рублей доходил штемпель. Ясное дело, продавец старается такую вещь всучить покупателю. От этого и психология у продавца получалась другая.

Теперь покупатель у нас трудовой. А для трудового человека шубу купить или костюм — все-таки отменное происшествие в жизни. Значит, оно требует заботы со стороны продавца. В этом отношении нам ордера сильно продавца подпортили. По ордерам покупатель сам из рук рвал, и продавец, конечно, утерял тонкость — огрубел. Теперь многим себя приходится отучать от старых привычек.

Сдержанность и доброжелательность для продавца — основные качества. Продавец должен определить покупателя. Покупателю, у которого имеется уже свой определенный вкус и желания, один, два костюма покажу, а на третий уже не ошибусь — принесу то, что ему требуется. Товар ведь тоже незачем даром мять, надо присматриваться к покупателю. А бывает придет какой-нибудь молодой паренек, хочет хорошо одеться. А как это хорошо, — он и сам еще не знает. Здесь я обязан быть помощником и посоветовать вещь, наиболее ему подходящую.

У нас сейчас шьются брюки в большинстве, фасон «чарли», книзу шире. А бывает покупатель с определенными вкусами. Привык он, чтоб внизу брюки были на 22 сантиметра. Такого покупателя я все-таки не отпущу, а предложу сейчас же бесплатно в нашей мастерской до требуемого размера низки сузить. Покупатель видит такое внимание и, конечно, не уйдет. Ему это даже лестно. А недавно пришлось мне около часа с одним покупателем заниматься. Покупал он брюки и оказался очень сведущим во всех мелочах. Иной примерит и спрашивает: «Ну, как?» «Хорошо!» — говорю. «Ну и ладно, заверните!» А этот очень разборчивый человек оказался. — «Почему тут набегает?», «Почему коленки не оттянуты снизу?», «Приклад не нравится» и т. д. Но все-таки нельзя сказать, что придирается, а просто до деталей в вещь проникает. Другой продавец, может быть, от него постарался бы отвязаться, а я, наоборот, заинтересовался — обязательно ему брюки все-таки продать. На такого трудного покупателя у меня свой азарт. И что же думаете? Купил все-таки. За 225 рублей нашел ему брюки, против которых он ничего возразить и не смог. Уходил с покупкой — за руку попрощался.

Записал М. Павлов.

Внизу, в котельной

Ф. Корчаков, истопник дома № 46 по ул. Володарского в Москве



Гравюра на дереве худ. Е. Авалиани.

Повздорил я в декабре с управдомом. Каждый день напоминаю: купите дверные пружины,— ударят морозы: хлопот не оберетесь. «Ладно,— говорит,— ладно, Деич, надоел ты мне со своими пружинами. Не до того. Год кончается, квартплату с неплательщиков собрать надо». Так все откладывает и откладывает.

Вышел я как-то ночью, часика в четыре, во двор температуру узнать. О-то-го! Кожу аж стянуло, и по всему хребту холодок прошел. Ворота железные побелели. Вот это, думаю, мороз! А я, надо вам сказать, уважаемый, всегда так поступаю: если в газете предсказание какое-нибудь насчет мороза написано, я уже ночь спокойно не сплю и под утро выхожу на себе температуру пробовать, чтобы, значит, жильцов не заморозить. Если очень холодно — сейчас же воду в котле до 70—75 градусов догоняю. Зато мне от народа и благодарность: «Хороший у нас истопник,— говорят, — просыпаешься утром — в квартире тепло, радиаторы горячие...»

Да, да. Насчет пружин-то. Щупаю воздух руками,— мерзнут. Ну, значит, не меньше 30 градусов холода. Я бегом к парадному... так и есть,— двери настежь. К другому. И там такая история. На лестницах все равно, что на улице. А у нас, надо вам сказать, уважаемый, во втором парадном радиатор у самой двери стоит. К нему ведь подводная труба всего полдюйма — моментально замерзнет, а за ней и сам радиатор. Если же в нем вода застынет, то он обязательно лопнет,— чугун. Ну а тут уж скандал: нормальная циркуляция прекратится, вода из системы уйдет, и в квартирах будет холодно.

Подбегаю... а он уж чуть теплый. Но и то слава богу. Двери я скорей закрыл, на радиатор полушубок набросил и побежал за войлоком, чтобы трубы обмотать. Возвращаюсь, а двери кто-то опять распахнул. Не иначе жилец с пятого этажа с гулянки пришел. Он ткач, ему и невдомек, что трубы замерзнуть могут.

Ох, и ругал же я в тот день управдома. Самим, говорю, некогда, так хоть мне бы денег дали, дверных пружин на Таганке сколько угодно...

Никакой такой особой опасности в нашем деле нет. Если поступать по порядку, то ни с котлом, ни с истопником никогда ничего не случится. Ну, конечно, и дело знать нужно.

Работал я в 1925 году на Ильинке, в доме № 5. Прихожу как-то на смену, смотрю у котельной народ собрался. Кричат, руками машут, а из двери пар валит. Захожу. Оказывается старшой наш, Плахов, водой из ведер топку заливает.

Разобрал меня тут смех... А надо вам сказать, уважаемый, что хоть и начальник он мне был, а в деле совершенно ничего не понимал.

— Что же, — говорю, — ты, дурья голова, делаешь? Разве топку когда водой зальешь? Да ты,— говорю, — перед людьми осрамишься и ошпаришься весь.

Слесарь наш тоже в стороне стоит и прямо трясется весь.

— Корчаков, — говорит, — голубчик, что делать? Грузчики на трубу ящик бросили, угол отломали, и вода из системы убегает.

— Ну так и что же?

— Котел взорваться может.

— Ничего, говорю, не взорвется, только не волнуйтесь... Питательный кран открыл и отрегулировал так, чтобы, сколько воды уходит, столько бы в систему и поступало. Потом подошел к топке, спокойненько из нее жар выгреб и на воле моментально залил водой. Так по-хорошему этот конфуз и прикончил. А ведь хотели чуть ли не пожарную часть вызывать.

Истопники многие говорят,— уголь мелкий не хорош, огонь, мол, заглушает. А мне так ничего. Давали бы 50 процентов плиты и кулака, а остальное ерша. С ним еще и лучше, возни меньше, разбивать не надо.

Конечно, если навалить топку полную, да еще вперемешку все, а самому уйти, ясно — тут уголь жару не даст.

Другой истопник с вечера нашурует полную топку, откроет шибер во всю, а сам гулять. К двенадцати часам ночи у него и вытянет все.

А если положишь снизу немного крупного уголька, сверху ерша подсыпешь и мусором все закроешь, да шибер так повернешь, чтобы только чуть-чуть труба вытягивала. Тогда и топку полную накладывать не нужно. За ночь и полтопки не выгорит. Только тут, конечно, лениться не приходится, надо поглядывать да поглядывать. Чтобы и перегрева не было, и чтобы жар не заглушило.

Записал Е. Бессмертный.

Новая профессия

Шелапутин, машинист Московского Метрополитена

Я никогда не служил на железной дороге, не работал на трамвае, не сидел за рулем автомобиля и не занимался извозным промыслом. Я даже во сне не мечтал стать транспортником. Меня самого обслуживали кондуктора, контролеры, вагоновожатые. Я имел к транспорту отношение... как пассажир.

Но вот на тридцатом году моей жизни небольшое объявление в газете целиком захватило меня. В нем говорилось о наборе на курсы по подготовке кадров для Московского метрополитена.

Прочтя заметку, я тотчас же кинулся по указанному адресу. С такой лихорадочной поспешностью бегут только безработные в капиталистических странах к воротам фабрик и заводов, услышав о наборе рабочих рук. Мною же руководило другое побуждение. Я — техник, имел хорошую службу, получал приличный оклад. Меня сильно заинтересовала новая область. С электричеством я хорошо знаком. Метро связано с электричеством.

Подача заявления. Медицинский осмотр, и через три дня я в числе слушателей четырехмесячных курсов. Я жадно изучаю теорию, наконец, приходит и практика: замелькали вокзалы, светофоры, стрелки Северной железной дороги.

На электрических поездах Северной дороги я в течение месяца наездил 1 700 километров самостоятельного управления и вполне освоил движение поезда и управление машиной.

В ночь на 14 января я отправился в первую учебную поездку по тоннелю. Автоблокировка еще не работала. Ехали по письменному разрешению три состава, с интервалом, друг за другом.

Волнений было много. Персонал метрополитена как на поездах, так и на станциях, был новый, но невидимая и глубокая спайка связывала всех. Помню случай: на станции «Комсомольская площадь» я в качестве начальника поезда взял у дежурного по станции разрешение... Когда я отдал его машинисту, тот посмотрел и возвратил мне обратно:

— Вы не должны брать такого разрешения,— сказал мне мой учитель-машинист, Андрей Маркович Иванов.

Я был озадачен, и только присмотревшись получше, понял: на разрешении не было подписи дежурного по станции.

— Ах, спасибо, товарищ, я забыл,— улыбнулся дежурный, когда я протянул ему разрешение для подписи.— Хотел вас проверить.

За 10 учебных поездок я хорошо изучил особенности всех остановок на станциях. Остановки в пути? Бывали... Никогда не забуду одну остановку. Я тогда не растерялся, но меня от напряжения словно в жар бросило. Надо сказать, — во время практической езды управление поездом находилось в руках практиканта. Поезд шел полным ходом. Из-за поворота показался светофор, и вдруг он загорелся красным огнем. Не успел я освоить неожиданное показание сигнала, как уже проскочил мимо закрытого светофора...

Состав проскочил за черту сигнала и... тут же был остановлен автостопом. В подземке все предусмотрено. Этот прибор автоматически выключает тяговый ток для моторов и затормаживает поезд. Я готов был провалиться сквозь землю от смущения. Машинист-наставник, видя мое огорчение, улыбнулся: это была экспериментальная остановка.

— Вы еще, товарищ, не научились на-глаз верно определять тормозный путь,— сказал он.— Сигнал — закон. Надо все время быть на чеку. Всегда помнить: внимание и выдержка. Волнение машиниста передается пассажиру.

В его словах звучала профессиональная любовь к машине, и большая забота о живых людях-пассажирах.

Культурный уровень потребителя за последние годы значительно вырос. Требования, предъявляемые им к транспорту, заслуживают глубокого внимания. Москва давно мечтала иметь комфортабельную подземную дорогу. Под руководством нашего гениального вождя тов. Сталина и ученика его, любимого руководителя московских большевиков Л. М. Кагановича, мечта эта, наконец, осуществилась.

Записал С. Сибиряков

На колесах

И. Приходченко. Зав. вагоном-рестораном ускоренного поезда № 42 Москва-Владивосток.

«171 вагон-ресторан уходили с девяти московских вокзалов в 1934 году. В 1935 году войдут в эксплоатацию еще 50 вагонов. В новых вагонах большие кухни. Внутренний вид вагона-ресторана значительно улучшается».

(«Вечерняя Москва»).

Из Москвы выехали 19 декабря. Вернуться должны 17 января. В будущем году.

Ребята подобрались хорошие. Ковалев повар, из двенадцати лет поварского стажа — три года в вагоне работает, партиец.

Коновалова, старшая официантка, кухонный работник Семенов, младшие официанты, счетовод — все комсомольцы.

Вагон на вид новый. Только плита сразу ни мне ни Ковалеву не понравилась. Система неудобная. Углем топить — беда. Трудно будет повару.

Повар у нас—самое ответственное лицо, у старой бригады инвентарь принимает, полуду бракует, на базе товаром запасается. Здесь многое предусмотреть надо. Папирос, конфет, копченостей — этого побольше, чтоб на обратный рейс хватило. Остальное можно в пути достать. На пути у нас базы в Вятке, Мске, Хабаровске. В Верхне-Удинске и Никольск-Уссурийске берем пиво.

Выехали в 8.50. В первый вечер — торговля слабая. Большинство пассажиров в Москве поужинало. Разве чаю или пива зайдут выпить. Основная у нас задача — подготовиться к завтрашнему дню.

Обсудили с Ковалевым меню. Договорился со старшей официанткой о торговле в разноску. В первые дни очень важно разноску хорошо организовать. Пассажиры еще не осмотрелись, не перезнакомились, от вещей боятся отойти.

Легли мы поздно, а вставать надо в шесть. С шести утра работа в кухне кипит. Горячий завтрак к девяти должен быть. Одновременно с завтраком готовим обед. Иначе не управится ни повар, ни помощник. В иной день обедов до двухсот отпускали, не считая порционных.

На порционные у нас 15 минут положено. В 15 минут любое блюдо приготовить можно. Конечно, если большой наплыв, после Иркутска, скажем, когда на станциях продажи нет,— тогда повар заготовки делает. Нарежет штук десять шницелей или отбивных и — в граманжу, в холодильник то есть. А там — вынуть, запанировать в сухари, зажарить — пятиминутное дело. В первый день так устаешь, что ноги не держат. Завтрак, две смены обедов, ужин, буфет непрерывно... И повару и официантам работы по горло. Потом постепенно втягиваются, находят темп. Как будто все хорошо пошло. Устроили собрание с пассажирами. Через весь СССР рядом едем, надо совместную жизнь налаживать. Постановили стенгазету выпускать. Выбрали редколлегию из трех пассажиров.

У меня номера этой Ильичовки хранятся. Там о нашей работе много хорошего писали. Я всегда качество обеда через пассажира проверяю.

Только раз меню у нас подгуляло. Было это дня за два до Владивостока. Прибегает ко мне Семенов:—Беда!—говорит, — печь дымит, спасу нет. Работать невозможно.

Иду на кухню. Верно — в кухне черным-черно, глаза выедает. Пробовали мы печь чинить, рабочих со станции вызывали. Не помогает. Что делать?

А в этой части пути продажи на станциях совсем нет. Не голодать же пассажирам? Подумали мы и решили готовить обед.

Меню, конечно, выбрали попроще. Колбаса — ее только подогреть и суп из консервов.

Ну и работа была! Ковалев стоит у плиты пригнувшись, внизу дым немного пореже все-таки... Надо сказать, у вагонного повара и в обыкновенных условиях работа не из легких. Кухонька маленькая, — тут же ванная... Вагон трясет. Суп через край плещется, соус льется. Деревянные кресты к кастрюлям прилаживаем. не очень-то они помогают.

Стоит Ковалев, пригнувшись. Халат — черный, колпак — черный. Не повар — трубочист.

У Семенова, кухонного работника, глаза от дыма воспалились. Запретил ему врач работать. Не бросил он работы. Крепкий парень, боевой. Кое-как накормили мы пассажиров.

Вечером прохожу по вагонам. Подзывает пассажир: «Что это вы, ребята? Почему обед плохой?». Рассказал я ему про плиту и про Семенова. Нахмурился. «Давай, говорит, жалобную книгу». Принес я. А он вместо жалобы похвальный отзыв написал о том, как ребята работы не бросили. И в стенгазете об этом статья была.

Записала Ю. Нейман.

НЯНЯ

М. Леоничева,
санитарка
2-й городской
клинической
больницы.
Москва



Гравюра на дереве
худ. Авалиани

Утром, когда я прихожу в больницу, первым делом вытираю всюду в своих палатах пыль, постели всем больным перестилаю, поудобнее их укладываю. Особенно стараешься для сердечных больных. Им нужно подушки повыше подложить и так их усадить, чтобы никакого напряжения в теле не было.

Потом полы вытираю мокрой тряпкой. В 10 часов иду в кухню за завтраком. Разнесешь завтрак, слабых покормить надо. После, когда отнесешь и помоешь посуду, снова подметешь полы.

В 11 часов у нас выздоравливающих выписывают. Нужно отвести их в контору, принять белье по счету, а потом приготовить постели для новых больных.

В час обед. Затем снова подметаю. Минуты свободной нет. Звонки все время: одному судно подай, другому белье переменить нужно, третьему клизму поставишь. Работу у нас беспокойная; грязная, нервная работа.

Люблю ли я свою работу? Не знаю право. Я об этом не задумывалась. Скоро сорок лет, как я за больными ухаживаю, но мне никогда не задавали этого вопроса. Любить тут как будто бы нечего. Но летом, когда наша больница закрывается, и я уезжаю в деревню, появляется у меня тоска по работе. И не то, чтобы скучно мне было от безделия, руки есть к чему приложить и в колхозе, нет, тянет меня в больницу.

Да и зимой в свободные дни мне дома не сидится, и если нет какого-нибудь важного домашнего дела, я обязательно захожу в палаты, навещаю своих больных. Особенно за тяжелых больных беспокоишься, о них и дома не забываешь. Вот и одинокие тоже. Семейному человеку и в больнице лежать легче, чем одинокому. Все-таки придут, навестят, принесут чего-нибудь. Поэтому одинокому стараешься угодить. Попросит — в город по делу его в свой выходной день сходишь, лакомств ему разных купишь.

Многие говорят, что с годами черствеешь, равнодушней становишься и на чужую смерть спокойней смотришь. Вранье все это. К больному, пока ухаживаешь за ним, привыкаешь, и если умрет, очень тяжело на душе становится, даже всплакнешь иногда.

Или вот, во время ночных дежурств. Молодая нянька, с крепкими нервами, не то, что сидя, стоя, оперпшись на стенку, засыпает. Ее звонком не всегда больной добудится. А я совсем не могу в дежурстве уснуть, все прислушиваюсь, нет ли звонка. За ночь несколько раз палаты обхожу.

И все-таки, как работа наша ни тяжела, ухаживать за больным приятно. Приходит в больницу человек слабый, плохой, а здесь к нему жизнь возвращается. Выписывается, и глаза у него повеселеют, и вид совсем другой. Посмотришь на такого и гордость появляется — все-таки, думаю, и без меня здесь дело не обошлось.

А с некоторыми больными и после выписки у нас знакомство продолжается. Навещаем друг друга, встречаемся, переписываемся. Дома-то у меня писем штук сорок наберется, со всех концов пишут бывшие больные.

Записал Е. Весенский

партийное дело

Павел Нилин

Рис. Бекетова

Никита Жлодин заметно скучал. Его угнетала пестрая обстановка захолустного магазинчика. Его угнетали странные, непривычные вещи. В магазинчике ему было тесно.

Передвигаясь вразвалку, как и следует передвигаться бывалому моряку, привыкшему ходить по неустойчивой палубе, он, неуклюжий, огромный и медлительный, непременно задевал и опрокидывал какой-нибудь предмет. Деревянные, некрашеные половицы скрипели под ним. На полках вздрагивали ведра и чайники. Все вещи принимали какой-то взволнованный вид. Вздрагивал даже бронзовый олень на этажерке, точно собираясь убежать.

— Ах, как вы меня напугали! — говорила с неизменным кокетством пожилая кассирша.

Всякий раз, когда Никита Жлодин проходил по магазину, она с нескрываемым испугом ожидала катастрофы. Высокий стул, изготовленный из старого конфетного ящика фирмы «Эйнем», трепетал под ней, как горячий конь. На жилистом носу дрожало алюминиевое пенснэ.

Жлодин ненавидел кассиршу. Он глубоко презирал ее за эти глупые, неуместные восклицания, за длинный синеватый нос, за странную манеру говорить с придыханием, за все. Но, не имея более подходящих собеседников, он нередко делился с ней своими «наболевшими вопросами».

— Я им говорю, освободите меня, — рассказывал он ей о своих беседах в партийном комитете. — Не мое это дело — торговать. У меня душа к этому делу неприспособленная. Я нервный. А они мне отвечают: подожди, пока подготовим молодые кадры...

И Жлодин ждал.

Особенно тяжело ему было первое время, когда, оставив пароходную службу на Каспийском море, он пришел по путевке парткома в этот тихий магазин на улице Победы революции в городе Шахты. В магазине пахло керосином и мятой, старым железом и дубленой кожей. На стенах висели хомуты и ведра, ватные пиджаки и рогожи, жестяные фонари «Летучая мышь» и поперечные пилы. Полки были заполнены мелкой хозяйственной посудой, дешевыми статуэтками, коробками с нюхательным табаком и десятками других, самых разнообразных, самых неожидающих вещей. В маленьком магазинчике нехватало места для товаров. Вещи располагались и на полу, и на стенах, и даже на потолке.

Вещи обступили Никиту Жлодина, когда он вошел за прилавок. И, кажется, в первую же минуту, неосторожно повернувшись, Жлодин нечаянно уронил с полки крупного фарфорового зайца. На боку у игрушечного зверя была приклеена цена.

— Пять шестьдесят, — почти с испугом оказал Жлодин, поднимая с полу осколки. — Представьте, какой пустяк, и вдруг — пять рублей шесть гривен...

Он жил еще психологией покупателя, которого ужасает высокая цена. Он чувствовал себя еще посторонним человеком в этом тихом, непривычном месте.

Это было около года назад, весной. Дул прохладный, соленый ветер. И Никита Жлодин неожиданно для самого себя, кажется, первый раз в жизни тяжело заскучал.

Может быть, ему вспомнилось море, необъятное, яркое, зеленое, ласковое. Пароходы, моторные рыбницы. Невода. Может быть, ему просто взгрустнулось, как бывает со многими весной. Как бы там ни было, но покупатели стали втихомолку посмеиваться над новым заведующим.

Облокотившись на прилавок, выпятив вперед свою волосатую, распахнутую грудь, он подолгу мечтательно смотрел в засиженное мухами окно и о чем-то, казалось, напряженно думал. В такие минуты он не слышал, как в дверь входил покупатель, внимательно осматривал товар и нетерпеливо требовал:

— Покажите мне чайник...

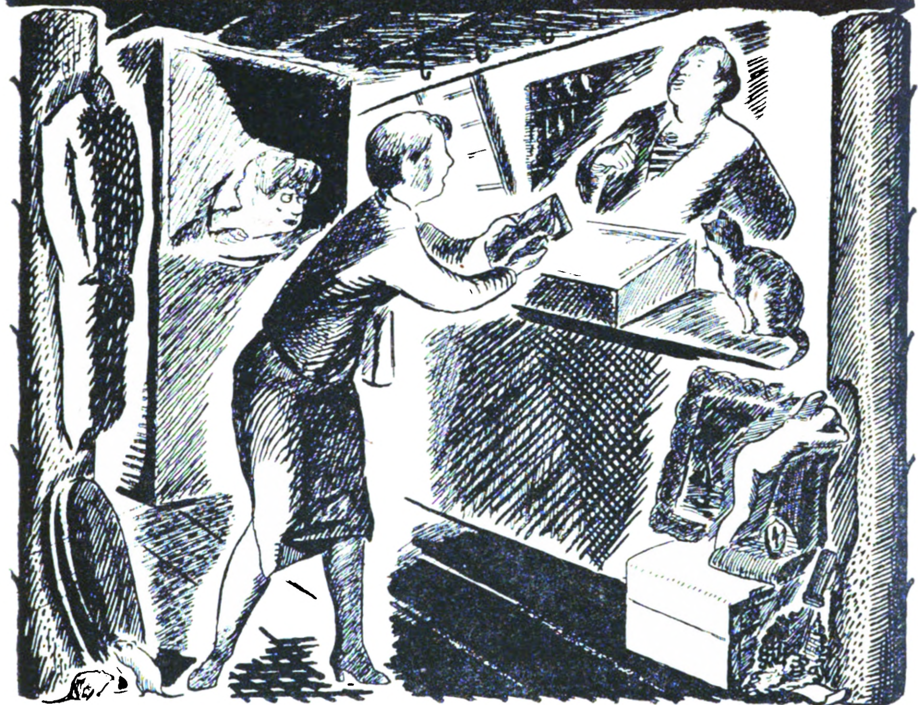
— Чего? — переспрашивал Жлодин. И с грохотом начинал искать нужный

Гонки. (Детский сад з-да „Каучук")

Фото-этюд А. В. Штеренберг



Антракт. За кулисами колхозного театра **Фото-этюд М. А. Озерский**



—Нету! — говорит сердито Жлодин

товар. В магазине он должен был выполнять обязанности и заведующего, и продавца, и даже заменять кассиршу, когда она уходила обедать.

— Я бы камни лучше согласился грузить,— говорил он по вечерам кассирше, подсчитывая вместе с ней дневную выручку. В руках у него трепетали малиновые лепестки талонов, которые надо было тщательно проверить, подсчитать и потом аккуратно заклеить в конверт для отчета. — Делайте уж лучше вы сами, Марья Ивановна, эту заклейку, а я потом их все сразу подсчитаю

Жлодин всегда был убежден, что у него есть собственное место в жизни. Это место он видел в море, на пароходе, у огнедышащего котла пароходной топки. Это место вполне удовлетворяло его. И поэтому даже после гражданской войны, когда многие люди по естественному ходу событий переменили профессии, Жлодин, воевавший три года подряд, снова вернулся в кочегарку.

Правда, и на гражданской войне он старался держаться поближе к паровым котлам. Он работал на бронепоезде, он шуровал в паровозных топках.

— Я уважаю это дело, — говорил он при всяком случае, не без достоинства. — Я кочегар, можно сказать, с детских лет. Я имею за это дело двое часов и портсигар с надписью, как награду. Я хотя и не курящий, но портсигар храню...

Этот портсигар и часы свидетельствовали о том, что свое место в жизни Никита Жлодин выбрал удачно, что среди кочегаров он был одним из первых. И на пароходах, где он когда-либо работал, о нем отзывались с уважением. А теперь

смеются. Смеются покупатели. Смеется даже Марья Ивановна, кассирша:

— Вы, Никита Васильевич, очень, я бы сказала, неловкий. Разрешите, я сама подсчитаю...

И Жлодин заметив тонкую, подслащенную невинным кокетством, издевку, молчал. Он и сам понимал, что в торговом деле он беспомощен, что какая-нибудь Марья Ивановна выглядит здесь ловчее, умнее и находчивее. Он уступал ей первенство. Он отходил в сторону. Он тосковал.

Но покупателю нет дела до тоски бывшего кочегара Никиты Жлодина. Покупателя не волнует личная неудача бывшего моряка, который потерял собственное место в жизни только потому, что доктор нашел в его грудной клетке серьезные повреждения, с которыми нельзя быть кочегаром. Покупатель требует товар. Он роется в груде вещей, наваленных на прилавок. Он выбирает, капризничает и нервничает. Он спрашивает о чугунах и вилках, о патефонах и галстуках, о радиоприемниках и лентах, голубых, малиновых и синих. Он называет вещи, о существовании которых Никита Жлодин и не подозревал.

— Достаньте мне, пожалуйста, вот ту вещичку, — просит пожилой мужчина, показывая на полку.

А когда продавец, взобравшись на лестницу, достает с самой верхней полки нужную вещичку, покупатель, потрогав ее руками, говорит разочарованно:

— Ах, такая! Без кнопок? Не надо. Нет ли у вас с кнопками?

— Нету, — говорит почти сердито Жлодин.

Многих здешних покупателей Никита Жлодин знает в лицо. Многих он знает с детства, потому что сам он родился здесь же на шахте, которая носит теперь имя Крыленко.

В детстве он работал на многих шахтах лампоносом, очищал уголь от породы. И когда уже работал кочегаром на Каспийском море, часто приезжал сюда отдыхать. У него на шахте им. Крыленко до сих пор тетка живет. И среди шахтеров у него немало родни и приятелей.

Он знает страшную нужду, в которой жили десятилетиями эти сегодняшние его покупатели. Он помнит, например, как однажды ночью в шахте молодые шахтеры чуть не побили старика Долгоносова, который спустился в забой с лампочкой «бахмуткой», наполненной нефтью. У старика Долгоносова была огромная семья — одиннадцать человек. Ее надо было кормить, одевать, воспитывать. А заработки были плохи. И старик, чтобы сэкономить одну копейку в день, наливал в «бахмутку» вместо керосина нефть. В забое, низком, сыром и душном, было еще более душно от нефтяного чада. «Что же ты, старый чорт, — кричали молодые шахтеры Долгоносову, — наплодил детей, а теперь нас уморить хочешь?» Огромный детина держал старика за шиворот. И, выбиваясь из его железных рук, старик плакал: «А что же я могу поделать, братцы? Дите ведь оно кушать хочет. Я ж копейку на хлеб берегу»...

Прошло два десятка лет. И вот сейчас потомок этого старого Долгоносова, убитого невыразимой нуждой, Михайло Долгоносов, забойщик с шахты «Октябрьская революция», стоит перед Жлодиным в магазине и требует хороших вещей. Жлодин, на минуту вспомнив прошлое, теряет хладнокровие.

— Мишка, — говорит он неожиданно покупателю, сбиваясь на интимный тон, — давно ли ты, Мишка, щукин сын, без штанов ходил? А сейчас я на тебя посмотрю, ей-боги чистый граф. Стекло бы еще тебе в глаз. И чего ты только ломаешься? То тебе не подходит, это...

— Конечно, не подходит, — улыбается Мишка, Михаил Иванович Долгоносов. — Зачем я буду набирать барахольных штанов, когда у меня, можно сказать, полный шкаф такого добра. Нет, ты мне дай костюм, синий, тройку...

— Да где я тебе их наберу, костюмов-то синих? — спрашивает Жлодин.

— А мне какое дело? Ты торгуешь, а не я. Мое дело купить...

И вот так все отвечают: «мое дело купить». Матвей Чуско с шахты «Мировая коммуна» третий месяц ходит и просит выписать ему из Ростова четырехламповый радиоприемник.

— Деньги, — говорит он, — я давно припас на него. А вот поехать в Ростов некогда. Я теперь учусь на техника. Может, ты мне еще рейшину купишь для черчения?

Жлодин не может запомнить всех заказов. Он не может удовлетворить всех.

Правда, в последнее время магазин его значительно расширился. Маленький магазинчик теперь походит на универмаг. В универмаге работает три новых продавца. И Жлодин сам почти не стоит за прилавком. Он занимается теперь заготовкой товаров. Выезжает в Ростов, представительствует, немножко даже важничает. За прилавком он появляется чаще всего тогда, когда возникают конфликты. А конфликты в последнее время бывают не редко.

Например, недавно одна работница с шахты имени Артема купила здесь сумку-ридикюль («представьте, откатчица,— говорит Жлодин,— и тоже подавай ей ридикюль, как у барыни! А сама, я говорю, откатчица — Маруська Чернова, Тихона Васильича дочь»). Сразу же, как покупательница вышла из магазина, у сумки отломился металлический уголок. Покупательница вернулась:

— Деньги обратно!

Арбузов, продавец, заявил, что уголок покупательница, вероятно, отломила нарочно, потому что он, Арбузов, не видел никакого дефекта, когда продавал товар.

Но покупательница продолжала нервничать. Она настойчиво требовала вернуть ей деньги, она просила вызвать заведующего. И тогда за прилавком появился Жлодин:

— В чем дело?

— Это ж полный грабеж,— кричала покупательница...— Я вас прямо-таки жуликами могу теперь считать...

— То есть как это жуликами? — удивился Жлодин.— Здесь, гражданка, чтоб вы знали, государственный магазин, и вот против ваших глаз плакатик...

Может быть, если бы покупательница не употребила этих страшных слов «грабеж» и «жулик», Жлодин, нарушив правило, вернул бы ей деньги из уважения к ее отцу, старому забойщику. Но сейчас он показал ей на плакат — «проданный товар не принимаем, денег обратно не выдаем» и, стараясь быть деликатным, прибавил:

— По такому случаю я тебе, Маруся, помочь ничем не могу. Потому что есть такой порядок. А кричать — это лишнее. Ты своим криком других покупателей пугаешь...

— Подумаешь, какая цаца,— сказал Арбузов, почувствовав поддержку заведующего.

— И это лишнее,— строго заметил Жлодин, поворачиваясь к Арбузову.— Она вовсе не цаца, и покупателя, какой бы он ни был, оскорблять нельзя...

Но на Арбузова было трудно подействовать такими замечаниями. Он, кажется, не признавал никаких законов. На работу он выходил, как правило, с большим опозданием. Работал вяло. И каждый день покупатели жаловались на то, что он груб, невнимателен, ленив.

— Этот чемоданчик мне не подходит,— говорит обычно покупатель.— Цвет мне такой не нравится. Больно тусклый. Вы мне вон тот достаньте. Вон, который снизу...

— А ты денег сначала подкопи на такой чемодан,— грубо отвечает Арбузов.— Потом придешь и купишь. Я тебя по глазам вижу, что ты за трояк целый магазин купить хотишь...

Обиженный покупатель или просто уходил из магазина или требовал жалобную книгу и дрожащей рукой, крупным почерком подробно излагал свою обиду.

Жлодину, наконец, надоели эти постоянные жалобы покупателей, и он решил уволить Арбузова.

— Ну, так что ж,— сказал Арбузов, когда заведующий объявил ему об увольнении.— Я плакать не буду.— Я через дорогу перейду и в другом магазине, еще почище этого работать буду... Плевать я хотел на вашу коммерцию...

Этот новый магазин, который открылся сравнительно недавно напротив, на той же улице, пользовался уже большим успехом у покупателей.

Однажды, в конце торгового дня, к Жлодину в магазин зашел Матвей Чуско и почему-то, смеясь, рассказал, что радиоприемник и рейшину, которые он давно уже собирался купить, на-днях привез ему из Ростова Ищеев, заведующий новым магазином.

— Вот торгуют — это я понимаю,— сказал Чуско с восхищением.—Чистые американцы. Все есть. Если нету какого-нибудь товара в магазине сию минуту, закажи,— добудут. Это я понимаю. А вы? У вас, ей-богу, как в похоронном бюро. Гробами бы вам торговать!

— Вались, вались, отсюда, сейчас

же,— закричал на него Жлодин. У Жлодина на скулах заходили желтые желваки. Верный признак гнева. А в гневе Жлодин мог зашибить на-смерть. Чуско испуганно взглянул ему в глаза и пулей вылетел в двери.

Жлодин редко приходил в бешенство. Но сейчас его задели, что называется, за живое. Это кому же надо торговать гробами? Да знает ли этот молокосос, Матвей Чуско, что Никита Жлодин, Никита Васильевич Жлодин, чорт возьми, бывший партизан, владелец двух почетных часов и портсигара, почти двадцать лет без малого считался одним из лучших кочегаров всего Каспийского моря! Двадцать лет он не встречал себе равных по силе и выносливости, по знанию всех мелочей серьезного кочегарного дела...

— А теперь я что? — неожиданно громко спросил себя Жлодин. В магазине было пусто. За стеклянной перегородкой своей будочки кассирша старательно, шевеля губами, пересчитывала выручку. В дальнем углу два продавца играли в шашки. Жлодин, сидевший все это время посреди магазина в проданном кресле, осмотрелся по сторонам и вдруг почему-то покраснел. Ему, вероятно, стало стыдно своего нечаянного выкрика.

Гнев постепенно проходил. Оставалась тоска, старая, незаглушимая, непотухающая. И тоска эта проистекала от неудовлетворенности. Жлодин много ходил, много ездил, много суетился, изображая деловитость. Ему хотелось показать людям, что он очень занят, очень сосредоточен, очень загружен работой. Но когда он оставался наедине с самим собой, ему всякий раз казалось, что он ничего не делает. Он чувствовал себя лодырем. И это сознание томило его.

Огромная физическая сила, позволявшая когда-то Жлодину легко орудовать тяжелой лопатой, загружая топку, передвигать тяжелые вагонетки, изумлять людей исключительной своей выносливостью, эта необыкновенная мускульная сила сейчас, казалось, совсем не нужна была ему.

По вечерам он не чувствовал, как прежде, приятной, опьяняющей усталости, которая разливается по всему телу и наполняет человека гордым сознанием отлично выполненной работы. Жлодину когда-то было приятно думать, что он самый сильный, самый выносливый, самый непобедимый среди людей своей профессии.

А теперь зачем нужна ему эта сила? Где он может применять ее?

Ведь не только Чуско говорил о том, что Никита Жлодин работает плохо. Об этом говорили все. И только в партийном комитете не хотели согласиться с тем, что Жлодина надо освободить от торговой работы. В партийном комитете считали его честным, добросовестным работником, и все ожидали, что он наладит дело по-настоящему. В партийном комитете знали, что Жлодин исключительно самолюбив, и, если он заметит, что другие работают лучше его, он вылезет из кожи, чтобы обогнать.

Эту черту характера Жлодина знали многие. В былые времена, приезжая на праздники в родной город, он участвовал в знаменитых кулачных боях, когда, развлекаясь по-звериному, шахта на шахту ходила стеной. Кулак Никиты Жлодина был хорошо известен десяткам людей.

Но в торговом деле кулак — невесомая величина. Мускульная сила здесь не ценится.

Однако, несмотря на это, Никита Жлодин никак не мог отказаться от привычки оценивать вещи «с точки зрения человека, выжимающего три с половиной пуда одной рукой». И огорчаясь теперь по поводу того, что новый магазин работает лучше его магазина, он, взрослый, грамотный и неглупый человек, больше всего возмущался тем, что ему приходится терпеть «обиды» от щупленького маленького старичка в очках, по фамилии Ищеев.

Именно, как личную обиду воспринимал он каждый новый успех Ищеева. Если б не было Ищеева, если б не было лучших образцов работы, которые показывал Ищеев, то, может быть, никто бы и не заметил, что Жлодин работает плохо, что Жлодин отстает. А теперь почти каждый день, каждый час кто-нибудь напоминал ему об Ищееве.

В сторону Ищеева уходили массы покупателей. И Никита Жлодин при всем его наивном высокомерии сильного человека не мог не считаться с этим маленьким щупленьким старичком.



— Пройдитесь, пожалуйста,, говорил Ищеев

Ищеев беспокоил Жлодина. Он волновал его. Он возбуждал в нем то самое врожденное чувство, которое заставляло когда-то кочегара Жлодина добиваться первого места среди людей своей профессии. И неожиданно для себя Жлодин, все время относившийся с чуть заметным пренебрежением к торговому делу, стал подтягиваться, стал стараться, стал, как говорится, лезть из кожи, чтобы доказать, что он умеет работать не хуже.

Утром, как правило, когда в магазине Ищеева был особенный наплыв покупателей, Жлодин незаметно входил в этот магазин и, пристроившись где-нибудь в уголке, внимательно наблюдал за работой. В эти часы Ищеев обычно не выходил из-за прилавка. Он сам отпускал товар, сам беседовал с покупателями.

Жлодин видел, как Ищеев без излишней угодливости, но с приятной улыбкой предлагает покупательнице стул и, подостлав ей под ноги цветной коврик, примеряет новые туфли.

— Этот носок сейчас, обратите внимание, весьма модный,— говорил он, присаживаясь на корточки. — А так же прочность обуви замечательная. Может ходить по щебню и по шлаку сколько угодно...

— Мне этот цвет не подходит. Мне бы кофейного...

— Кофейного? — как бы удивлялся Ищеев.— К сожалению, сейчас не можем предложить. Через неделю, я думаю, будут. А цвет какао с молоком вас не устроит?

Ищеев бежал за прилавок, снимал с полки пару коробок и снова приседал на корточки перед покупательницей. Новые туфли приводили покупательницу в восторг. Она спешила уплатить деньги.

— Нет, нет, подождите,— говорил Ищеев.— Я хочу посмотреть, как они на вас сидят. Пройдитесь, пожалуйста. Может, они вам жмут?

А когда покупательница, вполне довольная покупкой, собиралась уйти, Ищеев любезно предупреждал ее:

— Если сегодня или завтра заметите в туфлях какой-нибудь изъян, можете вернуть их. Деньги получите сполна.

Однажды, после такой сцены, Жлодин

не выдержал. Он подошел к Ищееву и, не здороваясь, не знакомясь, спросил:

— Чего вы с ней так возитесь? Можно подумать, что она какая-нибудь баронесса. А она, я знаю, лебедочница...

— Очень приятно, очень приятно,— сказал почти обрадованно Ищеев.— Вы, кажется, товарищ Жлодин. Наш сосед. Очень приятно. Я давно собираюсь к вам зайти.

И потом, пожимая мощную руку Жлодина, Ищеев говорил:

— Я не знаю, кто она... Мне это все равно... Для меня важно, что она покупательница. Это очень, очень важно...

Жлодину почему-то не понравилась эта беседа. Ему показалось, что Ищеев учит его. Ему показалось, что Ищеев хочет подчеркнуть свое превосходство. Жлодин ушел от него сердитый и немножко обиженный. Но, войдя к себе в магазин, он сейчас же отыскал лестницу и, взобравшись на верхнюю полку, поспешно сорвал малиновый плакат — «проданный товар не принимаем, деньги обратно не выдаем».

— Есть такое указание,— сказал он почти торжественно, обращаясь к продавцам,— что если покупатель попросит переменить товар или деньги потребует обратно, надо его просьбу уважить...

В этот же день он привел откуда-то трех женщин и устроил генеральную уборку. Мыли полы, окна, двери. Полы застелили линолеумом. Витрины были обновлены. В витринах появились цветистые материи и обувь, красивая посуда и галстуки.

Жлодин попрежнему сердился, когда в его присутствии говорили об Ищееве. Но неожиданно для себя он каждый день даже в разговоре с продавцами и покупателями неизменно подражал Ищееву. Он так же, как Ищеев, предлагал покупателю стул, так же, как Ищеев, вставлял в свои фразы деликатное: «Я извиняюсь». Узнав, что у Ищеева в магазине покупателю вместе с покупкой выдают маленькую розовую анкету («какие вещи вы хотите приобрести?»), Жлодин, чтобы не впасть в явное подражательство, анкет не завел, но приказал продавцам спрашивать покупателей об их желаниях. У каждого продавца появилась особая тетрадь, куда записывались пожелания потребителей. Записывались даже фамилии и адреса покупателей, желавших купить какой-нибудь товар, которого сейчас в магазине не было. И потом, получив из Ростова заказанные каким-нибудь покупателем товары, Жлодин извещал об этом покупателя по почте.

Однажды, проходя по колхозному базару, Жлодин увидел Ищеева за прилавком в маленьком киоске. Жлодин, если говорить откровенно, почти обрадовался. В первую минуту он решил, что Ищеева уволили из магазина, что его серьезный соперник сдался. И решив так, он даже пожалел бывшего соперника: все-таки он неплохой старикан, не вредный. Жлодин подошел к киоску, приподнял картуз и, здороваясь, удивленно спросил:

— Чего это вы здесь?

— А вот торгую помаленьку,— весело ответил Ищеев.— У меня здесь, как говорится, филиал. Показываю потребителю новые товары...

И Ищеев охотно рассказал о новом способе торговли, который он придумал в самое последнее время. Он выносит на базар все новинки и знакомит с ними покупателя. Вот, скажем, стаканы нового образца, каких еще не было в городе. Вот американские фонари...

— Вы знаете, какие у нас были случаи последнее время? — оживившись, спросил Ищеев и рассказал поучительную историю. В городских магазинах несколько месяцев не было зубного порошка и зубных щеток. Нигде не было. Этим воспользовался какой-то спекулянт, кажется, Насонов из Белой Калитвы, и вывез на базар несколько мешков зубного порошка и щеток. Он торговал три часа и распродал всю огромную партию товара. Щетку, которая стоит обычно в магазине полтинник, он продавал по пять рублей, порошок — по три целковых за коробку. И покупатели брали. Колхозники, которые сроду не чистили зубов, нарасхват разбирали порошок и щетки. Спекулянт Насонов заработал большие деньги. А потом оказалось, что этот товар он закупил в кооперативе в Новочеркасске по оптовой, дешевой цене.

— Вот и кусай пальцы,—сказал Ищеев почти сердито.— А все потому, что мы плохо работаем. Не понимая покупателя. Не умеем найти товар, предложить. Был такой же случай с книгами.

Ищеев говорил быстро, скороговоркой, но как-то по-особенному складно, будто делал доклад. И Жлодину понравилась эта манера разговаривать. Несмотря на легкую обиду от того, что Ищеев и на этот раз обогнал его, Жлодин чувствовал к нему симпатию.

— Болеешь ты за торговлю,— сказал Жлодин как-то неопределенно, не то с упреком, не то с завистью.

— А как же? — почти удивленно ответил Ищеев.— Как же не болеть? Я человек партийный...

Эта последняя фраза, сказанная, вероятно, без всякого намека, без рисовки, больно задела Жлодина. Он даже осердился слегка. А я-то что же не партийный что ли?! И чего он мне тычет свою партийность? Подумаешь, герой...

Жлодину снова показалось, что этот щупленький старичок хочет подчеркнуть свое превосходство перед ним. Жлодин отошел от ищеевского киоска чуть-чуть обиженный и злой. Но утром на следующий день он пошел разыскивать плотников для постройки киоска на базаре. Ему хотелось построить еще невиданный в этом городе киоск.

— Ты можешь мне устроить такой навес, как купол? — спрашивал Жлодин плотника и рисовал на клочке бумаги какую-то сложную пирамиду.

— А что же тут хитрого? — говорил плотник.— Очень просто. Могу...

— Под стеклом? — допытывался Жлодин.

— И под стеклом можно,— соглашался плотник.— Под стеклом даже интереснее...

Но Жлодин не доверял плотнику. Он по нескольку раз ходил на базар смотреть, как строится киоск... Он помогал укреплять столбы, обстругивал доски, торопил плотников.

Вечером, когда киоск, наконец, был достроен и оставалось только окрасить его и застеклить, Жлодин возвращался домой веселый. Он теперь покажет, как надо торговать.

На радостях он завернул в пивную, спустился в подвальчик, что напротив базарной площади. В пивной было накурено и душно, как в забое.

— Не можете вы это дело организовать, как следует,— сказал он знакомому официанту, и занял первый от двери столик. — Безобразие, ей-богу. Духота.

— Это верно,— подтвердил кто-то сбоку. И, повернувшись всем корпусом, Жлодин заметил Ищеева. Жлодин улыбнулся. Ищеев был окутан сизым облаком табачного дыма.

— Ты как на облаках сидишь,— сказал Жлодин весело Ищееву.— Буквальный Илья-пророк.

Ищеев выскользнул из облака и подсел за жлодинский столик. Ищеев, казалось, немножко был взволнован. Он ругал пивную. Он говорил о неустроенности, о толкучке, о грязи.

— Почему, скажем, не поставить вот здесь какой-нибудь цветок, не завести, допустим, патефончик. Ведь, пустяк. А не хотят люди. Вот так же и в нашем деле...

Жлодину захотелось, воспользовавшись удобным случаем, выпытать у Ищеева все его «производственные секреты», разузнать, каким это способом маленький, невидный человек Ищеев добивается большого преуспевания в своем магазине. Он задавал ему десятки самых неожиданных вопросов, и Ищеев охотно, казалось, даже с удовольствием давал самые обстоятельные ответы. Два раза, рассказывая о своих делах, он как бы случайно упомянул фамилию продавца Арбузова, того самого Арбузова, который работал у Жлодина и был уволен за грубость. Жлодин давно уже хотел спросить Ищеева об этом продавце. Жлодина удивляло, что Ищеев, такой аккуратный, вежливый, внимательный, держит у себя Арбузова, недисциплинированного, нечистоплотного, ленивого. И сейчас он, наконец, решился спросить:

— Почему ты его не уволишь?

— Кого? Арбузова? — удивившись, спросил Ищеев.— Да за что же его увольнять?

— Он же грубиян...

— Кто?— еще больше удивился Ищеев.— Арбузов—грубиян? Да кто то тебе сказал? Арбузов — золотой человек, лучший продавец на весь город. Я из него заведующего сделаю.

Это неожиданное заявление Ищеева просто ошарашило Жлодина... Он не понимал, как можно считать золотым человеком явного лодыря. Ищеев, должно быть, близорук. Он еще не раскусил Арбузова.

— Я человеку в душу заглянуть не могу,— как бы не слушая возражений Жлодина, говорил Ищеев.— Я не факир, чтобы в души смотреть. Я смотрю в наколку, на которой талоны. И вот вижу, что Арбузов у меня лучший продавец...

Жлодин не понял Ищеева. И Ищеев разъяснил подробнее. У него не только магазин на хозрасчете, но и каждое отделение магазина, но и каждый продавец. А кроме того, сдельщина. Сколько наторгуешь, столько и получишь. И поэтому каждый продавец старается как можно больше наторговать, старается заинтересовать покупателя, угодить ему, услужить. И вечером заведующий магазином, подсчитывая талоны каждого продавца, судит о том, кто лучше решает основную задачу — торговать культурно.

— У меня в магазине можно любого барана человеком сделать,— не без гордости говорил Ищеев.— Я человека не только рублем подгоняю. Я его чувствовать ответственность заставляю. У меня такой порядок, что каждый продавец себя завом чувствует. Даже заготовку товара у меня продавцы ведут... Если человек инициативу показывает, я его стараюсь одобрить, поддержать, заин-те-ре-со-вать... В Ростов, допустим, поехать всякий хочет. Я тех, которые лучше работают, Ростовом премирую. Посылаю в Ростов. Он там и дело для магазина делает и развлекается. Надоедает же человеку все время за прилавком стоять...

— Вот как,— сказал Жлодин.

Расспросив Ищеева о разных торговых делах, о разных «секретах», он хотел еще узнать, откуда это старик набрался такой смекалки. Он, вероятно, сам с детства работает по магазинам. Наверно, с детства изучает это дело.

— Ты где раньше-то работал?

— Я токарь по специальности,— сказал Ищеев задумчиво и немножко грустно.— Двадцать четыре года был токарем по металлу...

Жлодин, сдувая с кружки пивную пену, внимательно исподлобья посмотрел на собеседника, будто видел его впервые. И потом зачем-то переспросил:

— Токарь?

— Так точно,— улыбаясь, шутливо подпрыгнул на стуле Ищеев.

— По металлу?

— Именно...

И слегка оттолкнув от себя пустую кружку, Ищеев начал рассказывать о том, как его выдвинули на торговую работу еще на заводе «Красный пролетарий» в Москве, как он сначала приглядывался к этому делу и как потом, немножко подучившись, начал вплотную заниматься торговлей.

— У нас сначала на торговое дело всякий народ бросали,—говорил Ищеев, философствуя.— Если человек ни на что не способный, его сейчас в первую голову в магазин посылали. Мол, торговля — дело пустяковое. Отпускай товар и все тут. Токарь — это профессия. Слесарь — тоже. Даже в парикмахерском деле и то смекалка требуется, а торговать всякий может.

Ищеев отпил глоток из новой, только что поданной кружки и сказал сердито, как-будто опровергая кого-то незримого:

— Неправда...

Жлодин не перебивал его. Он смотрел почему-то на его руки, еще до сих пор сохранившие черную, въедливую металлическую пыль — следы прежней профессии — и слушал его внимательно, как учителя. Ищеев говорил о том, что торговое дело требует большого труда и энтузиазма. Да, да, энтузиазма. Здесь надо так же, как на производстве, так же, как на заводе, драться за качество, за программу. И пустяковые люди здесь не годятся.

— Я сначала немножко ломался, когда меня на это дело поставили. Думал — чего я, токарь, квалифицированный человек, буду здесь копаться в талончиках? А потом понял...

И. Ищеев подробно рассказал, как он понял, что это далеко не пустяковое дело, что это дело достойно больших усилий и больших трудов.

— А ты слышал? — спросил Ищеев, прищурившись, — что Сталин сказал про торговое дело на съезде? Он так прямо и сказал, что есть вельможи, которые думают, что это не стоящее дело, мы таких вельмож возьмем за жабры. И правильно... Как же можно пренебрегать, если это партийное дело!

Была ночь, когда они вышли из пивной. Над городом висели веселые звезды. Жлодин мечтательно смотрел в небо и по-приятельски советовался с Ищеевым.

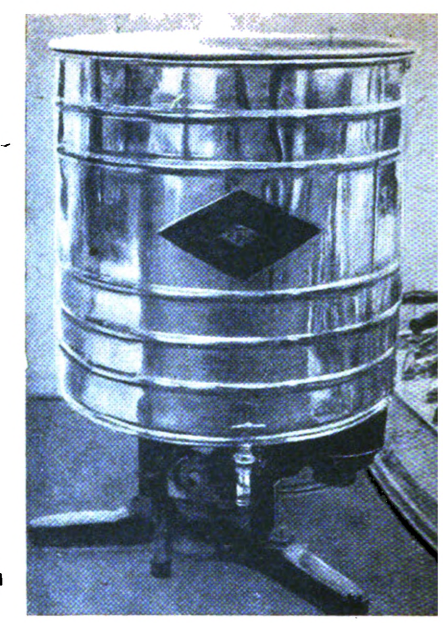
— А что если я свою киоску в три цвета покрашу. Допустим, крыша будет голубая...



У букиниста — Рис. Евгения Оис

на выставке в доме союзов

Ф. Кандыба



Стиральный аппарат

О Жане Жоресе, трибуне и мечтателе, рассказывают, что однажды на митинге забастовщиков хозяйский ставленник сказал ему ядовито:

— Послушайте вы, рабочий вождь. Вы призываете нас бороться за несколько сантимов, а сами приехали сюда в международном вагоне!

— Я всю свою жизнь посвятил борьбе в частности и за то, чтобы каждый рабочий имел возможность ездить в международном вагоне! — ответил Жорес под громкие аплодисменты.

Аплодисменты в этом анекдоте относились не только к остроумию Жоресса, но и к высказанной им глубокой мысли, — хотя мысль эта в те времена иначе как шуткой звучать не могла.

Однако, случилось, что этот исторический анекдот прозвучал совсем по-иному, когда в наши дни мы вспомнили его на замечательной выставке в Доме союзов. Тысячи вещей на этой выставке говорили о том, что наступает время, о котором мечтал основатель французской коммунистической газеты «Юманите».

Вещи эти были обильны и разнообразны. Иные были весьма просты, а иные представляли шедевры техники. Диваны, примусы, зеркала, радиоприемники, утюги, купальные туфли, детские игрушки, лампы, машинки для стрижки, портсигары, обои... Все они в один голос говорили об одном и том же, об удобствах, комфорте, об организованной жизни, когда вещи толково и исполнительно служат человеку, берегут его силы и предупреждают желания.

Однако, не это, конечно, было примечательным. Искусство обслуживания, то, что Америка называет сэрвис, — вещь не новая, и эта богатая выставка в той же Америке выглядела бы достаточно скромно. Гораздо интереснее то, что эти вещи сделаны были заводами, казалось бы никакого отношения к предметам комфорта не имеющими, — авиационными, автомобильными, машиностроительными химическими. Сделаны по большей части из отходов производства, в подсобных цехах и часто учениками в заводских школах.

Сказать — сделаны, конечно, мало. Важно, как сделаны, и об этом говорить можно очень много. Ведь именно здесь, в этих подчас мелких и простых вещах, нагляднее всего выступает культура производства, которая дается долгими годами и большим упорством. Сделать машинку для точки бритвенных лезвий вроде той, которую выставил ленинградский завод Севкабель, в некоторых отношениях, пожалуй, не легче, чем паровоз, а хорошая иголка требует не меньше заботы, чем, скажем, комбайн.

Эта тонкая культура, эта забота о вещи и о человеке, который будет ею пользоваться, глядит здесь с каждой полки.

Люди с недоумением смотрят на металлический столбик с круглой головкой и свисающими с нее черными тряпочками. Но вот включен ток, и столбик оказывается вентилятором с мягкими лопастями, которые расправляются при вращении. Он бесшумен, безопасен и занимает совсем мало места. Рядом стоит зеркало, обыкновенное, круглое, для бритья. Зеркало ничем не

примечательно, покуда не включен ток. После этого у него в середине зажигается лампочка, и зеркало само освещает лицо мягким ровным светом.

Крохотная динамомашинка шумит под нажимом пальцев и зажигает лампочку в карманном фонарике, для которого не нужно ни батареи, ни аккумулятора. Электрические камины.

Большая красная стиральная машина. Пять килограммов белья можно в ней выстирать и отжать за пятнадцать минут. Эта электрическая прачка сделана Ярославским электрозаводом. Она громоздка и довольно-таки дорога (800 рублей), но привлекает к себе посетителей и в особенности посетительниц — шутка ли, сколько живых прачек она заменяет!

Электрические утюги, чайники, кастрюли, сковородки соперничают друг с другом своею отделкой. Электрические моторы для патефонов и швейных машин — своею легкостью, настольные лампы — мягкостью и равномерностью света, печки — своим накалом.

Патефоны снабжены автостопами: когда кончается пластинка, диск останавливается сам по себе. На машинках для стрижки — ручки изогнуты так, что машинка прямо сама просится в руки. К велосипеду приспособлен моторчик — небольшой, весом всего в 6 килограммов. Этот моторчик превращает велосипед в мотоцикл. Небольшой мотор в комбинации с пилою весит всего 24 килограмма. За полминуты пила спилит дерево толщиною в целый обхват. Примусы, ничем внешне не отличающиеся от обычных, — горят бесшумно.

В одной небольшой тумбочке — целая куча радиоустановок; замечательный приемник — супергетеродин, который принимает чуть ли не весь земной шар, включая и Америку, и Японию, и Индию на коротких волнах, радиопатфон с электрической мембраной-адаптером и громкоговорителем, — таким, что трудно разбирать — радио ли это или подлинный оркестр гремит в зале. Радио—так называется эта штука — последняя новинка американской техники, сделана у нас Центральной радиолабораторией и заводом имени Орджоникидзе. А неподалеку от радиолы стоит кресло—большое, мягкое, удобное. Человек, сидящий в нем, встает, нагибается к своему креслу и за минуту превращает его в кровать, мягкую и широкую. Чуть подальше замечательные вещи из пластических масс, портсигары, ручки, обои, которые можно мыть горячей водой с мылом...

Нет человека, который не нашел бы здесь себе вещей по сердцу. Однако, наибольшую радость сулит выставка почетнейшей категории советских граждан — детям. Они катаются на педальных автомобилях завода имени Сталина, любуются игрушками-поездами, бегущими по рельсам, моторными лодками, летающими самолетами и с уважением смотрят на специальное детское оборудование — столы, стулья и целые детские комнаты.

О Жорессе, вернее о международном вагоне для каждого рабочего, мы вспомнили, глядя на оборудование детских яслей производства одного из авиационных заводов. Перед нами была комната палевая, блестящая лаком. Маленькие изящные стулья и столики, вертящиеся шкафчики для полотенец, наконец, стол с сидениями-ящиками для ребят, не умеющих сидеть на стуле.

Вся выставка говорит, конечно, о советском сэрвисе. Но содержание этого сэрвиса не погоня за деньгами потребителя, а внимательная забота о человеке, который достаточно много и хорошо работает, чтобы жить комфортабельной безмятежной жизнью.

Мягкое кресло для клуба



Книга предварительных заказов. В каждом отделе Никопольского универмага заведены книги предварительных заказов. В эти книги каждый желающий купить отсутствующий товар записывает свой заказ. Универмаг, получив заказанную вещь, извещает об этом потребителя по почте.

Удовлетворяется свыше 80 процентов предварительных заказов.

(«Известия», № 298, 1934 г.)

В помощь покупателю. В Ленинграде в музыкальном отделе образцового универмага «Пассаж» помогает потребителю купить музыкальный инструмент штатный работник магазина профессор Гашалей.

(«Советская торговля», № 5, 1935 г.)

Покупка приносится на дом. В образцовом магазине № 1 «Гастроном» (Москва) с открытием бюро обслуживания покупатель может не обходить все десять отделов магазина. Бюро примет заказ на любую покупку и отдает ее тогда, когда покупателю будет удобно зайти.

Покупка доставляется и на дом к назначенному времени.

Можно заказать покупку по телефону.

(«Вечерняя Москва», № 26, 1935 г.)

Клуб любознательных ребят. Тифлисский театр юного зрителя организовал клуб любознательных ребят. Ребенок, придя в клуб, может получить ответ на все интересующие его вопросы: по стратосфере, истории народов, географии, технике, математике и т. д. В клубе имеется комната различных развлечений (шарады, ребусы, задачи по занимательной химии и технике), организуются интересные панорамы и выставки.

(«Известия», № 292, 1934 г.)

Симфонические оркестры на заводах. В Горьком при клубе иностранных рабочих завода им. Молотова инженер Финк организовал симфонический оркестр. Задача оркестра — ознакомить широкие массы рабочих завода с лучшими музыкальными произведениями. В репертуаре оркестра — произведения Моцарта, Глинки, Штрауса и др.

В Николаеве на заводе имени Марти организован симфонический оркестр под руководством дирижера Любовецкого. Оркестр завода им. Марти разучивает лучшие произведения классической музыки и произведения советских композиторов.

(«Известия», № 301, 1934 г.)

Рестораны и закусочные. Ленинградский ресторанный трест в январе приступает к постройке здания кафе-ресторана на 200 мест в районе Пороховых погребов. Кафе-закусочная и ресторан открываются в Красногвардейске. Начинает работать новое кафе-закусочная на Лермонтовском переулке. В разных районах города открывается шесть закусочных-американок.

(«Ленинградская правда», № 13, 1935 г.)

Дневная гостиница для студентов. В Самарском студенческом городке организуется гостиница с починочными мастерскими, прачечной, баней и парикмахерской.

При гостинице открывается столовая и буфет.

(«Правда» № 350, 1934 г.)

Библиотеки патефонных пластинок. Центральный комитет комсомола Украины вынес решение об организации всеукраинской комсомольской библиотеки патефонных пластинок с филиалами в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Сталино и на Краматорском заводе.

В Одесской библиотеке уже имеется 1 800 пластинок. Пластинку на день можно получить за 25 коп. Библиотека обслуживает 400 абонентов. Из них больше половины клубы, институты, заводские комитеты, школы.

(«Правда», №347 1934 г.)

Ночные санатории для детей. Народный комиссариат здравоохранения Белоруссии открывает в Минске, Гомеле и Витебске ночные санатории для школьников. В 1935 году через них будет пропущено 1 800 детей. В санаториях организуются образцовые столовые, комнаты игр и учебы, педагогическая консультация.

(«Правда» № 35 , 1934 г.)

Село Чапаевка. Село Чапаевка — бывшая Богушковая слобода (Золотоношенский район) превращается в одно из наиболее зажиточных и культурных сел Киевской области. В этом году в селе построены звуковой кинотеатр на восемсот зрителей, школа-десятилетка, где обучается 630 детей, амбулатория, баня.

(«Известия», № 293, 1934 г.)

Хаты-родильни в селах Харьковщины. Призыв т. П. Постышева об организации хат-родилен в селах встретил горячий отклик среди колхозников Харьковской области. В селах организованы уже 31 хата-родильня. Для родилен отводятся лучшие дома. В течение этого года число родилен будет доведено до 300.

(«Социалистическое земледелие», № 4, 1935 г.)

Бани в колхозах. В колхозах Ивановской области построено 25 новых бань. Каждая баня состоит из нескольких отделений: раздевальни, зала для мытья, парного отделения, парикмахерской.

Пропускная способность каждой бани 500—600 человек в день.

(«Правда», № 298, 1935 г.)

Портные—шефы. Рабочий коллектив Самарских швейных мастерских индивидуальных заказов взял шефство над колхозными портнихами и портными.

При Самарских швейных мастерских организуется заочная консультация из лучших закройщиков и высококвалифицированных портных города.

Консультанты будут регулярно посылать в колхозы выкройки всех новых фасонов одежды.

(«Правда», № 342, 1934 г.)

Экскурсии для колхозников. Общество пролетарского туризма и экскурсий организует для колхозников Московской области массовые экскурсии в Москву, лучшие колхозы, машино-тракторные станции, на заводы и фабрики области. Экскурсии однодневные. В них примут участие 35 тыс. колхозников и 1 200 колхозов Московской области.

(„Правда", № 343, 1931 г.)

Кино-театры в воронежских колхозах. В колхозах Воронежской области работает 246 стационарных кино и 586 передвижек, 54 школы крупнейших районов имеют свои киноустановки. В 1934 году в деревне Бутурлиновке построен большой стационарный кинотеатр на 800 мест.

(«Социалистическое земледелие», № 81, 1935 г.)

Сапожные мастерские в колхозах. В колхозе «Новый путь» Горецкого сельсовета, Старорусского района открылась сапожная мастерская. По почину «Нового пути» открываются сапожные мастерские еще в нескольких колхозах района.

(«Ленинградская правда», № 13, 1935 г.)

Культура рабочей семьи. Рабкоры многотиражки «Мотор», издающейся на заводе «Динамо» в Москве, провели обследование 97 семей рабочих. Выяснилось, каким количеством предметов культурного обихода располагают эти семьи.

Результаты оказались очень интересными. Семьи имеют 4 961 книгу, 17 патефонов и 32 других музыкальных инструмента, 25 велосипедов, 32 пары лыж. На каждую рабочую семью приходится в среднем по 50 книг, каждая вторая семья имеет свой собственный музыкальный инструмент, каждая четвертая семья — велосипед.

(«Известия», № 293, 1934 г.)

Приморский вокзал в Ялте. 1 400 000 пассажиров пропустил в 1934 году ялтинский морской порт. Ежедневно в Ялту заходит теплоход, курсирующий по линии Батум—Одесса, шесть рейсов в день совершают пароходы местного сообщения. Нужно было создать специальный комбинат для обслуживания пассажиров. Постройка его сейчас закончилась.

Здание морского вокзала сооружено из железобетона. Со стороны города фасад здания украшен колоннадой из белого итальянского мрамора. Перед вокзалом широкая площадь, усаженная пальмами, елями и магнолиями.

На площади воздвигается железобетонный памятник Ленину, работы скульптора Нерода.

Вокзал имеет прекрасно оборудованный зал ожидания на 600 пассажиров, ресторан, комнаты матери и ребенка, парикмахерскую.

(«Известия», № 301, 1934 г.)

Питание пассажиров на железных дорогах. НКПС и Центросоюз приняли решение об улучшении питания пассажиров ж. д. В буфетах при 219 крупнейших станциях днем к приходу поездов всегда должны быть обеды. Горячие порционные блюда буфеты обязаны иметь во все время работы.

При 219 буфетах в ближайшее время начнут работать развозные тележки, которые будут продавать горячую пищу на перронах.

(«Правда», № 291, 1934 г.)

Гараж-отель. В Москве сейчас насчитывается 779 автомобилей, принадлежащих рабочим, служащим и ИТР. Для обслуживания этих автомобилей Авторемснаб решил построить специальный гараж-отель. Проект шестиэтажного гаража, разработанный инженером Кейлер и архитектором Буровым, утвержден Цудортрансом. Это будет самый большой гараж в Москве. Он рассчитан на 650 легковых автомобилей.

Владелец автомобиля, сдав свою машину, получит жетон. Его машина пойдет по конвейеру в цех обслуживания. На ходу машину вымоют, осмотрят и в случае необходимости сделают ей ремонт и заправят горючим.

По особой договоренности гараж будет доставлять клиентам машины и отвозить клиента из гаража домой.

(«Известия», № 13, 1935 г.)

Домашняя мебель. Лендревтрест в 1935 году выпустит на 15 миллионов разной мебели. Будут выпускаться обеденные столы, тумбочки. Из мягкой мебели — оттоманки и кресла.

Фабрика им. Войкова изготовит в этом году 30 000 стульев.

(«Ленинградская правда», № 8, 1935 г.)

Шкаф-кровать. Мастерские Москоопмебели выпустили первый опытный образец новой мебели — шкаф-кровать. Ночью шкаф превращается в кровать. Шкаф занимает мало места и удобен в небольших комнатах.

(«Рабочая Москва», № 12, 1935 г.)

Материалы для ремонта квартир. Ленинградское жилищное управление открывает большой магазин строительных материалов для ремонта квартир. В магазине организованы отделы санитарии, технический, химико-москательный, обоев, электроснабжения.

Будет продаваться клеенка и фанера.

(«Советская торговля», № 5, 1935 г.)

Двадцать тысяч гоночных велосипедов. С 1935 года Московский велозавод приступает к производству двух новых типов велосипедов: гоночного и дамского. В 1930 году выпущено 20 000 гоночных машин, 2 000 дамских.

(«Известия», № 304, 1934 г.)

Семьсот пятьдесят районных продмагов. Президиум Центросоюза решил организовать в этом году 750 продовольственно-бакалейных магазинов в районных центрах Союза.

Районные продмаги будут торговать сахаром, кондитерскими изделиями, чаем, мясными, рыбными, молочными товарами, консервами, мукой, крупой и табачными изделиями.

Районных продмагов в Московской области будет организовано — 40, в Ленинградской — 25, Ивановской — 28, Горьковской — 28, на Украине — 160.

(«Советская торговля», № 12, 1935 г.)

Книги приносятся на дом. По инициативе отдела кадров автомобильного завода им. Молотова (Горький) работникам завода организована доставка специалистом художественной и технической литературы. Специалист-книговед принимает заявки, консультирует и ведет учет прочитанного.

Тюльпаны и астры. Ленинградский трест зеленого строительства растит в питомниках и садоводствах большую партию цветов для весенней посадки на улицах, площадях, скверах, садах и парках Ленинграда. Будет посажено более двух миллионов корней виолы, астры, агератума петунии, фуксии, клюкса, хризантем.

В саду у Смольного и на островах им. Кирова будут посажены тюльпаны.

В городских садах появится 630 000 цветов.

(«Ленинградская правда», № 14, 1935 г.)

Наблюдения у конвейера

Ф. Пудалов

Мы уже вступили в период социализма
Сталин

Мне понадобились некоторые сведения из практики московского мясокомбината, я решил за ними съездить, чтобы кстати посмотреть это необычное производство.

После беседы с директором, я отправился в цехи, в сопровождении специального сотрудника. Хотя мясокомбинат работает уже больше года, экскурсии посещают его непрерывно. Ежедневно приходят то директор какого-нибудь завода, то группа студентов. Комбинат содержит экскурсовода, чтобы не отрывать специалистов от работы для приема гостей.

В шестиэтажном здании через широкораскрытые двери пологой лестницей мы поднялись прямо, не сделав ни одного поворота, до шестого этажа. Вслед за нами по этой лестнице, по мелким рифленым ступеням взошло стадо свиней и подсвинников, за ними подходили быки. Голые бетонные, везде мокрые этажи лайфстака полны были хрюкания и визга. После голодной ночи скот шел по узкому коридору, обмываемый обильными струями воды, сразу на конвейер.

За одну заднюю ногу цепь волочит свинью, вдоль оцинкованной стенки, к ножу. Эта картина неожиданно останавливает новичка-посетителя. Высокий парень, несущий на резиновом фартуке алые и вишневые струи свернувшейся крови, под тяжестью их откинув плечи, ждет; свинья в воздухе медленно подъезжает к нему, медленно вращаясь. Он делает шаг навстречу ей, соскучившись ждать, и нож держит в пальцах; как газету, легко прорезает тонкую кожицу над аортой. Свинья молча проезжает. Кровь выпадает и повисает длинным темно-алым толстым и гладким канатом. Следующий рабочий разрезает живот. Начинают снимать шкуру. Уже вынимают внутренности.

Этот внезапный поток истекающей и расчленяемой жизни, целых гуртов и стад жизней, бесконечно входящих в смерть, не меняя ноги и темпа, производит удручающее впечатление на зрителя, застигнутого врасплох чересчур книжной своей любознательностью и воспринимающего картину свободным от рабочего участия в ней вниманием. Следующим, которые пойдут смотреть мясокомбинат, я советую это путешествие начать не с шестого, а с первого этажа, где собираются готовые продукты и полуфабрикаты, и притти к удару ножа в самом конце пути; подниматься с этажа на этаж, т. е. двигаться против хода конвейера, в направлении **от смерти к жизни** и от товаров — к сырью.

Ознакомиться сначала с альбумином техническим, употребляемым для склейки лучших сортов фанеры, для водной дисперсии каучука, для пластмасс; подсчитать попутно хотя бы экономику этого высококачественного клея в деревообделочной промышленности. Затем пощупать пальцами и пересыпать на ладони альбумин пищевой, употребляемый в кондитерской промышленности для производства лжешоколадных конфет «гемоза», для печений и разных вкусных вещей.

Посмотреть (в первом этаже) многочисленные штабеля посоленных кож, — нашу обувь, которую вы и я в 1935 году купим в Мосторге. Различные сорта жиров, по виду ничем не отличающиеся от русского масла или прованского, так же как золоченый гребень, украшающий женскую прическу, ничем по виду не напоминает о своем кровавом происхождении, и я не замечаю, при виде яркого платья, что оно окрашено свиной кровью. Разглядывая фотографию маленького сына, я также не задумываюсь над тем, что она стоила жизни быку. Письменный стол в моей комнате никогда не вызывает во мне странной и, пожалуй, ненормальной мысли, что он оклеен дубом **по крови**. Когда я шагаю в галошах, не разбирая дороги по лужам, я не



В рыбацком поселке

Фото-этюд В. Шаховской



Сомы

Фото-этюд М. Магидсон



...Кто здесь передо мной — рабочие или врачи?

высчитываю экономию, получаемую моей страной от вытеснения бензина кровью при изготовлении галош...

Если бы меня повели такой дорогой — от моего письменного стола — через фанерную фабрику — к башням, превращающим кровь в темнокрасный и светложелтый порошок; мимо изящных витрин Мосторга — к соленым штабелям в первом этаже мясокомбината, и через сладчайшие прилавки Моссельпрома — к удару ножа в шестом этаже — тогда бы я, без сомнения, успел на этом пути приблизиться к пониманию уравновешенной психики рабочих мясокомбината и научился бы смотреть на обнаженные мускулы животного, содрогающиеся от холода, как на промышленное обыкновенное сырье, подобное железной руде или пшенице.

Хода конвейеров заполняют пространства цеха, извиваясь во всю длину зала. Людей много, они в белых одеждах стоят спинами ряд к ряду или движутся ряд мимо ряда. Каждый человек делает одну операцию—снимает шкуру с левой ноги, вынимает и исследует внутренности, срезает железу и отделяет больную от здоровых, сортирует шкуры. Не всем так легко, как наносящему первый удар. Вот мужчины кропотливо вытаскивают из раскрытых быков желудок и кишки. Быки спокойно едут, подвешенные за ноги. Рабочие возле них с той же скоростью едут на широкой влажной стальной ленте, вымытой как тарелка. Желудок вываливается и падает под ноги на ленту. Рабочий отпускает тушу и делает несколько шагов обратно по ленте, обходя двух-трех соседей, занятых той же работой; берется за нового быка.

Рабочий поспешно взрезает свинные железы и бросает влево следующему за ним. У него мокрые руки и кровь на белом халате. Желез много тысяч. Рабочий попутно присматривается к ним, поднимая к глазам и нагибаясь, напрягая внимание. Больные — отбрасывает в ящик.

Как может рабочий определять патологию организмов? Ведь для этого необходимо иметь специальные знания, которые испокон веку были политической собственностью «образованных классов»[1], привилегией буржуазии, обеспеченной классовым разделением труда от захвата рабочими. Слово «рабочий» всегда было синонимом понятия «необразованный»... Но у конвейера стоят именно рабочие,— разделывая тушу, они одновременно производят ветеринарное вскрытие и исследование. Ни на одну минуту они не задерживают размеренный поход мяса, жира и крови — но я останавливаюсь в недоумении; конвейер уходит вперед, неуклонный как время, потому что можно безостановочно разделывать

[1] Антидюринг, стр. 297, т. XIV, ИМЭЛ, 1931.

туши, но я не могу в темпе конвейера разгадывать социалистические загадки! Кто здесь передо мной — рабочие или врачи?..

Совершенно очевидно, нельзя производить на мясокомбинате ветеринарный осмотр вне конвейера. Включение ветосмотра в конвейер вынуждается темпом производства: в день забиваются тысячи голов скота и каждую «голову» необходимо проверить, здорова ли она и годна ли в пищу? Что же — врача поставить у конвейера, или от рабочего потребовать диплом об окончании высшего учебного заведения? А это ведь далеко не одно и то же!

У конвейера, конечно, рабочие—люди, «живущие трудами рук своих», по словарю Даля. В то же время, передо мною — несомненно — люди с высшим образованием.

— Ваше прежнее занятие?
— Рабочий.
— Ваше образование?
— Ветврач.
— Как вы попали на эту работу?
— Предъявил диплом и был принят на конвейер.

Вот эти, мои современники и даже сверстники, соединили в своих руках несоединимые от века «два класса труда» — физический и интеллектуальный. Они совместили в себе, на моих глазах, два противоположных класса культуры. Маркс это предвидел — но я вижу это!

Почему же мы ничего не прочитали ни в газетах ни в книгах об этом событии? Когда это произошло? Как это произошло?

Это впервые совершилось технически — на капиталистической фабрике. К этому привела «беспрестанная революция производства, непрерывное потрясение всех общественных отношений». Наш мясоконвейер в техническом отношении является копией чикагского.

«Революционизируя постоянно орудия производства, а следовательно и производственные отношения, а стало быть и все общественные отношения»[1]—буржуазия вынуждена последовательно передавать пролетариату все большее количество «элементов своего собственного образования»[2]. Развитие капиталистической индустрии вынудит буржуазию грубо нарушить ее «первый закон разделения труда»[1], хотя Гарнье предупреждал, что она этим обрекает «на уничтожение всю свою общественную систему»[2]... Но она вовсе не предоставила рабочему возможностей высшего образования, она отнюдь не стала требовать диплома от рабочего,— буржуазия в Чикаго послала к конвейеру и поставила в один ряд с рабочими опустившихся носителей высшего образования из разоренной мелкой буржуазии. Это нисколько не уничтожает капиталистическую систему, ибо укладывается в созданную ею «иерархию рабочих сил»[3], которые «нуждаются в очень различных степенях образования»[3].... Просто «буржуазия лишила ореола святости все рода деятельности, которые считались до сих пор почтенными и на которые до сих пор смотрели с благоговейным трепетом. Она превратила врачей... людей науки в своих платных наемных работников»[4].

Буржуазия оказалась в состоянии «принизить» науку и загнать врача к конвейеру. Но может ли она возвысить труд и посадить слесарей за письменный стол?.. Смешно! Вот это сломало бы иерархию и угрожало бы системе. А в СССР победивший пролетариат сам садится за письменный стол и овладевает высшим образованием, наследуя технику капитализма и преображая ее в социалистическую. В 1934 году в Москве, в Сибири и в Средней Азии рабочий предъявил диплом — и встал у конвейера.

Когда строился мясокомбинат, кто-то назвал его «конвейером смерти». Комбинат заслуживает более почетного эпитета. Он позволил впервые осуществить в заводском масштабе синтез физического и умственного труда. Тут—не одиночка-изобретатель, который сам себе плотник и слесарь. Это и не обычный инженер, который всегда может отойти от письменного стола к станку для пробы. Это конвейер синтеза физической и умственной работы, профессионально-производственного выполнения «интеллигентного»

[1] Ком. манифест, стр. 20, ИМЭЛ, Партиздат, 1932 г.
[2] Там же.

[1] Капитал, т. I, стр. 274, изд. 8-е, Соцэкгиз, 1931.
[2] Там же.
[3] Там же.
[4] Комманифест, стр. 20.

и простого физического труда не одним, а многими работниками.

На этом конвейере подвергаются переоценке многие наши социологические и бытовые понятия о профессиях.

Туши, как зрелые овощи на бесконечной «плети», проплывают мимо женщины ритмичной чередой. Женщина спокойно отрезает кусочки мяса от каждой туши и кусочки бумажной ленты с номерком. Клочок мяса с приколотым номерком падает в ведро. Другая женщина уносит ведро в лабораторию. Там лаборантки делают срезы и наклеивают их на толстые стеклянные дощечки. В темных нишах сидят микроскопистки и... не заглядывают в микроскоп. Они сидят, откинувшись к спинке стула, вставляют срезы в рамку и смотрят прямо перед собой на большой экран. Сильная лампа отбрасывает увеличенное в сто пятьдесят раз изображение на экран громадным резким рисунком, где капсулы трихины лежат как бобы. О трихинах у свиньи № 5000 пойдет сигнал на конвейер. Микроскопистки не заглядывают в микроскоп. Они удобно и непринужденно сидят и рассматривают рисунки на экране.

До сих пор мы знали сутулых микроскописток с налитыми кровью глазами и головными болями. Понятия о профессиях тяжелых и легких очевидно будут изменены.

Боенская, мясницкая работа раньше была мужской, грубой и очень грязной работой. Здесь в цехах — масса женщин и молодых девушек, все они в белых рубахах, вправленных в белые штаны. Некоторые еще в белых халатах, другие в резиновых фартуках. Подростки, ученики ФЗС, сидят вокруг стола, беседуя, отделывают железы внутренней секреции и бегло называют их точными терминами эндокринологии. Девушки красивы. Подростки еще красивее. Не влияет ли воздух?.. На белой коже лиц словно отблески с конвейера — румянец. Вид множества этих девушек, энергично режущих теплое мясо, вызывает сначала очень неприятное, двойственное чувство; затем оно подчиняется общему эффекту чистоты во всем производстве. Девушки склонны к брезгливости, они от природы чистоплотней мужчин. Приятно, что именно они приготовляют сырье для нашего питания. Это — деликатнейшая работа, почти хирургическая и почти кулинарная. Я начинаю допускать и, наконец, нахожу даже новую нормальность в этой кровавой деятельности женщин.

Кровь, вытекающая из сосудов, дальше течет по трубам и проходит сепаратор, разделяющий белые и красные шарики,—бледную, легкую, пенистую струйку лимфы, — и тяжелый, медленный, темно-вишневый поток. Сыворотка вливается в большие цехи-башни двухэтажной высоты. В них температура 140 градусов, там кровь взлетает из форсунок дождем кверху и осыпается сухой пылью альбумина.

Жир и сало невидимо текут в другие малолюдные этажи. В котлах жир плавится, вращаясь. В тележках-ваннах в другом зале он остывает, кристаллизуясь. В этом зале тепло, как в бане — 32 градуса. В герметических цистернах сало поджаривается на водяном пару, обжигающим. Шкварки идут под пресс. Кристаллизованный жир тоже идет под пресс — из него выжимается «жир жира» — высший сорт — олео-ойль.

Кишки тянутся в большие цехи, где их промывают, с них снимают жир, их продувают, сортируют, солят. Над столами, над ваннами огромные жестянные ноздри втягивают всю массу воздуха со всеми запахами.

Рогатые головы падают через люки в особый цех. С головы срезают щеки, мясо, вынимают язык. Машина разрезает голову вдвое одним ударом, как гильотина. Из черепа вынимают мозги.

Машина долго и терпеливо крутит языки в барабане, обмывая их.

Уборщицы ходят со шлангами по цехам и хлещут под резиновые сапоги холодную, теплую и горячую воду по бетонным полам. В шести этажах беспрерывно моют полы в течение десяти часов ежедневно.

Уборщицы, как и все рабочие сегодня утром всю свою одежду, и даже обувь сняли и оставили за порогом.

Они не должны внести сюда, ни соринки из внешнего мира. Но ведь на голых остались прикосновения их одежд! К коже пристали ее собственные испарения со вчерашнего вечера, следы постели, осадки ночного дыхания. Поэтому — сняв одежду и переступив порог раздевалки — рабочие еще не долж-

ны вступить и не вступают на территорию цехов, где они будут обрабатывать и готовить сырье для человеческого питания, — несколько метров они проходят босиком по нейтральной полосе между миром и мясокомбинатом — под теплым проливным дождем.

Чистые они входят в чистую светлую залу в цветах. Они получают свежее полотенце, их осматривают, и все одеваются в холщевые белые трусики, майки, штаны, рубахи, портянки и резиновые сапоги.

В половине дня они пойдут на обед и вернутся — этой же дорогой, и вечером пойдут отсюда же, — другой дороги на комбинат и с комбината для них нет.

А в нейтральной полосе между раздевалками, и в течение круглого года льют тропические ливни с бетонного неба, из жестяной тучи. Четырехкратный душ ежедневно очищает, массирует, оздоровляет и облагораживает кожу: как не стать красивыми?

Фабрика воспитывает профессиональную чистоплотность, физическую основу культуры.

Личная физическая чистота рабочих становится чистоплотностью в производстве. Рабочие полощут туши по пути конвейера во многих водах, ее моют дождями и фонтанами. Ей делают «туалет».

Шкуры с туш почти уже спущены. Они свисают забавным плащом с бычьих плеч, цепляясь другим краем за кончик хвоста. Перед бракером шкуру срывают с плеч. Осмотрщик в чистом халате, с карандашом в руках, стоит на единственном сухом месте за пультом. Он издали видит вредный надрез на шкуре возле правой ноги и на листе белой бумаги отмечает брак тому рабочему, который снимает с правой ноги.

Рабочий внимательно осматривает тушу и наклеивает записку — «Туберкулез». Его подозрение будет сверено дальше, в конце конвейера с сообщением другого рабочего, тоже с высшим образованием, обработавшего ливер.

Неторопливый конвейер разворачивается в историю, протягивается первым мостиком над «пропастью» между человеком науки и рабочим.

Рабочий отрезает последние внутренности быка — почки, осматривает и отбрасывает в сторону больные. У него тоже высшая квалификация, полученная в институте. Отрезать почки сумел бы всякий, конечно, — но как бы он мог сортировать их по годности, не имея научных знаний? И в этом месте конвейера необходим ветврач. И так человек с высшим образованием стал к конвейеру и включился в производственную цепь рабочих. Так он утратил буржуазный фетиш чистых рук на производстве и надматериальную надменность и превосходство своего умственного труда над физическим. «Человек науки» перестал отделяться «от рабочего целой пропастью»[1].

Инженер перестает быть белоручкой. Инженер перестает быть только организатором. Его роль на производстве определяется порученным ему рабочим местом. У конвейера он выполняет одну операцию. Может ли он отойти от конвейера и сделать работу организатора? В любой час, благодаря высшему образованию. Но он так же нужен на одной операции, как и на общем руководстве целым процессом.

Слесаря испокон века и еще до сих пор стоят у верстаков. А на ЦАГИ слесарей-механиков п о с а д и л и, а верстаки выкинули вовсе.

Слесарей посадили за письменные столы. Каждому дали отдельный письменный стол, как инженеру, как врачу, у которых на письменном столе не только чернильница, но и другой инструмент.

На столе у слесаря-механика на левом углу стоит лампа под зеленым абажуром. Прямо перед слесарем стоит чернильница, перед ней лежит ручка. На правом краю стола привинчены тиски. В верхнем ящике бумага и т. п. В других ящиках инструмент, материал, неоконченные заказы.

Большой цех. Как в конторе — ряды столов. Вокруг стоят станки: токарные, фрезерные, маленькие прецизионные для самой тонкой и точной работы. Рабочий оставляет свой стол и подходит к станку. Одну часть работы он делает на станках, другую за письменным столом, на тисках и т. д. Он строгает, шлифует и д у м а е т.

Слесарь на социалистическом пред-

---

[1] **Капитал, т. I, стр 273, прим. 67.**

приятии — и не только тот, который сидит за письменным столом, но и тот, который продолжает стоять за верстаком — не только слесарь, но одновременно учащийся, а к тому же комсорг, парторг и соцсовместитель. Это уже нечто, принципиально отличное от мануфактурной «иерархии рабочих сил», которые «нуждаются в очень различных степенях образования». Слесарь становится «индивидуумом вполне развитым» [1], для которого различные общественные функции являются «сменяющими друг друга формами деятельности» [1]. Производительный труд начинает предоставлять «каждой личности возможность развивать во всех напралениях и проявлять все свои способности — как физические, так и духовные. Труд следовательно из тяжелой обязанности должен превратиться в удовольствие» [2].

На XVII партконференции в докладе тов. Куйбышева о задачах второй пятилетки было сказано: «Это будет период, когда рабочий, занятый физической работой, начнет в широком масштабе получать политехническое образование, когда тем самым будут создаваться предпосылки для изжития в будущем противоположности между умственным и физическим трудом».

Уже во втором году второй пятилетки рабочий со средним образованием стал массовым явлением в СССР, рабочий с высшим образованием, применяющий его к работе, как квалификацию — это новое. В Америке это—глубокий прорыв блокады физического труда умственным. В наших условиях это начинается исторический процесс ликвидации «отделения физического труда от умственного, как... разделения труда», как «двух классов труда» [3].

[1] Антидюринг, т. XIV, ИМЭЛ, стр. 1631.
[2] Там же, стр. 299.
[3] Капитал, т. I, стр. 274 - 275.

Время, когда любой конторщик считал себя выше рабочего именно потому, что он освобожден от физического труда, давно прошло в нашей стране. Высшее образование в социалистическом обществе становится высшим личным развитием. Впервые оно становится подготовкой к работе всеми способностями, не только мускульными, но и умственными.

Рабочий осматривает все достоинства говядины и метит тушу черной цифрой сорта: «I», «II» и т. д. Туша медленно подъезжает к другому, на соседнем балкончике; тот набрасывается с вибрирующей пилой и режет, нажимая изо всей силы, по позвоночному столбу: электрическая пила еле справляется с длинной цепью плотных костей. Туша неуклонно движется, таща человека, как бы сопротивляясь, и проезжает мимо балкончика. Площадка кончается. Пильщик со спортивной гибкостью вывешивается за барьер, вслед за быком, рискуя выпасть. Затем он бросается навстречу новой туше, как голкипер навстречу мячу, высовывается с другой стороны балкона, спеша встретить быка раньше на четверть метра.

А на столе, где выпали легкие и занумерованное сердце, еще один рабочий с высшим образованием разделывает ливер, попутно вскрывая легкие и проверяя их «на туберкулез».

Две половинки бывшего одного животного подъезжают к концу своего пути. Все сделано. Справа дует морозным белым ветром из узкой двери холодильника. Две половинки туши въезжают туда.

После первого удара прошло сорок шесть минут.

Тушу быка с наклейкой «туберкулез» удаляют в сторону, получив подтверждение от легочника. Трихинозную свинью тоже не впускают в холодильник, по сигналу микроскопистки.

на татарской равнине

Леонид Саянский

Про город, в который мы ехали, энциклопедия Брокгауза говорила так:

«Козельск, уездный город Смоленской, а с 1776 г. Калужской губернии. Стоит на р. Жиздра, под 54° с. ш. и 35° в. д. Основан в XII веке. Жителей 11 412 чел. обоего пола».

К сожалению, в энциклопедии не было сказано, что попасть в Козельск из Москвы можно только с мучительной пересадкой в Сухиничах; мы узнали это на собственном горьком опыте.

В зеленой кадке, посреди зала «номер первый», доживала свой век облысевшая пальма. Наверху ствола вместо утерянных листьев были привязаны густые еловые ветки, отчего дитя юга выглядело довольно странно. Кадку опоясывал кумачевый плакат с призывом: «Граждане, будьте культурны и не мусорьте окурков в тропическую растению».

Из отворяемых то и дело входных дверей несло пронзительным холодом; тогда все, — и я в том числе, — подбирали ноги и страшными голосами кричали:

— Дверрри!! Двери! Не лето!!

На завьюженных окнах узорились морозные ледяные папоротники, — за окнами было минус двадцать; на пыльном циферблате была полночь, а на унылом буфете — бутерброды третичной эпохи и бутылка ситро смертельно яркого цвета.

Составив в углу два столика, мрачно сидели мы, — десять проезжих людей.

Пятеро из нас ждали поезда молча и умело. Мы испытали две войны, ходили в строю от Галиции до Хабаровска, замерзали в окопах под Пермью, ели воблу и пили морковный настой, разъезжали в тифозных теплушках, отлеживались в госпиталях после ран; потом ставили на пустых местах фабрики, промысла и совхозы, — словом, мы пятеро, были все испытавшие, нормальные советские люди «за сорок лет».

Остальные пять наших товарищей едва ли имели все вместе полторы сотни лет, были густоволосы, громкоголосы и нетерпеливы.

Они свирепо стучали озябшими ногами и рассуждали о некоторых отсутствующих деталях культурного обихода.

— О том, например, что дорога могла бы согласовать свои поезда, избавив пассажиров от семичасового ожидания на запущенной станции;

— что сама станция могла бы завести блюдце и поить путников горячим чистым чаем, а не противной ячменной бурдой;

— что выгрывать у нас из рук едва допитые стаканы не стоит, — мы вне подозрений и едем по делу, а не собирать стаканы по глухим станциям;

— что, вообще, чорт возьми, мы еще не научились уважать друг друга и жить культурно...

Потом мы пробовали дремать, привалившись друг к другу. Станционный швейцар в колоссальном тулупе и треухе подошел и сказал фразу сторожа из андреевских «Дней нашей жизни»:

— Здесь спать нельзя!

— Что же можно? — спросили мы.

— А-жи-дать, — твердо, чеканя каждый слог, ответил бородатый портье.

Мы маялись, вздыхали, пили до тошноты мутную жижу и выходили освежиться на пустынную платформу. Сонная станция выглядела совершенно почеховски. В одном из окошек был виден мирно спящий за столом усач в красной шапке. Напудренный инеем, большой колокол безнадежно молчал; подслеповато мерцали огни стрелок и далеко-далеко немигающим зеленым глазом глядел в ночь и в поля выходной семафор. А за ним простирались белесые снежные дали, царила морозная тишина; там лежали смоленские древние земли, всего лишь семнадцать лет тому назад выпавшие из мертвенно пышного царского титула: — «И великий князь земли Смоленския»...

О них было сказано так в той же старой энциклопедии:

«Козельский уезд орошается рекой Жиздрой. Много болот. Земли пахотной 124 660 десятин, из которой частной собственной, дворянской 87 303 десятины, разных учреждений и монастырской 19 959 десятин и неудобной 7 651 десятина».

Сколько удобной земли приходилось на долю всех крестьян, энциклопедия умалчивала. Но с помощью арифметики все желающие могли точно вычислить: 9747 десятин, меньше 8 процентов.

Суровый бородач выполз на перрон, хрупая по снегу подшитыми кожей огромными валенками, подошел к колоколу и одним звонким ударом рассек ночь и тьму. Семафорный зеленый глаз заморгал ободряюще, а под ним появились и быстро к нам приближались белые огни. Застывшие рельсы запели.

— Ля! — сказал один из молодой пятерки.— Они звенят в чистое «ля»!

Инженер Сорин был не только инженером, он любил Байретского отшельника и имел абсолютный слух.

—

В четвертом ряду на длинной скамье сидел высокий и могутный старик с лицом Тургенева. Совершенно серебряные завитки картинно спускались на мощный темный лоб. Оранжевый тулуп старика тесно соприкасался слева с жеребковой курткой районного кооператора, а справа с моим москвошвейским «регланом». Кругом, так же слившись плечами, локтями, сидели и часами напряженно слушали докладчиков колхозники, заготовщики из райпо, профработники, комсомолки-доярки, избачи-комсомольцы, счетоводы и шкрабы,—делегаты районного съезда советов.

Представитель от эмтеэс, в бобриковой куртке и закатанных на колени бурочных сапогах, говорил неумело, слегка запинаясь, то и дело ныряя в разложенные на столе бумажки и сводки. Он заикался, но зал слушал его, как Качалова. Кучерявый старик слушал строго, иногда кивал одобрительно, порою шептал, повторяя цифры. Потом он испытующе поглядел на меня. Испытал, очевидно, доверился и нагнулся ко мне. От него вкусно и тепло пахнет дубленой кожей и печеным хлебом.

— Это правильно,— густым шопотом сказал он, — в тридцать первом-то шесть было, а теперь у нас семьдесят восемь колхозов. Это верно.

«...в текущем году наше колхозное эм... хозяйство... эмм... — продолжал докладчик, — приняло уже явно выраженный садоводческо-огороднический уклон. Под колхозными садами и огородами в 1934 году было занято двадцать тысяч гектаров, не считая совхозных садов на бывших монастырских землях...»

«... На настоящий момент по колхозам имеется пчеловодческих пасек... плодовых хозяйств... Главный наш потребитель московская кооперация, которой сдано осенью, по договорам с колхозами плодоовощной продукции, меда и угодной продукции на два миллиона»...

— Это тоже все правильно,— подтвердил мой сосед. Он строго сдвинул седые мохнатые брови и объяснил мне, очкастому горожанину:

— Пчела, говорю, у нас пчела — во! Как пуля. Жгнет в лоб с разлета, лягешь, не встанешь. И яблок наш тоже. Как гиря. Падает с дерева в лоб — лягешь, не встанешь. Понятно?

— Конечно,— от души согласился я.

На забитой народом низенькой сцене клуба среди пестрых платков, пиджаков и курток, вдруг началось шевеление. Президиум задвигал стульями, зашептался, оборачивался, встречая кого-то.

Секретарь встал, махнул рукой и сказал:

— Товарищи съезд! К нам только что прибыли из центра наши шефы из Московской академии связи... Желают рапортовать... — Он не докончил. его заглушили ладошными залпами. Зал гремел; колыхались головы и плечи, делегаты вставали, встречая шефов. Шефы— пятеро, те самые, молодые, что маялись вместе с нами на станции — стояли на сцене на вытяжку, по-военному. Одинаковость гимнастерок, петлиц и ремней сравняла их, как в строю, и лица пяти инженеров казались похожими.

Один из них, — тот что подслушал звенящее «ля» в стылом рельсе,—громко и четко рапортовал о том, что:

«Бригада кончающих Академию связи слушателей за период осеннего отпуска установила в колхозах Козельской эмтеэс одиннадцать двухсторонних радиостанций с микрофонами и репродукторами».

И что:

«Бригада прибыла нынче, чтобы передать в руки съезда советов оборудован-

ный силами Академии колхозный радиодом, первый в нашем Союзе, а, значит, и в мире».

— Ррраааа!.. — раскатывалось по залу,— да здрррра-ааав...! Урра-аа!!

Старик — мой сосед, — вскочив на скамью, восторженно махал белым треухом. Оранжевый рукав его полушубка мелькал над кричащей толпой. Курчавая борода шевелилась, старик что-то кричал, но его голос тонул в зычном гуле оваций. Под этот ритмический гул и ладошный плеск повернулись и, как на параде, прошли за сцену шефы.

— Ррраааа!.. — кричал весь зал вслед подтянутым фигурам, с ремнями, перекрещенными на прямых спинах.

Старик с головою Тургенева успокоился, слез со скамьи; вынутым из треуха большим красным платком вытер запотевшее лицо и опять испытующе поглядел на меня.

— Это правильно, — строго сказал он. — У меня самого таких двое. В ОКДВА (он произнес — «в Одвака»). А сам-то я тоже—фанагорейского графа Суворова гренадерского. На япона ходил. Понятно?

— Понятно,— уважительно ответил я.

—

«Во времена Батыя Козельский уезд входил в состав Карачевского княжества. Козельск прославился своей обороной против татар, был разрушен до тла, а жители перебиты. В половине XV века Козельский уезд был захвачен Литвой, но потом возвращен Москве»...

Древние, голубые от вечерних снегов, равнины и чёрно-бурые переселки расстилались по сторонам.

Грузовик наш кренился, качался и медленно плыл по бескрайнему морозному морю.

Мы, приезжие шефы, лежали, зарывшись в сено, пряча лица от обжигающего ветра, и слушали рассказы о татарской равнине.

— Здесь и до сих пор еще часто находят в земле старинную сбрую, шеломы, татарские сабли...—говорил молодой и всегда веселый инженер Маторин. — А особенно как тракторами пахать стали.

— Да и деревни-то здесь, — добавил второй бригадир и инженер Яков Сорин,— деревни, я говорю... ффу, чорт, ну и ветер... Названия от татарского ига остались. Есть деревня Ордынка... Полоны — есть... Волхонка — от князей Волконских осталась. И народ здесь самый бедный, забитый был. Этакие «смоляные», знаете... Голытьба. Темнота...

Он рассмеялся и приподнялся на локте.

— Да, что говорить! Старики-то еще и теперь есть, как лес дремучий... Вот, летом, ставил я рацию в Клюксах, где сейчас мы с вами были. Орудую в клубе. Комсомольцы мне помогают. А старики и бабий мир стеной сзади сгрудились. Стоят, молчат, дышат натужно, исподлобья глядят. Установил я свою «МРК-1», вызываю соседа из Губино,— вот куда сейчас мы едем. Спрашиваю в микрофон — «как слышите меня, Губино». Из репродуктора голос: «Я Губино. Слышу хорошо». А толпа сзади — аххх! И даже отшатнулись многие. Старичишко один, юркий этакий, борода — козий хвост, на цыпочках побежал за печку, поглядеть, не подсажен ли у меня кто? Вернулся, лицо ошарашенное.

— Ни-ко-во!.. — шепчет. Старуха рядом перекрестилась, говорит убежденно:

— Жначит чорт!

А второй старик, рыжий, борода в полгруди, сплюнул и буркнул:

— Хуже. Политотдел...— И вышел, хлопнув дверью.

Оказалось — раскулаченный лавочник местный. Представляете, как ему политотдельское радио поперек горла встало!

— Земля древняя, что говорить. Но омоложается, совершенно непостижимо...

Мы слушали эти рассказы и, колыхаясь среди сугробов, подплывали к занесенной по пояс снегами деревне Губино.

—

«Сельское хозяйство слабо развито, скотоводство недостаточно, даже для хозяйственных нужд. Отхожие промыслы очень развиты. За 1911 год ушло из деревень 19 000 человек, из коих 973 подростка».

Я вспомнил эту выдержку, когда мы ходили гурьбой за председателем колхоза «Победа» в селе Губино. Сознаюсь, ходили мы с трудом, замерзали и, после ночи в Сухиничах, спать хотели, как на отчетном докладе учрежденческой бухгалтерии. Но председатель, тов. Чурин, так радостно сиял, показывая нам свое хозяйство, он так гордился и свинофермой, и большими конюшнями, и, особенно, бычками, что было немыслимо огорчать его невниманием.

— Эх, бычок, вот бычок! — кричал председатель, — ну, сказать не соврать—

через два года пудов на полсотни потянет.

И он гладил какого-то рыжего бронтозавра по широкому, как лоток, лбу. Потом мы смотрели старинный помещичий дом с облупившимся непонятным гербом на фронтоне. Мы ходили по старым дворянским «боскетным» и гостиным, из класса в класс, — ибо в доме давно была колхозная семилетка. И один из пестроголовой двенадцатилетней толпы,— некий Петр Жуков,— совершенно серьезно и твердо ответил нам, любопытствующим горожанам:

— Кем я хочу быть? Очень просто, — историком! Интересно мне знать, как неправильно жили раньше, чтоб, значит, не ошибаться вперед...

Мы помолчали ошеломленно. Потом один из нас спросил:

— А ты, может, и по-немецки знаешь?

— Очень просто, — ответил Петр Жуков,—вас лебен зи, геноссе?—с сильным русским акцентом, но твердо произнес он и ухмыльнулся: — я ведь, в пятый перешел. А в пятом немецкий у нас обязательный.

— Ты, конечно, пионер?

— Нет,— ответил мальчуган.— Отряд-то у нас был, да рассыпался. Руководить некому...

— Вот те и на! А комсомольцы ваши где? — Мы укоризненно обернулись к председателю колхоза. Мы ожидали встретить его сконфуженный взгляд.

— Скандал, товарищ!—сказали мы,— что же это? А еще говорят, вы передовики в районе! Сколько же у вас комсомольцев в селе?

— Сказать — не соврать, три, — со вздохом, но без особого конфуза ответил нам председатель. — В тридцать втором году двенадцать комсомолов было.

— Где же они?

— В инженера подались да в доктора. Вузы, видишь, им понадобились... Десять душ на учебу сбежало в Москву то... А я тут отдувайся, пока эти не подрастут...

И он кивнул на окружавших нас будущих историков, докторов и инженеров.

Через полчаса мы сидели в колхозной столовой за накрытым длинным столом. На трех больших противнях истекала горячим салом свинина. В глиняных чашах отливал янтарем густой мед. В деревянных посудинах пирамидами высились моченые крупные яблоки, а в интервалах, между посудою, желтели большие глыбы масла. Старуха, с иконописным лицом, усердно кромсала огромные ломти от еще теплого каравая. А догадливый секретарь колхозного правления, морщинистый, курчавобородый смолянин, ходил сзади вдоль скамей, нагибался таинственно к каждому, чем-то булькал, потом совал нам по очереди глиняную кружку и все приговаривал певуче и убедительно:

— А нусь-ка с морозу-та! Нусь-ка с устатку-та-а! От зажиточной жизни-та!

— Вот с ножами и вилками горе! — сокрушенно извинился председатель, — нету их в кооперации. Уж вы ложками как-нибудь. Они острые, ложки-то... Кушайте. Поправляйтесь!

Мы кушали гомерически, застенчиво уступали певучему секретарю, а потом спохватились:

— Постой-ка, хозяин!— сказали мы.— Откуда же такой пир? Свадьба что ли у вас готовилась сегодня?

— Зачем, свадьба. Для вас, для шефов.

— Да когда же вы успели-то? Ведь мы здесь у вас всего час какой-нибудь!

— А радио-то на что? — ответил хозяин, — сказали, едут, мол, к вам! Пока ехали вы, то да се, а мы изготовились. Нусь-ка, с мороза-та-а! Поправляйтесь!

В самом теплом и светлом углу, на широком столе стоял длинный серый ящик, опутанный проводами; блестели хитрые клеммы, кнопки, стрелки и рычажки: черный матовый рупор виднелся сбоку. Паренек лет семнадцати, в кепке козырьком на затылок, деловито взял рожок микрофона и привычно сказал:

«Я—Победа! Я—Победа! Козельск, слушайте. Что сегодня у вас для нашего клуба? Победа — прием. Принимаю.»

Он передвинул рычажок. В рупоре что-то заворчало, заскрипело, а потом густой голос, измененный усилителем, заявил:

«Я—Козельск, Кренкель, здорово!.. Сообщаю для клуба, в 19.30 пластинки передаем из новой колхозной радиостудии.»

«Алло, Козельск! Я — Победа. А краковяк есть?»

«Я — Козельск. Краковяк — поломатый. Есть хорошая полечка. А в 21.30

транслируем колхозный вечер из нашего клуба. Я — Козельск. До свиданья, пока!»

Тут мы вспомнили о вечернем концерте колхозников и, тяжело поднявшись, стали прощаться. Овечерело совсем. Поземка свистела по занесенной дороге, кидалась горстями колючего снега. В мутнобелых просторах возилась старуха-вьюта. Грузовик тяжко крякал, буксовал в колеях, полз вперед. Перед фарами отчаянно танцовали ярко освещенные снежинки. Вьюга металась в сумрачных древних просторах, кидалась на смоленские села, сгибая их антенны. А с антенн, рассекая, кромсая морозный эфир, ночь, просторы и мглу, неслись и скрещались невидимые разряды.

Смоленские древние земли, — Ордынки, Клюксы и Губины — разговаривали запросто, по-соседски друг с другом на короткой волне; молодайки прихорашивались, готовясь плясать радио-краковяк.

—

«Фабрик в Козельске нет. Женская богадельня на одиннадцать человек, семь церквей и один мужской монастырь, носящий название Оптина пустынь».

Над застывшими белыми куполами монастырской рощи испуганно метались и горланили разбуженные грачи. Комсомольцы шутя пустили ракету в морозное, черное небо. На трехсотлетней паперти массивного толстостенного собора, несмотря на мороз, веселилась молодежь, ожидая начала колхозного концерта, устраиваемого в честь съезда советов. Артисты прибывали на розвальнях, целыми пачками. Свистел снег под полозьями. Закуржавленные лошади выносили из тьмы новые партии концертантов.

Концертанты в тяжелых тулупах грузно соскакивали с саней, бежали по ступеням к массивным железным дверям собора. Под полами шуб, под платками они бережно кутали от мороза свои домры, баяны, гитары и трубы.

В огромном и гулком зале на стенах выцветали последние святые.

Военный оркестр отгремел трескучий марш, занавес раздался на две половины, и струнный оркестр колхоза «Память Ильича» открыл вечер самодеятельности вальсом. Дирижировал длинный сутулый учитель, инструктор колхозного клуба. Он был в новеньком пиджачке и огромных розовых валенках. Скрипка взлетала и подпевала в его руках, — он дирижировал, играл, подсчитывал ногой, кивал басам, качал головой опоздавшим вторам и смахивал трудовой пот с лица. После вальса оркестр долго и дружно играл одно колено из «Светит месяц». Сыграл раз, два, пять, десять раз. Кто-то из зала по-дружески крикнул:

— Ребята! А дальше?

Оркестр насупился, сыграл колено в одиннадцатый раз и смолк.

Дирижер обернулся, сунул скрипку подмышку, вытер пот, раскланялся и сказал:

— Товарищи публика! Наш оркестр еще очень молодой. Нам всего две недели. Вальс мы выучили и кусочек из «Месяца» тоже. А дальше пока не успели. Приходите ужо в другой раз нас послушать!

— Брраво-о! — кричал весь зал, подкупленный искренностью дирижера. — Браво-о-о! Би-ис!

И тогда, ободренный успехом, новорожденный оркестр, улыбаясь, исполнил еще раза три тот же вальс и кусочек «Месяца».

Потом выступили две доярки из «Пути к социализму» с колхозными частушками. Затем была пляска целого ансамбля, с лихой дробью подошв, с посвистом, гиканьем и старинной, от дедов, присядкой.

Наконец, вышел объединенный хор трех ближних от города колхозов.

— Сопраны сюда!.. Тенора — влево больше... Басы где... Басы — осадите... Вот так... Ля-си-до-о! — командовал энтузиаст-дирижер. Он метался по сцене, устанавливая певцов, давал «ля» на скрипчонке, шептал наставления, делил листики нот. Кончил все, подошел к самой рампе и дрогнувшим от волнения голосом объявил:

— Колхозный хор исполнит... «Охотничью песнь» Мендельсона!

Мой сосед-москвич слушал, вытянув шею, не отрывая глаз от дружно певших колхозников. Потом он отчаянно аплодировал, яростно кричал бис. Отвалился на спинку скамьи и взволнованно сказал мне на ты:

— Мен-дель-сон... понимаешь ты это? Мен-дель-сон?! В исполнении вчерашних смоленских мужиков... а?

Он покрутил головой и пробормотал:

— Чорт знает, что делается кругом... Вот так эпоха, братцы!..

«В городе трехклассное училище. Жилых домов 1 157. Из них двухэтажных семь».

В одном из семи еще вчера были горсовет и рик. Вывеска над входными дверями осталась на месте, флаг трещал и хлопал над крышей совета. И даже на всех внутренних дверях блестели нарядные стеклянные таблички: «кабинет председателя», «приемная», «кабинет зампредсовета». Но за официальными этими дверями открывалось неожиданное зрелище.

В кабинетах были хорошие мягкие кровати и столики. Светились настольные лампы, на тумбах стояли живые цветы, ковры на полу, картины на стенах, мягкая мебель,— все было подобрано и установлено умело, уютно, со вкусом.

— Что это?—изумленно спросили мы наших хозяев, — откуда такие будуары?

Секретарь райпарткома славно улыбнулся в рыжеватые усы.

— Что ж вы думаете, москвичи, мы лаптем щи хлебаем, что ли? Народу-то на съезд привалила куча. Гостиницы у нас нет. А куда мы гостей дорогих денем? Ну, вот мы и решили на несколько дней обойтись без своих кабинетов, а создать приличные условия для приезжих. Мебелишку нашли, прибрались, почистились, чтобы было где отдохнуть... Культура отдыха—это, брат ты мой, товарищ, великое дело! Довольно на топчанах-то повалялись!

Он, присев на кресло, долго и горделиво рассказывал нам, как отсталый и бедный район постепенно, с помощью эмтеэс вытянулся на одно из первых мест в области.

Как пришлось и приходится воевать с бескультурьем, с прижимистым старым бытом, как трудно ему без людей, без культурников и избачей.

Он заставил нас одеться и пройти в соседний тоже двухэтажный дом эмтеэс. На втором этаже, в тихой бревенчатой горнице, за радио-ящиком сидел дежурный оператор.

— Здорово, Кренкель! — сказал ему секретарь,— ну, как сеть? Все в порядке?

— Скажи нам, почему ты назвал его Кренкелем? Мы второй раз слышим сегодня это имя?

— А они, колхозные наши радисты, все зовут себя «Кренкелями». Коля «Кренкель» есть, Ваня «Кренкель».

Кренкель-Демин, совсем юноша, улыбнулся нам дружески и кивнул на скамью — садитесь! Затем щелкнул переключателем и оказал в микрофон:

— Я — Козельск, МТС. Я — Козельск. Передаю по всем колхозам. Завтра в тринадцать часов директор эмтеэс будет беседовать с председателями. Сообщите ячейкам, соберите к аппаратам актив. Завтра, ровно в тринадцать. В тринадцать. Прием.

Снег скрипел под ногами, мороз крепчал, звезды сделались ярче. Мы вернулись в гостеприимный и теплый горсовет. Нас пытались заставить ужинать и усердно угощали опять свининой, медом и маслом. Мы с трудом что-то съели и бросились к постелям. Репродуктор в углу за цветами меланхолично бренчал московскими клавишами. Мы дружно расположились на отдых, дымили папиросами, наслаждаясь покоем, уютом, комфортом. Один из приезжих, поймав кого-то из хозяев, что-то прошептал ему на ухо. Хозяин развел руками и сконфуженным тихим голосом ответил:

— ... придется, тово... на двор... Конечно, тово... мороз... мы-то привычные... ах, чорт...

Мы, смеясь, утешали растерянного хозяина.

— Канализация уже в смете! — уверял он нас, — да ведь вот... дыр-то много от старины нам досталось... Все сразу не сделаешь... Уж мы клубы сначала.

Мы засыпали в своих неожиданно уютных спальнях. А засыпая, я думал о нашей удивительнейшей эпохе. О «Кренкелях» в Клюксах и Ордынках. О двенадцатилетних историках. О торжественном Мендельсоне, разученном в селе Губине. И в уме я редактировал новые данные о бывшей Татарской равнине, — а ныне Козельском районе.

Из старых данных об этом древнем куске нашей родины оставались только две: широта и долгота.

Четыре дня

С. Бирман
директор завода им. Петровского

Крепчайшими морозами начался год. Первые четыре дня января сопровождались обильными снегопадами. Но завод работал безукоризненно. В сводках, печатаемых в «За индустриализацию», все эти дни только «Петровка» печаталась жирным шрифтом, почти все заводы значительно отставали. Народ наш доволен...

5 января утром мороз 28 градусов по Цельсию. За мою двухлетнюю работу в Днепропетровске ничего подобного не было. Старожилы таких морозов не помнят. Надо быть бдительными. Следим за работой всех цехов уже не посменно, а ежечасно.

Работа идет нормально, без перебоев и затруднений. Бессемеровский цех и рельсобалочный стан в семь часов утра остановили на плановый ремонт, он будет закончен поздно вечером. В доменном цехе еще со вчерашнего дня несколько расстроился ход печи № 5, из-за чего 5 января задание по выплавке чугуна не выполнено. Но все это не связано с морозами. Хуже, что возникает опасность «замораживания» чугунных ковшей холодным чугуном: нарушается кругооборот ковшей, и уже чувствуются некоторые затруднения в работе доменного цеха. В такие морозы положение неприятное.

Днем мороз немного спадает. Вечером опять 28 и даже 29 градусов. Кроме некоторых затруднений с ковшами, возникших не из-за морозов, перебоев нигде нет. В час ночи еще все спокойно. Но температура уже снизилась до 30 градусов.

Не спится. В пять часов ночи звоню дежурному по заводу. Справки неутешительные.

Температура 32 градуса. Ход домны № 5 выправили и ковши привели в порядок. Но теперь паровозы замерзают на-ходу. Замерзают ходовые части тележек и ковшей.

Плохо со сливом шлака на откосе, на берегу Днепра: обычно, один паровоз тянет два ковша, сейчас два паровоза не справляются с одним ковшом. Нарушается регламент выпусков в доменном цехе, потому что ковши не возвращаются во-время. В рельсопрокатке, после планового ремонта, замерзла отходящая труба гидравлической пилы, она затормозила работу всего цеха. На мартенах и в бессемере спокойно, но только заминки в работе рельсобалочного цеха задерживают и бессемер.

А если бессемер не принимает чугун, это отражается на доменном цехе: требуется усиленная работа внутризаводского транспорта для передачи ковшей на разливочные машины и вывозки оттуда чугунных чушек. Транспорту же теперь и без того трудно...

В памяти встают жуткие дни января 1933 года, первые дни моей работы на «Петровке». Морозы, бураны, метели. Запасов кокса нет, работа коксового завода расстроена. Выплавка чугуна 22 января снижается до 1 104 тонн, 23 января до 968 тонн, 24-го — до 1 047 тонн. Неужели опять стихия будет сильнее? Немедленно начать борьбу!

Еще лежа в постели, определяю самые угрожаемые места. Кокса на заводе 3 500 тонн, при доступно высоком темпе производства на тридцать—тридцать два часа. Но из этого количества 1 300 тонн брачного, плохого кокса, выгруженного в свое время из-за негодности вне завода, в Кайдаках. В эстакадах доменного цеха только 2 200 тонн, меньше суточной потребности, и значительная часть этого запаса находится в «котловане» — в запасном складе,— и этот кокс низкого качества. В оперативных эстакадах печей №№ 2, 4 и 5 — пусто. У них ничтожная емкость, они должны беспрерывно пополняться. Завоза кокса со стороны уже порядочное время не было, потребность же далеко превышает поступление нашего коксового завода, хотя он и перевыполняет программу.

Еще хуже с паровозами. Два года назад было признано, что для бесперебой-

ной работы внутризаводского транспорта нехватает шести паровозов. Было решено дать нам три паровоза. Получили за два года всего два, третий занарядили на-днях, он будет отгружен из Ленинграда только через несколько дней. Состояние действующих паровозов неудовлетворительное.

Транспорт и кокс — на них, на эти два участка надо нажать прежде всего.

И как раз выходной день! Правда, на заводе народ не так уже избалован выходными днями, но все же в этот день и аппарат отдыхает, и во многих цехах дежурят заместители вместо отдыхающих начальников. План действий готов. Завод надо перевести на положение боевой тревоги.

Первое распоряжение — дежурному по заводу: привести в готовое состояние гараж завода. Второе распоряжение: отменяю выходной день для всего завода. Начальникам цехов, живущим на заводской колонии или недалеко от завода, сообщить по телефону, за теми, которые живут далеко, немедленно послать машины. Мобилизовать заместителей, установить круглосуточное дежурство: в каждый данный момент должен в цехе находиться или начальник или его заместитель. Начальникам цехов немедленно тщательнейшим образом проверить все слабые места на территории своего цеха и ликвидировать их. Особое внимание обратить на изоляцию и отепление водопроводов. Мобилизовать механиков, электриков, газовщиков, водопроводчиков, установив такое же круглосуточное дежурство их.

Звоню исполняющему обязанности технического директора В. Г. Котельникову.

Владимир Григорьевич уже давно не спит, собирается на завод. Коротко обсуждаем основные мероприятия. Он отправляется на завод. Я остаюсь пока у телефона, чтобы провести всю мобилизацию.

Следующий звонок начальнику транспортного цеха Марушаку. Марушак всю ночь не уходил из цеха. Положение его тяжелое: недостаток паровозов, страшные условия работы, в особенности там, на открытом берегу Днепра, где сливается шлак. Паровозы «дохнут» на-ходу. Обслуживающий персонал, особенно сцепщики, составители, замерзает. Я требую от него, чтобы бесперебойно перебрасывал уголь из внешних складов, доломит из запаса и даже некоторое количество кокса, как он бы ни был плох. Надо давать этот кокс хотя бы на первую домну, выплавляющую ферро-марганец.

Марушак, как всегда, спокоен и хладнокровен. Я предлагаю:

— Объяви машинистам, что после окончания морозов каждый машинист паровоза, который в эти тяжелые дни будет работать бесперебойно, получит вознаграждение. А Марушак просит только об одном:

— Дай мне двести пар валенок, дай мне теплую одежду, и все будет в порядке.

Вызываю начальника снабжения Петрова. Он готов. Я ворчал, когда на бухгалтерском балансе счет вспомогательных материалов оказался несколько обремененным из-за спецодежды. Но теперь это пригодится. Железный запас надо использовать. Тут же по телефону подсчитываем запасы и потребность. В первую очередь обеспечиваем людей, работающих в открытых местах: транспортников, каталей доменного цеха, рабочих копрового цеха.

Директор коксохимического завода Савенко уже на месте. Еще рано утром здесь замерзла лента на углемойке, эту опасность удалось устранить. В момент заливки кокса водой вагон мгновенно примерзает, при попытке сдвинуть вагонотушитель с места мотор сгорел. Другой вагон-тушитель на второй группе коксовых печей по этой же причине работает с большими перебоями. Нарушен порядок выдачи кокса.

На место вышедшего из строя электровоза ставится паровоз, на это уйдет время.

Связываюсь с начальниками цехов, явившимися уже на работу.

В доменном цехе плохо с ковшами. Перешли на два выпуска в смену вместо трех. Все остальное в порядке, ход печей хороший, с загрузкой пока затруднений нет. Но мало кокса, известняк на исходе, запасы руды уменьшаются, поступления прекратились, руды нужно пять составов в сутки.

В бессемеровском цехе настроение боевое, мобилизованность полная, спокойствие абсолютное.

— Подавайте бесперебойно чугун и заставьте рельсобалочный цех бесперебойно принимать нашу болванку, а за нами остановки не будет, будем работать, как всегда,— заявляет уверенно начальник цеха Мякушко. И Мякушко, действительно, не «подкачал» и в самые тяжелые моменты.

Начальник мартеновского цеха Базикало обижен:

— Дежурный по заводу сообщил мне о вашем распоряжении быть в цехе, несмотря на выходной день. Разве бывает, что я в выходной день сижу дома?

Разъясняю, что распоряжение было дано не специально для него, а связано с мобилизацией всего завода. Если же он в выходной день всегда на своем месте, что мне, действительно, хорошо известно, то тем лучше...

Слабых мест в самом мартеновском цехе нет, за производство Базикало не боится, если не будет перебоев с коксовым газом. А перебои эти уже начинаются... Надо растопить все генераторы, чтобы хоть частично заменить коксовый газ, которого может быть недостаточно в ближайшее время.

Базикало обидело одно предположение, что он бывает в выходной день не в цехе. Зато начальника объединенного прокатного цеха Шибаева в течение всего дня не могли найти: посланная за ним в город машина два раза возвращалась без него. Только под вечер, когда за ним послали в третий раз, он появился в цехе. Правда, потом он остался на ночь. Но не случайно прокатчики больше всех поддались стихии мороза.

В первую очередь от морозов пострадала рельсопрокатка. Начальник рельсопрокатки молодой инженер Горфинкель уже до рассвета пришел в цех, стоявший на плановом ремонте еще накануне, когда уже свирепствовал сильный мороз. В работе цеха обнаружились перебои: гидравлика, механизмы замерзают здесь быстрее, чем где-либо. Важный урок: в большие морозы нельзя назначать ремонтов, связанных с длительной остановкой. Бездействующее оборудование особенно болезненно реагирует на низкую температуру. Движение, движение и движение,— сейчас самое главное. Дано распоряжение на время морозов запретить планово-предупредительные ремонты, в особенности прокатных станов.

Новые бедствия: замерзает смазка, нагрузка моторов увеличивается, и они выходят из строя; у листового стана из-за небрежности бригады, не спустившей воду, замерзла магистраль гидравлической воды.

По телефону рассказываю парторгу Макееву все, что случилось с ночи. Знакомлю его с положением каждого отдельного цеха. Мой вывод: к нормальной зиме подготовились сносно, но тридцатидвухградусный мороз застал нас врасплох.

— Считаю, что наряду с административно-техническим руководством надо вздыбить немедленно всю организацию. Парторги цехов должны быть на месте, должно быть установлено круглосуточное дежурство. Партийное ядро сейчас должно показать свою авангардную роль и вести всю массу в бой.

Макеев согласен со всеми моими распоряжениями и тут же по телефону намечает свой план мобилизации партийной организации.

— Сейчас,— говорит он,— свяжусь со всеми парторгами, а к часу дня соберу их для того, чтобы проинструктировать. Приходи тоже.

— Хорошо. Потом давай вместе пойдем на завод.

— Согласен.

Главный механик Орленко болен, но по моему звонку идет на завод. Его заместитель Карпман уже давно на месте. Устанавливаем дежурство механиков для технической консультации и первой помощи во всех цехах, организуем обход цехов механиками.

О механизах не беспокоюсь. Они знают свои обязанности и в тяжелые минуты всегда на месте.

Обычную смазку разбавляем трансформаторным маслом, температура замерзания которого значительно ниже. Перебои со смазкой кончились.

Тучи сгущаются. На коксовом заводе вышел из строя второй электровоз. Нужно поставить паровоз, а паровозов и без того нехватает. Но. ничего не поделаешь. Ход коксовых печей нарушен с начала смены. Доменный цех кокса почти не

получил, запас его снижается. Резко упала подача коксового газа. В мартеновском цехе начинают застревать плавки, нет газа. Руководителей газового цеха — на коксовый завод — пусть на месте ознакомятся с положением и сообщат мне.

Начальник водопроводного цеха Поярков по телефону обещает ликвидировать затруднения с гидравлической водой на листовом стане в этой же смене. Предлагаю Пояркову:

— Установите круглосуточное дежурство одного из ваших руководящих работников, организуйте первую техническую помощь цехам, а сами сейчас же отправляйтесь с бригадой ваших работников и проверьте во всех цехах все слабые места, примите меры к их ликвидации. Никаких перебоев из-за воды не должно быть.

И действительно, за все время неслыханных для Днепропетровска морозов на самом чувствительном для мороза месте — в водоснабжении — больше перебоев не было.

Кажется, весь завод поднят. На месте все в боевой готовности. Ни паники, ни лишней суеты. Уверенно, встал завод на борьбу со стихией.

Звоню в больницу. Особых затруднений здесь нет, случаев отмораживания немного, но в больнице холодно.

Распоряжаюсь немедленно подбросить больнице уголь.

Звонок начальнику цеха Раппопорту.

— Лично наблюдайте за тем, чтобы во всех цехах, где работают под открытым небом, в особенности в доменном и транспортном, в эти дни никаких перебоев не было, принять меры к усилению питания, увеличению калорийности. Побольше мяса, жиров. Следите, чтобы народ не задерживали в очередях, несознательные элементы могут этим воспользоваться.

— Я хочу поставить перед вами вопрос о своем уходе,— отвечает начальник цеха питания, три месяца тому назад принявший цех в плохом финансовом состоянии.

— Во время сражения не рассуждают, — обрываю его резко. — Извольте действовать, а не разговаривать.

Начальнику жилищно-коммунального отдела:

— Лично следите за отоплением общежитий, чтобы в особенности грузчики и катали, работающие восемь часов под открытым небом, были уверены, что дома они могут отогреться в теплом помещении.

Уже час дня. Не заметил, как прошло время. Телефонные разговоры шли, не прерываясь ни на минуту. Охрип. Пора в партком.

Совещание на полном ходу. Макеев уже информировал собравшихся. Парторги цехов коротко информируют о положении.

Знакомлю собравшихся с положением завода, с принятыми мерами. Установка ясна.

— Бдительность, боевой дух и бодрость. Быть всем на месте, дежурить круглые сутки, действовать личным примером. Подбадривать, разъяснять, что такой мороз у нас не может продолжаться долго, но, если поддадимся ему, он может натворить таких бед, от которых не легко будет избавиться.

— Не дергать народ,—говорит Макеев,— отложить критику на время после морозов, а сейчас ставить в пример тех, кто хорошо работает и заражать их примером других.

Теперь можно отправиться на завод. Очень часто в моменты большой опасности руководители крупных организаций проявляют ложно принятую «оперативность», прежде всего, целиком отдаваясь хождению по угрожаемым местам. Одно дело, когда весь организм работает нормально, и под угрозу попадает какой-нибудь один участок. Тогда руководитель может и должен немедленно отправиться туда и лично руководить ликвидацией угрозы на этом участке. Само собой разумеется, что руководители отдельных участков при всех условиях должны быть на своих местах. Но когда угроза нависла над всей организацией, руководитель должен находиться в таком месте, откуда он может оперативно руководить всей организацией и где с ним могут связываться в любой момент все участки этой организации. Чем больше опасность, тем большая четкость работы требуется от центрального руководящего штаба. Именно благодаря тому, что я не отлучался от телефона, нам удалось привести в положение боевой готовности все звенья огромного завода

и объединить действия разных участков фронта борьбы с морозом.

Вдвоем с Макеевым обходим основные цеха.

Даже ходить по заводу трудно. Идешь вслепую: на каждом шагу попадаешь в облака непроницаемого тумана, в нем слышишь тяжелые вздохи и сигналы паровоза, он мучительно тужится, чтобы привести в движение груз, шипит, выпускает пар, тут же превращающийся в густой туман. Ничего не видно: каждую минуту рискуешь наскочить на паровоз и попасть под колеса. Паровозы и вагоны обледенели, «буксуют», смазка замерзает.

Доменный цех восемь часов без перерыва под открытым небом — сейчас не шутка даже в хорошей шубе, шапке и валенках. Чугунные плиты цеха холодные. К металлическим частям вагонеток примерзают руки. Но народ бодр. Катали — мужчины и женщины—героически переносят тягости. Находчивые обматывают обувь старыми тряпками. Вспоминают челюскинцев: они два месяца находились на льду в более тяжелых условиях и не сдались. «Кокусницы»—работницы, перевилывающие кокс, чтобы очистить его от мелочи и мусора — жалуются меньше на мороз, чем на то, что мало кокса. Около печей все в порядке, хотя и очень трудно. Вокруг огромные сталактиты из льда. Но печи работают нормально, хотя и пришлось приспособиться к работе с двумя выпусками в смену вместо трех.

В бессемеровском цехе работа идет без перебоев.

Обходим мартены. Все уверены, что внутри самого цеха никаких перебоев не будет. Но с коксовым газом положение ухудшается.

В рельсопрокатке идет борьба с последствиями вчерашней остановки. Все больные места обставили раскаленными болванками. Это придает цеху своеобразный вид, но оригинальная идея помогла, хотя вокруг болванок образовываются большие массы пара, мешающие движению по цеху. Особенно трудно у самого стана. Как только раскаленная болванка соприкасается с валами, которые по ходу производства обливаются водой, весь стан обволакивается густым туманом, и машинист не в состоянии быстро направлять болванки. Но выход найден: расставляют небольшие вентиляторы, которые отдувают пар. Пила, у которой ночью замерзала гидравлическая вода, постепенно набирает темпы. Во всяком случае, за рельсопрокатчиков можно быть спокойным: они работают с большим напряжением и легко не сдадутся.

Хуже у сортопрокатчиков. До сих пор это самое слабое место завода. Работать трудно и здесь. Плотные стены густого тумана мешают вальцовщикам попадать в калибры. Но все же это не то, что работа каталей в доменном цехе! Сортопрокатка — в основном закрытое помещение, и люди здесь имеют дело с раскаленным металлом, который как никак согревает окружающий воздух. Работающие около печей и занятые выдачей болванки, т. е. те, кто летом так страдают от жары и задерживают работу вальцовщиков, сейчас находятся в исключительно благоприятных условиях. Они должны работать с безукоризненной быстротой и подгонять вальцовщиков. Руководство цехом п р о з е в а л о р е м о н т ы м а л е н ь к и х п а р о в о з и к о в, которые по узкоколейке перевозят болванку из мартеновского цеха в прокатный и подают уголь. Болванок на заводе достаточно, уголь напряжением всех сил перебрасывают транспортники с внешних складов. А из-за этих маленьких паровозиков, исключительно по вине руководителей прокатного цеха, печи не кормят, как следует, болванкой, их не греют, как следует, углем: не отремонтированые во-время паровозики не устояли против 30-градусного мороза и работают с большими перебоями.

На помощь прокатчикам послал главного механика, а на помощь паровозикам мобилизовали... л о ш а д к у. На заводском дворе южной «Петровки» появилась обязательная для уральских заводов — скромная и унылая, но надежная и не боящаяся мороза лошадь.

Снабжение прокатных печей болванкой и углем медленно улучшается.

Но последствия расхлябанности, отсутствие крепкой руки в руководстве и умения мобилизовать и поднять людей сказались: на сортопрокатных станах недопустимо вялый темп работы. В валенках, шапках со спущенными науш-

никами, в толстых перчатках, медленно поворачиваясь, кое-где вальцовщики форменным образом балуются. Никаких следов той напряженной воли к победе, которую мы только десять минут тому назад могли констатировать в нескольких шагах отсюда в рельсобалочном цехе, работающем в не менее тяжелых условиях. Вот когда можно убедиться, как многое зависит от самих людей!

Даже в самой сортопрокатке не все работают одинаково. Рядом с отвратительно работающим 7-ым станом прокатчики 6-го стана, в особенности бригада мастера Губенко, смена за сменой выполняют свои задания на 100%. Ясно, что во всем сортопрокатном цехе можно было бы добиться такой же нормальной работы.

Совместный с парторгом обход цехов, длившийся в мороз свыше пяти часов, окончен. Теперь можно на полчаса отлучиться на пленум Обкома. Потом обратно на завод к телефону.

И начинается сначала: дежурный по заводу Котельников, начальник транспортного цеха, директор коксохимического завода, начальники основных цехов. Мороз опять усиливается. Люди везде на месте, работают с огромным напряжением. На коксовом заводе Савенко с инженерами возится с вагоном-тушителем, который мгновенно примерзает в тот момент, когда кокс заливается водой. Уже вышел из строя один из паровозов. Положение угрожающее. Несмотря на все неимоверные трудности с транспортом на металлургическом заводе, приходится перебросить один паровоз на помощь коксовому заводу. Но выжиг кокса сегодня спустился до очень низкого уровня: вместо нормальных семидесяти двух печей сегодня за первую смену выдали сорок две, за вторую смену восемнадцать, за третью — двадцать печей. Это означает сильное уменьшение и без того малых запасов кокса в доменном цехе и резкое падение подачи коксового газа. Доменный цех работал почти нормально, выплавил 2 131 тонну чугуна вместо положенных по плану 2 240 тонн и съел, таким образом, значительно больше кокса, чем получил от коксового завода. Со стороны ничего не поступило. Уже те печи, оперативные склады которых особенно малы, еле перебиваются от одного поступления кокса до следующего. Но в еще худшее положение попал мартеновский цех: во всех печах вторые плавки застряли из-за того, что весь мартеновский цех был оставлен без коксового газа.

Звоню директору дороги Билику. Впечатление такое, что там положение значительно хуже, чем с нашим внутризаводским транспортом. Ожидать оттуда помощи, очевидно, не приходится. Кокса и угля в пути для нас совершенно нет.

Телефонный разговор с Харьковом. У телефона Шлейфер. Информирую его о событиях, о положении на заводе. Тон разговора уверенный, но тревожный.

Шлейфер сообщает, что того же шестого января в 6 часов вечера из Рутченково отправлен в наш адрес один маршрут кокса.

Последний разговор с дежурным и с транспортным цехом в третьем часу ночи. Маршак, который всю предыдущую ночь провел в цехе, еще на своем месте. Котельников заканчивает третий обход цехов за сегодняшний день. Термометр показывает 34 градуса. Но работа паровозов улучшается.

7 января, утро. Положение без перемен; мороз держится. С семи часов первые телефонные разговоры. Потом отправляемся вместе с Котельниковым на коксохимический завод. Он расположен в двух километрах от «Петровки». Дорога от заводской конторы до печного блока невероятно мучительна. Режет в носу, слезятся глаза. Нужно все время натирать себе щеки и нос, чтобы не замерзнуть. Навстречу идет работница и тихо напевает. Ого! Поют,—значит не так уже плохо.

Вагон-тушитель представляет собой необычное зрелище. Он весь закован в могучую ледяную броню и плотно окутан огромными тучами пара. Работать трудно. Во время тушения кокса паровоз с вагоном старается все время двигаться вперед и назад, чтобы предотвратить примерзание. Но это помогает только в ничтожной степени. Колеса, буксы, скаты, все ходовые части вагона-тушителя настолько облеплены льдом, что тронуть его с места почти невозможно. Пар мешает осмотреть его, для этого

нужно вагон отвести подальше от места тушения и остановить.

Обсуждаем возможные мероприятия. Возникает несколько вариантов: сделать нашивку, чтобы вода не могла попасть в ходовые части, обогревание нефтью, обогревание электричеством и просто обогревание жаровнями вместо факелов, которые применяли до сих пор. Ввиду срочности нужно избрать самое простое. Выбор падает на жаровни. Коксовики обставили весь вагон-тушитель жаровнями. Жаровни, не давая ему примерзнуть, помогли, выжиг кокса и выдачи коксового газа увеличиваются.

Но в доменном цехе работа становится затруднительной—запасы кокса, руды и известняка падают, извне ничего не поступает. Расстояние между складом запасов и доменными печами, куда их должны подавать катали, все время растет. Даю распоряжение снять с капитального строительства двести человек и перебросить их в доменный цех.

Машинисты паровозов приспосабливаются к морозам, когда возникает новое затруднение. Руда приходит на завод в виде монолитного камня. В Кривом Роге кое-где, очевидно, ослаблен надзор за пересыпкой руды известью. Кроме того, на запасных складах, откуда перевозим уголь, расстояние между углем и путями, где загружаются вагоны, быстро растет. Транспортному цеху сорваться нельзя. Снимаю с капитального строительства еще четыреста человек и перебрасываю их на помощь транспортному цеху. Смерзшуюся руду начинают обрабатывать кирками и кайлами.

Вместе с Котельниковым снова обхожу основные цеха. Люди на месте. Можно спокойно отправиться в областную комиссию по чистке, где обсуждается несколько вопросов, связанных с заводом. И опять обход основных цехов, и опять к телефону.

На коксовом заводе положение улучшается, несмотря на то, что мороз не сдает. Кокс выдается, заметно начинается повышение подачи коксового газа. Но запас кокса в доменном цехе тает, а в пути от Ясиноватой до Днепропетровска нет ни одного вагона кокса, ни одного вагона угля. Висим на волоске...

Транспортники работают с упорством настоящих героев. Марушак, после двух суток дежурства, уходит к себе отдохнуть только на несколько часов и возвращается в цех. Его личный пример заражает весь коллектив. О трех паровозах, капитально отремонтированных в Александровске, ничего не удается узнать: по некоторым сообщениям, они находятся уже в пути и приближаются к Синельниково. Ищем по всей дороге отправленный будто бы вчера вечером состав кокса; его нигде нельзя обнаружить. Билик обещает найти паровозы и кокс, «протолкнуть» уголь, если таковой найдется в пути. Но пока ничего нет.

И все же за 7 января доменщики выплавили 2 168 тонн чугуна — 96,7 процентов плана, на 37 тонн больше, чем в предыдущий день. Бессемеровцы выплавили 779 тонн стали или 109 процентов суточного задания. У мартеновцев почти во всех печах плавки застряли на двадцать четыре, двадцать шесть, тридцать часов вместо обычных восьми-десяти часов. Это не только срывает выполнение плана, это угрожает авариями и в лучшем случае плохо отразится на подинах,— во всех печах неизбежны «ямы». К чести мартеновцев они вышли из положения без аварий. Но «ямы» участились. За 7 января стали выплавили немного больше, чем за предыдущий день — 635 тонн. Прокатчикам благодаря форсированию отделки и сдачи готовой продукции, удалось закончить день выполнением плана на 91 процент.

Продолжает улучшаться работа коксовых печей: за первую смену выдали сорок печей, за вторую пятьдесят, за третью шестьдесят печей, всего за сутки сто пятьдесят печей. Это меньше, чем потребляет доменный цех, это означает дальнейшее уменьшение и без того мизерного запаса, однако улучшает перспективы работы мартеновского цеха: подача коксового газа увеличивается.

8 января, — третий день морозов, —температура ниже 30°. Выжиг кокса, в результате принятых мер, растет, но запас кокса в доменном цехе продолжает таять. Теперь все внимание сосредоточено на железной дороге. Все время справляемся по телефону. Но прошел весь день, и отгруженный будто бы 6 января с Рутченково состав кокса не появился на горизонте, обычно же состав кокса идет сутки. Угля в пути к нам нет. Три паровоза, которые резко могли бы улуч-

шить положение в транспортном цехе, как в воду канули.

Коксовый завод уже выдает за сутки сто пятьдесят четыре печи. Но выплавка чугуна против предыдущего дня упала на 120 тонн и составляет только 86,8 процентов от суточного задания. Улучшается положение на мартеновских печах и у бессемерцев. Хуже всех работали прокатчики, хоть и не все одинаково: рельсобалочники дали 91 процент суточной программы, листопрокатчики 83 процента, сортопрокатчики только 74 процента суточной программы. Помимо неорганизованности, здесь сказываются и недостаток коксового газа и невозможность заменить недостающий газ полностью доброкачественным углем, ибо уголь, перебрасываемый с внешних складов, лежалый, смешан с землей.

День протекает так же, как и предыдущий. Обход цехов, распоряжения по телефону и беседы с железной дорогой и с Харьковым до поздней ночи. Удается на час отлучиться на открытие областного съезда советов.

9 января. Мороз усилился, в отдельных точках завода ночью он доходит до 36 градусов. И все же коксовый завод выдает уже сто шестьдесят девять печей против восьмидесяти за 6 января, против ста пятидесяти за 7-е, против ста пятидесяти четырех за 8-е. Это 80 процентов того, что полагается, но это больше чем вдвое превышает выпуск первого дня морозов.

Все еще под угрозой доменный цех. В запасном котловане еще лежит около 1 000 тонн кокса, но в оперативных эстакадах 4-й, 5-й и 2-й печей — только небольшие куски. Жалобы «кокусниц» становятся все более бурными. Состав кокса, «отправленный 6-го вечером из Рутченково», и сегодня не появился. Неужели он уже четвертый день в пути?

Доменщики растерялись и к утру оставили большинство печей неполными, их перевели на полхоза. Начальник цеха Котов и помощник по рудному двору Суровов доказывают, что по расположению кокса вести загрузку печей полным темпом невозможно и опасаются, что если дуть полным темпом, можно остаться без кокса. На тихий ход они перешли из осторожности. Тут же, на месте, доказываю, что в тупике «котлована» можно ставить не две вагонетки для одновременной загрузки, как они полагают, и даже не три, можно создать целый фронт погрузки, поставив 7, 8, 9 вагонеток одновременно, и развозить оттуда кокс к более отдаленным печам. Перебрасываю с капитального строительства еще людей, чтобы обеспечить загрузку полным темпом и даю распоряжение: по мере заполнения печей и оживления загрузки перейти на работу «без оглядки», перевести печи на полное дутье. К сожалению, было поздно: за этот день выдали 1 739 тонн чугуна, 77,6 процентов суточного задания. А можно было бы дать 2 000 тонн. Ведь, на следующий день, когда запас кокса не увеличился, выплавили 2 114 тонн.

Улучшение работы коксового завода и повышение выдачи коксового газа сразу сказалась на учащающиеся «ямы» цеха. Несмотря на учащающиеся «ямы» в результате длительного нахождения плавок в печах в первый день сильного мороза, выплавка вновь увеличилась на 170 тонн и достигла уже 93% суточного задания Доменный цех—помеха бессемеровцам, у которых кроме того произошло крушение паровоза, закрывшее на некоторое время сообщение с цехом. Поэтому бессемеровцы выдали 9 января только 596 тонн или 83 процента суточной программы.

Все эти цифры в начале 1933 года еще считались чуть ли не рекордными при нормальных условиях работы. Теперь те же цифры считаются аварийными.

10-го января утром облегченно вздохнули: термометр показывает «только» 27 градусов и в течение дня постепенно снижается до 22 градусов. Общее ощущение такое, что очень тепло стало. Вышло, как в известном анекдоте, где мужик обратился к попу с жалобой на тесноту в квартире, и тот ему предложил сначала поставить козу в квартиру, потом свинью, потом корову, потом лошадь, потом, когда совсем невыносимо стало, советовал мужику вывести животных из квартиры и сразу стало просторно. Так получилось и у нас. 22 — 26 градусов мороза — температура небывалая в Днепропетровске, но после 36 градусов стало совсем тепло. Завод как бы выпрямился и начал работать почти как ни в чем не бывало. Коксовый завод в

этот день выдал уже сто девяносто две печи, почти норму. И когда поступило еще несколько случайных вагонов кокса — состав. «отправленный из Рутченково 6 января вечером», так и исчез — доменщики ожили и выплавили 94,3 процента суточного задания. За один день увеличили выплавку на 375 тонн! Мартеновский цех выдал 1 034 тонны стали — цифра. которая до 1933 года праздновалась как рекорд: бессемеровцы дали 107.2 процента задания, блюминг 110.8 процентов, а весь прокатный цех перевыполнил по готовой продукции суточное задание на 6 процентов.

С третьей смены 11 января нормальный темп работы восстановлен. В сводке за 12 января печатаемся опять жирным шрифтом.

Но использовать передышку не имеем права. Во время «завирухи» ослабили вывоз мусора, отбросов и отходов из цехов. Заводские дворы покрыты толстым слоем замерзшего снега, который при первой оттепели превратится в болото, а потом в гололедицу. Мобилизуем людей в подвижной состав на расчистку цехов и вывозку огромных масс снега. Рабочие, снятые с капитального строительства в помощь транспортному цеху, остаются на месте: начинаются большие поступления грузов, руда из некоторых рудников приходит в смерзшемся состоянии.

Другая опасность — скопление готовой продукции. Железная дорога весь порожняк бросает на погрузку руды и угля, и я не могу, как обычно, настаивать на погрузке готовой продукции. А в рельсобалочном цехе уже скопилось свыше 6 000 тонн рельсов, они заняли весь цех, они мешают работе кранов.

Завод приводит себя в порядок.

Составляем инструкцию по проверке и ликвидации всех выявленных за время морозов слабых мест. Разрабатываем план мобилизации всех сил на случай снижения температуры ниже 20 градусов.

Если еще раз на нас нападут морозы, ни один день ни по одному виду основной продукции меньше 100 процентов задания не дадим. Экзамен «петровцами» выдержан.

на пути к простоте

В. Канторович

Человек пришел в мастерскую скульптора. Скульптор готовит гигантскую группу. Она украсит самую большую площадь столицы. Скульптор работает над деталями памятника. Модели-гиганты переполняют мастерскую. Со стены свешивается деталь: бедро воина — в несколько метров длиной; вздувшийся бугор мускулов напоминает небольшой горный кряж. Человек в испуге шарахается в сторону: путь ему преграждает холм, увенчанный острым пиком. На таком близком расстоянии с трудом понимаешь: это — красноармейский шлем. Страшная маска врага подавляет своими гигантскими размерами, но страшен и рот улыбающейся девы (диаметром чуть не в полметра.) Слишком мала перспектива, слишком велики масштабы этих деталей, повисших в воздухе и не представивших еще как единый комплекс в их взаимной связи.

Такое впечатление производят первые страницы «Вступления к эпохе» [1]. Адалис смело вводит читателя в мир своих образов, ни мало не смущаясь крайней субъективностью многих из них. Как настоящий писатель и поэт, к тому же взращенный в атмосфере символизма и акмеизма, Адалис окружает себя настойчивыми символами беспокоящих ее писательское сознание идей, причудливыми масками литературных персонажей. Каждая из них гипертрофирует какую-либо черту, чьей эмблемой она и является.

Но все эти символы, все эти портреты совершенно условны, схематичны. Они выполняют заведомо служебную функцию в писательском хозяйстве Адалис. Это лишь первые грубые, схематические модели каких-то будущих идей и образов. Доработать их, придумать, углубить и «приложить к жизни» Адалис поручает в последних строках книги каждому из своих читателей. Замысловатая форма произведения, сложная вязь новелл и очерков, объединенных философским диалогом, как композиционным приемом, не позволяет сразу раскрыть связи этих образов между собой. Но с первых же страниц ощущаешь добротность художественной ткани и настраиваешься доброжелательно к сложным авторским поискам ключа к волнующей проблеме. Она одна — эта проблема, как ни многообразно ее выражение в книге Адалис — это проблема субъективного и объективного, единичного и типичного, это тема (а для Адалис — проблема): Писатель и революция.

В пьесе-диалоге писательница Адалис раздваивается. Он — Писатель из пьесы, но в то же время и служащий зоопарка — фантастическая личность: бывший вор, сторож, исследователь, правдоискатель и с о в е с т ь п и с а т е л я. Ведя острый, но в общем согласный разговор о с а м о м в а ж н о м, они оба создают постепенно сложную и, казалось бы, продуманную в деталях теорию. Служащий зоопарка, будем звать его зоотехником, интересуется в животном мире теми же проблемами, которые волнуют «инженера душ».

«Хочет ли животное все понимать, старается, — или оно погибшее в природе? Есть ли у него шансы выдвинуться в природе или же впереди на миллионы лет — тоска!.. Больно думать, что есть косная жизнь без ничего впереди». Так рассуждает зоотехник и, Адалис предусмотрительно дает ему оговорку: ответ на эти вопросы нужен ему не для сумасшествия, а для науки. Но Писателю эта ремарка не нужна; он поражен совпадением интересов своих и зоотехника. Ведущая тема Писателя — это тема рождения нового, социалистического человека или, как он формулирует, «перехода низшего вида развития живого существа в высшее».

Эта параллель биологических и социальных законов развития служит внешним стержнем диалогов. «Пропасть лежит между человеком и собакой, но большая пропасть — между мною и кулаком» — таково следующее звено в построении «истории развития видов» зоотехника. Писатель еще колеблется; он не знает — принять ли это построение: как поступить тогда со Стефаном Цвейгом? Объективно Цвейг на стороне капитализма, а между тем он, писатель, варвар по сравнению с таким столпом культуры, как Стефан Цвейг. Но и это возражение легко сметается с помощью социологизированного Дарвина. Просто: на каждой ступени развития должны быть свои высокие и даже роскошные формы. «Если утконоса сравнить с колибри, колибри — прелесть, утконос уже не тот, а исторически он уже выше, хотя и несет еще яй-

[1] Адалис. «Вступление к эпохе», 1934, «Советская литература», стр. 163.

ца. Он уже не птица, а утконос». Внутренний огонь уже не в колибри, а в утконосе!

И, наконец, последнее звено этой параллели: животное переходит в высший вид, слепо повинуясь закону развития, но человек старше животного. Уже не только биология его природа. Его вторая природа — общество. «Если он не хочет погибнуть, он должен перевести отсталых вместе с собой. Писатель, волнуясь декламирует: «Нужно перевести их (т. е. обывателя, шкурника — в первую очередь) во что бы то ни стало! Забить врагам пасть кляпом. Самому быть искусанным, таскать их за рога, за гривы, за хвосты. Уничтожить безнадежных, бороться за последнего, но вытащить. Перевести отсталых!»

Мысль о примате социального над биологическим раскрывается еще в новелле «Физиология человека». Следователь ГПУ, испытывая жалость к своему последственному, интеллигенту, неглупому человеку, но «недоумку в социальных вопросах», вызывает к себе его жену. Она — «простолюдинка, некрасивая, немолодая женщина», которая «вряд ли могла надеяться устроить свою судьбу вторично». Женщина говорит искренне: мы были с мужем необыкновенно счастливы. Потом она добавляет: «Муж был мне очень дорог... физически...» Но к концу беседы это слово возникает вторично, и тогда раскрывается его сокровенный авторский смысл. Женщина заявляет убежденно: она узнала, поняла вину мужа, пусть даже небольшую. Она никогда не сможет с ним жить, как с мужем. «Вам не надо оставлять его,—убеждает дружески следователь.— Он — только бесхребетный человек. Это жестоко!» «Я с бесхребетным человеком не могу жить» — сказала женщина. И на настойчивое «почему?» следователя ответила, страдая и стыдясь: «Физически не могу жить с таким». Так подчеркивает Адалис подчинение биологических законов социальным, органичность социального фактора в любви, и здесь, на почве этой темы, ее покидает схематизм, присущий всей вещи.

Было бы огромной ошибкой и непростительной наивностью воспринимать эти социологические эксперименты над Дарвином (которому, к слову сказать, вменяется и теория скачкообразного развития) за научную и философскую доктрину. Адалис, вне всякого сомнения, понимает ненаучность этой теории, представляющей, если ее рассматривать всерьез, своеобразное повторение заблуждения Спенсера, утверждавшего аналогию между обществом и организмом. Критик может быть спокоен: Адалис знает, вероятно, даже известную цитату из Энгельса о животных, которые имеют свою историю, однако лишь историю, которая делается «помимо них, для них», а поскольку животные сами принимают в ней участие, это происходит (в противоположность человеческому обществу) без их ведома и желания. Она знает, вероятно, и о полной невозможности переносить идеи дарвинизма в область социологии, как и о невозможности вменить животному миру закон социального развития.

Секрет книги Адалис раскрывается всякому вдумчивому читателю. «Социальная теория развития видов» — не теория, а сложная боковая ассоциация, художественный образ. Этот сложный образ изобретен—быть может, не без желания полемизировать с расовой теорией фашизма — для того, чтобы лучше осмыслить классовую борьбу, борьбу за коммунизм.

В этой борьбе позиция Адалис совершенно недвусмысленна, но путь к овладению смыслом борьбы избран сложный.

—

Для того, чтобы вступить подготовленной в эпоху, начинающую «зарю человеческой истории» (Энгельс), Адалис понадобился набор аргументов, необыкновенно сложных, цветистых, иногда неожиданных. Рядом с социологизированным Дарвином возникает космическая теория, напоминающая не то безумные проповеди Анахарсиса Клоотца, не то манифесты Уот Уитмэна. Слесарь (один из персонажей пьесы), декламирует в таком духе: «Я живая честь мира, не приставная, а живая. В нем моя кровь течет. Я образую мир. Мир — это я. Мир это не только я, а еще каждое другое сознательное я. Я это мир, но ты — тоже этот самый мир. С кем бы я ни говорил — я говорю от его лица с самим собой». И эту (чуть ли не пантеистическую) позицию автор не защищает по существу, хотя и торопится защищаться от обвинений в солипсизме, вкладывая в уста слесаря фразу о том, что концепция «мир — это мое представление» есть контрреволюция. Все это — условные образы, нарочитые гигантизмы; они составляют одну цепь вместе с десятком проблемных новелл, с патетическим письмом мастерам западной литературы, с манифестом борьбы против «химии косности» в органическом и неорганическом мире. Все это нагромождение образов — закономерный для психологии Адалис и ее писательского «поколения» путь к тому конечному выводу, который сформулирован в заключительной фразе диалогов. Слесарь, формулируя путаные по форме высказывания свои, писателя, зоотехника, говорит: «Можно выразиться вполне скромно: смыкайте железные ря-

ды ВКП!» Эта мысль, этот вывод подан в нарочито элементарной форме. Одетый даже в более пышные одежды, этот лозунг смутил бы писателя (и автора) своей прямотой и простотой. Нужно было проделать вместе с читателем этой писательской исповеди сложный зигзагообразный путь через далеко не бесспорные образы-идеи, мимо галлереи едва ли не фантастических персонажей, через недисциплинированные «воспоминания памяти» для того, чтобы этот вывод (лозунг) зазвучал органически. Персонажи диалогов не раз говорят о себе, что они «необразованные специалисты», еще не все до конца узнали и поняли и потому «не дошли до простоты». Услышав где-нибудь этот (или иной) партийный лозунг в его элементарной («заштампованной») форме, Писатель несомненно увял бы. Недаром морщится писатель при появлении девушки, говорящей нарочито элементарные фразы. После всего этого нагромождения образов герои Адалис,— признав предварительно, что они — не авангард пролетариата, — находят эту нужную, в иных случаях оголенную простоту. Этим результатом оправданы собственный писательский путь, Адалис и книга «Вступление к эпохе», отражающая его — пусть с долей вымысла. Адалис с ее грузом эстетических представлений, с ворохом традиций, с большой, но односторонней культурой, как бы представляет целую, значительную по своему весу для революции, прослойку. Она имеет право на свой сложный путь к коммунизму. Советская молодежь, даже интеллигентская по своему происхождению, выросшая в иных условиях, идет к к коммунизму иначе, так сказать, «легче». Она не видит часто проблемы там, где мучительно раздумывает писатель, но она с уважением смотрит на искренние и смелые попытки лучших людей из старой интеллигенции стать на позиции пролетариата и притом не в общей форме («за советскую власть»), а в повседневной борьбе за победу нового строя.

Основная идейная струя книги Адалис — мысли о творчестве советского писателя. Много горьких, наболевших мыслей выкладывает писатель. Жизнь предъявляет Писателю огромные требования. Уже недостаточно быть талантливым. Материал требует, чтобы Писатель был философом, ученым, чтобы «партия могла доверить ему совхоз». Между тем, Писатель чаще всего поверхностно образованный человек. «Писатель бьется над решением очень больших вопросов как дикарь, а не как ученый». Мало того, Писатель не может непосредственно воздействовать на жизненные процессы. «Фотографу,— негодует Писатель,—можно доверить; художнику и писателю нет». «Почему поэзии отказано (?) в праве конкретно влиять на мир?»

Здесь нащупываются корни большой ошибки Адалис. Мне кажется, что вся ее книга и в особенности вторая ее часть — очерк об апутах — является своеобразной дискуссией с самой собой, попыткой себя переубедить. «Мне больно писать роман,— говорит Адалис — людей уже нельзя изменить», а жизнь идет вперед! К тому же восприятие писателя так субъективно! Как это он будет писать о чувствах нового человека, — недоумевает Писатель, — когда он сам еще «щенок нового человека», когда его чувства еще элементарны? «Я вижу со стороны его поведение, но не понимаю, какой он. Я могу мерить его только на свой аршин. Писатели же всегда мерят героев на свой аршин — поэтому так ограниченны большей частью новые люди в литературе». В этом пункте писатель (Адалис?) сходится с Олешей в его высказываниях на съезде писателей. Олеша, как известно, утверждает, что писатель может писать только «самого себя».

Так куется цепь заблуждений, которые свойственны, повидимому, не только Писателю, но и самой Адалис: 1) Писатель субъективен; мир его замкнут; 2) Писатель не воздействует на жизнь; 3) роман (беллетристика) неизбежно не поспевает за жизнью; он мертв при своем рождении. Писатель мечтает о гигантской стенной газете, в которой писали бы так, чтобы это было делом жизни. Но ведь у Адалис — это мечта, это далекое будущее! К тому же эта мечта подчеркивает отказ от романа, от вымысла, манифестирует очерк, как единственную форму литературы.

Несомненно, мысли о неизбежной, так далеко идущей, субъективности писателей, если их подвергнуть анализу, возрождают популярные идеи идеалистов — от епископа Беркли до Маха. Человеческое (писательское) сознание фигурирует, следовательно, независимо от природы, познание возникает не из опыта, и определяется не высшим миром (в частности, не социальными связями). Взгляды Олеши, к сожалению, разделены в какой-то мере и автором философских диалогов — а к нему мы обязаны предъявить большие требования.

Адалис ощущает этот круг идей как драму. Она борется с собой в этом вопросе. Эта тема о писателе, видящем мир субъективно, в отрыве от его реальности, заново возникает в очерках об апутах. Сложные, запутанные доказательства приводят автора к правильным выводам. Конец звучит как будто убежденно: «Искусство может входить в жизнь на правах живого дела: научившись владеть словом, можно

применять его как инструмент, способный быстро переделать мир».

Все же этот вывод звучит как-то холодно, чувствуется, что это пока головной, логический вывод, не выношенный еще автором, тем более, что он ограничен размышлениями об ашугах, народных певцах, творчество которых, как известно, «оперативно», черпает материал непосредственно из самой жизни и обычно не подымается до больших обобщений.

Совещание очеркистов, предшествовавшее съезду писателей, прошло под влиянием одной мысли, объединившей всех мастеров очерка и большинство выступавших. Мысль эта сводится к подъему очерка на более высокую художественную ступень путем отказа от «описательства», путем подчинения всего познавательного материала очерка его внутренней идейной теме (образу). Все сошлись на том, что очерк должен иметь свою скрытую философию, загадку, стержень. Он должен стать художественным произведением в полном смысле этого слова.

Очерки Адалис, казалось бы, в максимальной степени отвечают этому признаку. Рассказывая об ашугах, Адалис говорит, в сущности, о роли писателя, о взаимоотношениях литературы и жизни. Все ее новеллы, вмонтированные в текст «Вступления к эпохе» и опирающиеся на материал, собранный во время ее работы в нагорном Карабахе, служат иллюстрациями, аргументами в философских диалогах писателя и зоотехника. В очерк Адалис вмещается не все, что видит писатель, но только то, что служит развитием авторской концепции.

Вся литературная философия Адалис служит превознесению очерка. Она объявляет очерк едва ли не единственной литературной формой современности. Стоит отметить, что на съезде очеркистов не раздалось ни одного голоса в защиту старого лефовского тезиса об отмирании «беллетристики». Так что Адалис выступает, как крайний «фанатический» сторонник этого жанра. Но собственный ее творческий опыт, как ни странно, опровергает ее. Адалис пока еще не преодолела в себе тех черт, которые противопоказаны очеркисту. Ее очерк пока еще — факт личной биографии, но не отражение биографии страны. Вновь приходится вспоминать спор о писательском субъективизме. Зоотехник (совесть Писателя), выслушав серию его очерков-воспоминаний, говорит: «У памяти свой характер, свои хитрости. Всякую вещь можно по-всякому помнить, так что твердому человеку надо свою память знать, как облупленную, как собаку: позволять ей безобразия нельзя». И несколько позже зоотехник выговаривает Писателю: его память не так хорошо хранит своих ребят — как чужих. Своим память оказалась чем-то вредна, они сделались, как тени. А всякие таинственные чудаки хорошо питаются мозгом писателя, они выросли, развились. И действительно, выбор фактов, запечатленных в очерках, выбор (или вымысел?) персонажей исключительно субъективен и несомненно помешал Адалис показать, как после полного разорения и физического уничтожения народа нагорного Карабака (резня дашнаков) возникает, в противоречии с физическим законом необратимости, новая жизнь. Познавательное значение очерков в силу этой особенности Адалис чрезвычайно снижается. Вторая очерковая часть рецензируемой книги сильно уступает первой.

Откуда этот субъективизм? Он, конечно, не от самодовлеющих законов сознания Адалис, и даже не оттого, что ее сознание воспринимает во внешнем мире только то, что ему свойственно. Субъективизм зависит как раз от традиций прошлого, от груза эстетизма, от философской «поверхностной образованности», от неполностью ликвидированного разрыва писательницы с сегодняшним днем страны.

Адалис честно борется с собой на протяжения всей книги. И в этом — наибольшая объективная ценность этого яркого человеческого и литературного документа. И это не мемуары, в которых старик сводит счеты с прошлым, а документ борьбы за советского писателя.

Ответственный редактор М. Горький. Заведующий редакцией В. Бобрышев. Художник журнала И. Запевин
Выпускающая Т. Кауфман
Адрес редакции: Москва, Спиридоновка, 2

Уполн. Главлита Б-4453. З. Т 132. Колич. знаков в 1 п. л. 56 000 СтАт Б5—176×250 мм. Тираж 37 000
Сдано в набор 15/II-35 г. Подписано к печати 20/IV-35 г.
Издание выпущено в 39-й тип. Мособлполиграфа— Москва, проезд Скворцова-Степанова, 3.
Художественные вкладки меццо-тинто выполнены тифдруччым цехом 7-й типографии Мособлполиграфа, (Москва, Филипповский пер., 13) с фото, представленных Акц. об-вом „Интурист"

СОДЕРЖАНИЕ


цена 1 р. 25 ко